незавещанное наследство
пастернак, мравинский, ефремов и другие
Наталья Казьмина

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Правда-неправда, как в кольцах питона, сплелись в том времени, в тех людях, что мне довелось повстречать, узнать. Кольца разрубили в куски, питон издох, его жрут стервятники. Но выяснилось, что со стервятниками сосуществовать еще более тошно…» Мемуарные записки Надежды Кожевниковой, дочери известного советского прозаика Вадима Кожевникова, густо населяет множество людей, которых сегодня назвали бы элитой: Олег Ефремов, Евгений Мравинский, Андрей Миронов, Александр Чаковский, Генрих Нейгауз… Впрочем, живут и действуют в книге и десятки «простых» людей, повстречавшихся автору в Лаврушинском переулке, в Швейцарии или Америке.

Острый у Надежды Кожевниковой не только взгляд, но и язык. Когда-то на ее повесть «Елена Прекрасная» прототип главного героя жаловался в ЦК. Желающие куда-нибудь пожаловаться найдутся, вероятно, и после этой книги…

- Надежда Кожевникова
  - ОТ АВТОРА
  - НЕЗАВЕЩАННОЕ НАСЛЕДСТВО
    - ДЕТКА В КЛЕТКУ
    - ХОЗЯИН ГАЙД-ПАРКА
    - КОМОД
    - КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ
    - КАНАТНАЯ ПЛЯСУНЬЯ, ИЛИ НОВАЯ СКАЗКА ПРО БУРАТИНО
    - СТЕКЛЯННАЯ ГЛОТКА
    - КИММЕРИЯ
    - НЕ НАША ЕДА – ЛИМОНЫ
    - ТРАГЕДИЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ
    - РОЯЛЬ ИЗ ДОМА ПАСТЕРНАКА
    - ПЕЙЗАЖ С НАМИ И БЕЗ НАС
    - СОБАКИ СОВЕТСКИХ КЛАССИКОВ
    - ШКОЛА ЗАВИСТИ
    - ИСПОВЕДЬ ГУЛЛИВЕРА, ПОПАВШЕГО В ПЛЕН К ЛИЛИПУТАМ
    - БЕЛАЯ КОБЫЛА
    - ОВЦА В ВОЛЧЬЕЙ ШКУРЕ
    - ТУСЯ И ДАНЯ
    - НУ КТО ЖЕ НЕ ХОТЕЛ ОТКРЫТЬ СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО
    - ЛЕКАРСТВО ОТ НОСТАЛЬГИИ

- ОПАСНАЯ ЗОНА, ИЛИ РЕЦЕПТЫ ОТ КОРОТИЧА
- МИР – ТЕАТР, НО НЕ ВСЕ ЛЮДИ АКТЕРЫ
- УДАЧНИКИ
- КОГДА КУМИРЫ СТАРЕЮТ, ИЛИ ГИПС ПОД МРАМОР
- СЕРАЯ ЮБКА, ЧЕРНЫЙ СВИТЕРОК
- ГАРАНТ ПРИСУТСТВИЯ
- ФОКСТРОТ
- ЛЮБОВЬ
- ЗАПАХ РОДИНЫ
- ОТЕЦ И СЫН
- ЗОЛУШКА
- ВАНЯ АМЕРИКАНЕЦ
- НЕВЕСТА

○ ЭТАЖ В ИМПЕРИИ

- ВИД ИЗ ОКОН
- КОРИДОР
- ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ
- АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК
- СОЗДАНИЕ БОЖЬЕ, ДРОЖАЩАЯ ТВАРЬ, МЕРЗКАЯ ПЛОТЬ
- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
- КОЛЯ-СОЛОВЕЙ
- ЦАРИЦА ВЕРОЧКА
- КЛУБНЫЙ ПИДЖАК
- УТРАЧЕННЫЕ ГРЕЗЫ
- РАЗЛУКА БУДЕТ БЕЗ ПЕЧАЛИ?
- ИЗГНАНИЕ ИЗ РАЯ
- ГРАНИЦА

Надежда Кожевникова
Незавещанное наследство. Пастернак, Мравинский, Ефремов и другие

ОТ АВТОРА

Тексты, вошедшие в эту книгу, следует, верно, причислить к мемуарному жанру, так как они написаны о конкретном времени, конкретных людях, к тому же известных, знаменитых. Но есть там персонаж, за стопроцентную достоверность которого я не могу поручиться. Персонаж этот носит такое же, как у меня, имя, у нас много общего, но не все.

Как у большинства пишущих, первые читатели – мои близкие и часто, когда сочинение пестрит местоимением «я», слышу от них: ты в самом деле это сделала, это сказала? Ответить да или нет непросто. Причем недоумение мужа, дочери каждый раз вызвано чем-либо негативным, в чем я, автор, выходит, призналась, и что вроде бы уже и отрицать нельзя. А ведь знаю, под горячую руку они мне припомнят с укором прочитанное: мол, вот ты какая… И я молчу. Как объяснить, что в процессе писания мною движет, направляет нечто, для меня самой загадочное, чему просто нельзя не подчиняться, и границы, где явь окрашивается, сплетается с всплывшим непонятно откуда, то ли пережитым, то ли домысленным, размываются, исчезают.

Но все это касается именно персонажа по имени Надя, с другими подобных хлопот не испытываю. Связь с ними была и осталась тесной, кровной, и, даже если они мелькнули и пропали, цепкая, возможно, даже излишне цепкая памятливость на детали, атмосферу, позволяет без усилий нащупать оставленный ими след в пластах прошлого.

Хотя выбранный мною туда проводник, признаю, не надежен – девочка Надя явно имеет склонность кое-что привирать – лучшего, увы, не нашлось. Одно оправдание: врет она лишь в отношении самой себя, с тенденцией к тому же к самооговору.

Но что мне с ней делать, ведь тут как раз я, автор, с ней совпадаю. Вот, например, эпизод, действительно, произошедший (клянусь!) с второклассниками в школе. Мальчики играли на переменке в футбол и мячом разбили окно. Учительница потребовала, чтобы виновник сам в содеянном сознался. Кто он, класс знал. Неожиданно для всех из-за парты встала я. Учительница не поверила, дети с испугом глядели на героиню, но подоплека геройства осталась скрытой от всех, и от меня тоже в ту пору. Теперь я в состоянии разъяснить. Позывы окно разбить, и не только окно, блуждали, вскипали у меня из нутра, и мысленно я созревала в такой готовности, но решиться сделать то, что хочу, не осмеливалась. И вдруг случай, которым я поспешила воспользоваться, приписав чужую вину себе, компенсируя как бы

свою опасливость в действии, оставляя занозу дерзости лишь в собственном воображении.

Но вот странной, чудаковатой я не ощущала себя никогда. В детстве и юности уж точно. Напротив, не сомневалась в своей непогрешимой, по стандартам, нормальности, не догадываясь, что подразумеваемое мною как норма зыбко, и мои понятия разделяют отнюдь не все. Стремление не выделяться, не отличаться от большинства владело мною с куда большей силой, чем попытки вникнуть в свою особость. Точнее, обособленность. Понадобилось, как говорят, пуд соли съесть, чтобы определить изначальное: ничья, ни с кем, в постоянной разборке с самой собой, в ужасе, насколько я двойственна, противоречива, пока не дошло, что и эпоха, куда я умудрилась встрять, обладала теми же свойствами. Правда-неправда, как в кольцах питона, сплелись в том времени, в тех людях, что мне довелось повстречать, узнать. Кольца разрубили в куски, питон издох, его жрут стервятники. Но выяснилось, что со стервятниками сосуществовать еще более тошно.

Считаю, самое важное, что нам, людям, дано, это память. То, что помнишь, никому никогда не отнять. Не отнять и тех, кого нигде больше нет, но ты продолжаешь с ними общаться, воскрешая их в своей памяти.

Набоков вложил в уста одного из своих героев мне близкое: "Будь я писателем, я бы обошелся памятью".

НЕЗАВЕЩАННОЕ НАСЛЕДСТВО

ДЕТКА В КЛЕТКУ

Знаменитой я стала в три года, когда Корней Иванович Чуковский поместил мою фотографию в выдержавшей миллионные тиражи книге "От двух до пяти". Причем это фото он получил не от моих родителей, а купил, увидев в витрине фотоателье. При встрече с отцом на прогулке в Переделкино, пошутил, что, Кожевникову, видимо, не хватает гонораров, вот он и приторговывает изображениями своего ребенка. Так я, по крайней мере, после слышала. Когда повзрослела, Кожевников и Чуковский остротами уже не обменивались, только здоровались. В обществе и среди писателей произошел раскол, в семье Чуковских тоже. Папа дружил с сыном Корнея Ивановича, Николаем, а с его дочерью Лидией они оказались по разные стороны баррикад. То, что у Чуковского есть еще и дочь, я узнала, прочтя двухтомник ее воспоминаний об Ахматовой, купив его в книжном магазине в Женеве (в СССР подобная литература находилась тогда под запретом).

Кстати, забавная деталь. Живя в США, я наткнулась на объявление в русскоязычной газете о распродаже библиотеки, и, алчно сглатывая слюну, понеслась по указанному адресу. Мало мне было собственной, доставленной через океан, заполнившей нижний этаж нашего дома в Колорадо и продолжающей разрастаться при новых соблазнах от Камкина, потом от всех победившего на книжном рынке Миши Фрейдлина из Нью-Йорка – так я еще возжелала крупно хватануть на объявленной в газете распродаже, волнуясь, что меня кто-нибудь опередит.

Но конкурентов не оказалось. Владельцы, приехавшие лет пятнадцать назад из Казахстана, сказали, что расстаются с богатством, собираемым тщательно в прежней жизни, потому как дети на русском не читают, внуки тем более, хотя, конечно, жаль… А я узнавала собрания сочинений Стендаля, Мопассана, Бальзака, в юности до дыр зачитанные, но, увы, не вместившиеся в заокеанский багаж. Зато уж теперь, решила, возмещу потери. Муж, не смея возражать, носил и носил стопки книг в машину, и тут увидела книжку в истертой обложке: "От двух до пяти". Раскрыла. На меня глянула толстощекая мордень, с нее фотовкладки и начинались. Подпись: "Я еще не отсонилась". Не знаю, мне ли принадлежит гениальное высказывание, но выражение физиономии его иллюстрировало отлично. "Это я, это я!" – издала горделивый вопль. Хозяева библиотеки, пораженные моей былой славой, отдали книжку за так, бесплатно.

Снята я в клетчатом, с тесьмой, платьице – о, эту материю не

забытьМама по случаю достала целый рулон такой ткани, и чуть ли не до школы я щеголяла в смастеренных из нее фартуках, трусах, блузках, юбках. Начало пятидесятых: со взрослой одеждой кромешный дефицит, а с детской вообще караул – не достать ни за какие деньги. И в подарочном издании "Детское питание" я тоже клетчатая, хотя уже взрослее, с косичками: дефицит, выходит, все еще не преодолен. Но вот в роскошном издании "Питание школьника" альбомного формата красуюсь уже в фабричной выделке свитерке. На цветном развороте со мной соседствует такой же, как и я, образцовый, хотя и с явными приметами олигофрении, мальчик: я сразу ощутила к нему антипатию, распознав отличника по всем предметам. Сама в школьных науках, чистописании, чтении букваря, не блистала.

Помню, между прочим, что когда к нам в Лаврушинский нагрянула съемочная группа, взаправдашняя, с софитами, мама оконфузилась: на стол, за которым мне должно было восседать, из яств нечего оказалось выставить, кроме блюда с макаронами, мне ненавистными. Вот почему при всем параде, крахмальной скатерти, сервировке, физиономия у меня на фото довольно унылая. Сыграть на публику не удалось и не удавалось никогда. Полное отсутствие артистизма – такой ставлю себе окончательный диагноз.

Впервые моя ущербность обнаружилась, когда Галя Волчек, подружка моей старшей на тринадцать лет сестры Ирины, предложила маме привезти меня на кинопробы на «Мосфильм». Разумеется, не в качестве претендентки на главные роли – Галя, профессионал, даже из самых дружеских чувств подобного не сулила – а для участия всего лишь в массовке. Но я и тут провалилась с треском.

Только на меня напялили наряд из пыльного, дурно пахнувшего мосфильмовского реквизита, с трудом (я была плотной девочкой) застегнув на спине застежки, я омертвела, оцепенела. Ничего мне не полагалось произносить, но я утратила и способность двигаться. Позор своей полной никчемности осознала, что называется, до мозга костей. Бежать, срочно бежать от любых соблазнов публичности, прилюдности – вот о чем нутро мое вопило. Не снимала – сдирала чуждую моей сути оболочку с воланами, кружевами – кинопробы проводились для фильма из прошлой, дореволюционной жизни – оттолкнув вызвавшуюся помочь костюмершу. Судьбоносный сигнал: не лезь, не встревай, это не для тебя. Мама пыталась разочарованность скрыть, но я чувствовала, что моей неудачей она уязвлена. Поэтому тот, на «Мосфильме», провал я переживала особенно остро.

Отторжение вызвало все: многолюдство, толчея, нарочито

лихорадочная атмосфера. Да и на «Мосфильм» меня доставили поздно, ночью, а я жаворонок по природе, и даже сумерки для моей психики опасная зона, там я как бы вступаю на зыбкую почву, теряю себя. Хотя в своих снах – хозяйка, полностью, считаю, ими овладела: смотрю, что хочу, жаль иной раз просыпаться. И наутро все помню. С годами кажется, что реальность уступает в прочности сновидениям. Во сне ведь я не блуждаю в туманных грезах, а на самом деле живу.

От мамы-красавицы не унаследовала интереса к шмоткам, от того еще, наверное, столь страстного, что добывать их приходилось с трудом, с ухищрениями. Маму мое безразличие удручало: она полагала, что это недостаток женственности. Когда подросла, донашивала ее туфли, хотя у нее размер обуви 39, а у меня 37. Затащить меня в магазин, заставить что-либо примерять ни в какую не удавалось. Из одежды предпочитала папины свитера, доходящие до колен, скрадывающие очертания фигуры, что мне придавало уверенность в себе. От нагло-пристальных взглядов корчило как при рвотных спазмах. Примерный ребенок неожиданно обернулся трудным подростком, иллюстрацией для учебников по психическим отклонениям, неврозам. Мне хотелось стать невидимкой, какие уж тут украшательства. Но вот то, во что меня обряжали в детстве, навсегда запало.

Мне четыре года. Папа берет меня с собой на ноябрьский парад на Красной площади. Мы с ним, понятно не в толпе среди демонстрантов, а на огороженной специально площадке для избранных, возле правительственной трибуны. И уж мама расстаралась: на меня надела импортный, из сукна костюм с вышитым капором. Рядом снуют репортеры с фото-кинокамерами. Слышу: какие ресницы! Не новость, равнодушно внемлю восторгам. Привыкла. Говорили, что меня из материнской утробы вынули в неестественной для новорожденных пригожести: белотелую, густоволосую, с ресницами в полщеки. Потому, может быть, что родилась переношенной. И долгожданной. Мама, в беременности выкидыша опасаясь, не вставала с постели – вот я и явилась на свет богатырски крупной, но, как в последствии выяснилось, отнюдь не отменно здоровой.

Во-первых, поздно на ноги встала, мама, бедная, избегалась по врачам. И непонятно, в чем тут причина: меня поднимают, а я снова кулем валюсь на надежную попу. Как шутили родители, не хотела, мол, без надобности рисковать, но волнений им доставила немало. Потом обнаружился ревматизм. В Коктебеле, помню, взрослые, светочи отечественной литературы, массировали поочередно мои коленки, вечерами ноющие от невыносимой боли. И все же я была веселой, улыбчивой,

жизнерадостной девочкой. Но, наверно, запас жизнерадостности в детстве и исчерпался. И тогда же достигнут был пик моей красоты, после начался спад. Зато, в отличие от сверстниц, гляжу теперь в зеркало без сожалений: возрастные пробоины мне знакомы давно, начиная, пожалуй, лет с восьми.

А вот в раннем детстве ну просто душистый цветок, на щечках ямочки, бантики в косичках, и вся в мелкую клеточку, за исключением белых носочков на толстых ножках. Вот почему на меня кидались сотрудники глянцевых, как выражаются нынче, изданий. В сталинскую и послесталинскую показушную эпоху, среди разуто-раздетого, ютящегося в коммуналках большинства, я являла собой рекламу счастливого советского детства, парадную вывеску злобного, жестокого режима, то есть, сама того не сознавая, поддерживала, питала страшный в своей подноготной миф.

Кто мой отец, не вникала. Ну, писатель, ничего особенного, как и все прочие, с кем родители общались, кого я видела у нас дома, в Коктебеле, Переделкине, Малеевке, Дубултах. Вот мама – другое дело. Когда она, прихватив меня с собой, заходила в магазин "Живая рыба" на Пятницкой, ее встречал аж сам директор, называя по имени-отчеству. Отцовская фамилия буднично звучала, а Викторию Юрьевну знали все! И в парикмахерской на улице Горького – в очередях нам с ней скучать не приходилось – и в кондитерской в Столешниковом переулке, и в ресторане ВТО, куда она водила меня обедать, где главным был человек, которого называли Борода, и он сам усаживал маму за столик как знаменитую артистку.

Я замечала, впрочем, что мама не только платила деньги в кассу, но и жестом фокусника доставала что-то из сумки, исчезающее мгновенно в руках продавщиц, заведующих ателье, комиссионок – основного источника ее шикарных, сногсшибательных туалетов. Одевалась она, надо сказать, чересчур ярко, особенно по тем временам, когда большинство, стараниями отечественной легкой промышленности, смотрелось уныло, стандартно-безлико, в спецодежде будто из чего-то серо-буро-коричневого. Но надо признать, что даже надев немыслимой, папуаской расцветки пальто, шляпку вычурную, мама ни смешной, ни вульгарной не выглядела. И, как жар-птица, затмевала всех, папу в том числе. Кроме начищенных собственноручно, до сверкания, ботинок, ничего в его облике интереса не пробуждало. Да и видела я его редко. Моим воспитанием занималась мама, папа в эту сферу не вмешивался. Ну и я не лезла к нему, когда он, закрывшись в кабинете, в сигаретном дыму, работал, то есть писал. Такая профессия –

ничего, опять же, загадочного, манящего.

Хотя однажды, когда я заболела, лежала с высокой температурой, мама вслух прочла мне ранний папин рассказ «Варвар», про собаку. Но мне также читали и "Белый клык", и «Маугли» – постигать грамоту, самой выучиться читать не спешила: не мама, так дед, Михаил Петрович Кожевников, всегда наготове с раскрытой книжкой, а я в куклы играю под его бормотания. Скармливал он мне разное, от сказок братьев Гримм до Библии. С комментариями, правда. Историю про Христа разъяснял, как врач, закоренелый атеист: Христос-де болел туберкулезом, и воткнутое в его грудь копье, как при пункции, вызволило гной из легких, вот, мол, причина, так называемого, его воскрешения. Просто, не правда ли?

От бабки с маминой стороны, деду полный контраст, я вкушала уроки-наставления, подытоживающие ее личный, довольно-таки пестрый жизненный опыт. Хорошо дремалось под повествования о роковой, жгучей, никакими силами неодолимой любви. Одновременно, глядя в ручное, круглое зеркало с увеличением, она старательно выщипывала брови и усики над верхней губой. Зеркало пересекала трещина, но для бабки оно было главным, бесценным сокровищем, сбереженным в житейских, и не только житейских, бурях. Про ее сестер, погибших в Варшавском гетто, я узнала, будучи взрослой, от маминой с детства подруги Зоси, тоже еврейки. Бабка, по Зосиным словам, ей завещала открыть тайну внучкам. Меня такое открытие не потрясло, но когда я поделилась им с папой, (мамы уже не было), он исторг замечательный, мне кажется, парадокс: "Еврейка? Не знаю, возможно. Ты – да, но вот Катя (моя младшая, от тех же родителей сестра) Катя – нет". Взглянув друг на друга, мы оба расхохотались. Папины шуточки я умела к той поре оценить. Мы с ним давно уже были в сговоре, небрежно маскируемом. Мама, безраздельно папой владея, стала вдруг его ко мне ревновать. Других поводов не сыскалось, ни при ее жизни, ни после.

Нашей смычке предшествовал эпизод. Я, верно, донельзя тогда расшалилась, и не случайно. В моей жизни настал самый трудный этап – период осознания, что прошлое ушло безвозвратно. Мне исполнилось пять, тем же летом у меня появилась сестра.

До того все, казалось, способствовало моей избалованности, между тем предоставленными возможностями я не злоупотребляла. Зачем? Доказательств родительской любви хватало вполне. Но с рождением младшенькой все изменилось.

Из роддома маму с Катей доставили на «ЗиМе» Катаевых, и

дядя Валя с тетей Эстой так мельтешили, сюсюкали над младенцем, завернутым в розовое, атласное одеяло, что у меня к ним обоим сразу возникла неприязнь, которую я так и не смогла преодолеть. Предубеждение, предвзятость сказались, и когда я потом читала книги Валентина Петровича, мастерски сделанные, то наслаждаться ими мешало укоренившееся с детства недоверие к автору. Еще недавно обласканную, одариваемую подчас непомерно дорогими игрушками (что подчас смущало моих родителей), он меня предал. Вдруг меня будто нет, он все забыл. И не только меня, несмышленыша, но и Олешу, с которым якобы дружил, Мандельштама, которого якобы чтил, Бунина, учеником которого представлялся. Подтасовывал факты, как шулер, пользуясь тогдашним неведением читателей, из чужих бед, мук плел себе затейливый венец, но не терновый, нет, – «алмазный», позаимствованный у пушкинской Марины Мнишек.

И сейчас вижу: катаевский «ЗиМ» въезжает в ворота нашей дачи, а я, в вечном клетчатом платье, с улыбкой, забытой на рекламно-счастливой физиономии, одна стою на обочине, всеми забытая, заброшенная. Мое детство закончилось, сокрушилось.

Но этого мало: виновница, свергнувшая меня с пьедестала, водворилась в непосредственной ко мне близости, в той же комнате, где вчера еще я была полновластной хозяйкой. Жду, не сплю, ловлю каждый шорох: спит безмятежно втируша, спит. Но под утро вдруг душераздирающий, захлебывающийся плач. Бегу босая, обезумев от ужаса, к спальне родителей: помогите, спасите, оно умирает! На самом-то деле спастись я хотела сама от себя. Меня раздирали чувства, прежде неведомые.

Вижу: мама на кухне выжимает через марлю клубнику, первые ягоды с грядки на нашем участке. Наблюдаю, догадавшись: предназначено это не мне. Но, может быть, смею претендовать на оставшиеся в миске выжимки? Спрашиваю, мама растрогана моей кротостью и похвальной сообразительностью. Нет, мама, ошибаешься. Хотя я не лицемерю, не лгу – я в отчаянии, но оно не выплескивается наружу, потому как нет у меня тут никакого опыта. Застряла в образе всеобщей любимицы, унизительном, жалком, когда сюжет пьесы на ходу уже перекроен, и привычно радостная моя улыбка – печать позора.

Но изнутри уже зреет: ничего, я еще за себя поборюсь, права отнятые отстою. Катя пала жертвой этой моей борьбы со всеми и против всех. И я не успокоилась, себе ее не подчинив, не сделав зависимой, ведомой. А в результате себя же обобрала, лишившись сестры-подруги. В неравенстве ведь не бывает ни дружбы, ни любви. Напрасно, выходит, старалась, испытывая свою власть над сестрой, и вот так ее потеряла.

В тот раз меня застали, застукали, когда я давала ей нюхать ее же какашки. Ворвались в детскую совершенно некстати: я успела вобрать выражение Катиного лица, обезоруживающе доверчивое, что меня устыдило. Но гам, ор, возмущение взрослых, вынудили меня, одетую для прогулки, бежать опрометью, куда глаза глядят, как загнанный, преследуемый сворой гончих звереныш.

Отец настиг преступницу во дворе и, уложив на скамейке, шлепнул по заднице. Прежде он меня никогда не наказывал, ни за что. Я была в комбинезоне на гагачьем пуху, подпоясанным для тепла ремешком, – не страшны никакие морозы. Ладонь осерчавшая отца в комбинезоне увязла, как в пышной подушке. Я удивилась, никакой боли не ощутив: меня ударил отец, мой отец? Неужели? Не верю!

Убегать никуда не собиралась, лежала, обернулась к нему, с выражением того самого, переполнившего всю меня недоумения. Мы встретились взглядами: я ничего не боялась, и уж его-то меньше всего. А вот он меня испугался. Навсегда врезалось его, постаревшее как бы вдруг лицо, растерянное, любимое, родное. Что его так расстроило и, может быть, даже ужаснуло? Предвидение, что я еще могу выкинуть? И ведь выкину. А воздействовать на меня не получится никак, а физически тем более.

Продолжая на пузе лежать, выдерживала нашу игру в гляделки. Он сдался первым. Взмахнул досадливо рукой и пошел от меня к дачному крыльцу. "Папочка, – крикнула в его сгорбленную, удаляющуюся спину, – прости, я больше не буду!"

Буду. Каждый раз, снова его огорчая, раскаивалась, выклянчивала прощение, но обуздывать себя так и не научилась. Вина моя перед ним нарастала, утяжелялась и, когда он лежал без сознания, при смерти в кунцевской больнице, превратилась в непосильный, неподъемный груз. Все, уже не покаяться, грехи не отмолить. Не перед кем. Вот что сделало меня уже изнутри клетчатой, черно-белой, запутавшейся в самой себе. Придумываю оправдания-отговорки-лазейки отцу, эпохе, его изуродовавшей, и увязаю, тону, немо кричу: зачем ты, папа, тогда жил, зачем писал, если не лгать было нельзя, если головой за глоток свободы приходилось расплачиваться? Не в состоянии ни простить, ни осудить. Меня раскачивает, заносит то туда, то сюда, будто на гигантских качелях. Ругань в свой адрес сношу почти безразлично, но вот хула отца ранит глубоко.

Если бы было дано выбирать, предпочла бы родиться в обычной семье, ничем среди прочих не выделявшейся, стандартной, без маминой ослепительной внешности, без

папиных привилегий, нося фамилию, не режущую ничей слух, и отвечая лишь за себя. Но в стране, откуда я родом, не предусмотрено середины ни в чем. Либо все, либо ничего. Красота – уродство, нищета – богатство, власть – бесправие, оголтелая ненависть – слепое обожание кумира, после, в очередной раз развенчанного, оказавшегося негодяем. Выбора нет, выхода нет, надо жить, уж как кому дано, и не искать справедливости – это вовсе напрасно.

…Когда отец умер, я нашла в его прикроватной тумбочке, в пластиковой коробочке из-под лекарств, две фотографии паспортного формата. На той, что лежала сверху, увидела себя, лет семнадцати, а на другой был парень, незнакомый, хмурый, обритый наголо, с мощной, накаченной шеей – не хотелось бы повстречаться с таким где-нибудь в подворотне. И вдруг обнаружилось наше сходство: тот же мрачный прищур, подбородок на вылет, склад губ с перекосом, то ли в усмешке, то ли обиде. Папа, ты, что ли?

Боец, борец, кормилец семьи. Быт в коммуналке с родителями-меньшивиками, уцелевшими по недосмотру, типичными интеллигентами, про которых метко сказано: за что боролись, на то и напоролись. Дед в шляпе, очках с круглыми стеклами, с бородкой как у Плеханова – облик, отлитый еще в молодые годы и сохранившийся до смерти, в возрасте девяноста одного года. И бабушка, пламенная революционерка, тоже, по всему судя, мало менялась. Оба застыли как бы вне времени, избежав натиска чуждой им действительности. Идеал скромности, выношенный в сибирской ссылке, помогал выстоять при любых обстоятельствах: обделенности, недооценке, лишениях. Для себя лично им не было нужно ничего. А вот, чтобы сын прорвался – да, хотели. Что он и сделал, соответственно родительским чаянием. Куда? Да вот туда, где оказываются пленниками своих же побед, где посулы оборачиваются обманами, и откуда нет дороги назад.

Прости меня, папа.

ХОЗЯИН ГАЙД-ПАРКА

Не думала, что доживу до еще одного витка в отечественной истории, когда с фигур, поверженных, изничтоженных в «перестройку», будет снято табу, и в оценки их, исключительно негативные, мало-помалу начнет просачиваться нечто, похожее на объективность.

Дошла очередь и до Александра Борисовича Чаковского. Читаю и не верю глазам своим: оказывается, он был сложной, крупной личностью послесталинской эпохи. И создал ту "Литературную газету", которую читала вся страна. И в бытность его главным редактором, каждый номер газеты воспринимался читателями как глоток свободы. А золотые перья им, Чаковским, привлеченные, выпествованные, составили славу отечественной журналистики, ее, можно сказать, классику.

Откровения подобного рода сопровождаются, как правило, замечанием, что-де с Чаковским имярек довелось общаться не только по службе, но и, так сказать, лично. Тут тоже надо отметить поворот. Выходит, знать, неформально общаться с человеком, недавно еще спущенным до персоны нон-грата, считается уже лестным? Ну чудеса! Замечательно точно выразился Корней Иванович Чуковский, сказав, что писателю на Руси надо быть долгожителем. Добавлю: не только писателю. Оказаться свидетелем многих коллизий и наблюдать охотников их забыть – это такая сладость, такой, как выражаются нынче, кайф, что и к злорадству не тянет. Нет смысла. А вот сверять, сопоставлять и делать выводы соответствующие – интересно.

Например, я тоже была знакома с А.Б.Чаковским. Причем долго, можно сказать с момента своего рождения (а точнее еще до, находясь в мамином животе), тогда и жена Чаковского, Раиса Григорьевна, ждала их первенца, сына Сережу. Наши отцы сдружились в войну, и мы, их дети, знали друг друга действительно с колыбели. А потом, спустя многие годы, я оказалась единственным журналистом, записавшим и опубликовавшим интервью с Чаковским к его восьмидесятилетию. Больше – никто. И за время нашей многочасовой беседы ни разу телефон не зазвонил. Все как сгинули. Похоронили заживо, отобрали газету, им созданную, выжали и выбросили на свалку истории. Да, у нас удивительная страна, по части неблагодарности ей, пожалуй, нет равных. Не только мертвых не чтят, но и над старостью глумятся. Уважение только из страха выказывают, а если уже не боятся, то плюют в лицо. Чаковский в тот раз мне сказал: "Повезло Вадику

(В.Кожевников – Н. К.) – он до этого не дожил". И я с ним согласилась.

Не знаю, можно ли назвать их, Кожевникова и Чаковского, друзьями в общепринятом смысле. Доверия полного, на мой взгляд, между ними не было и быть не могло, потому что оба полностью никому не доверяли. Зато понимание, осознание сильных и слабых друг у друга сторон – вот это присутствовало. А еще обоюдное притяжение, для таких натур, как они, редкое. Я ведь часто сопровождала отца в их совместных прогулках. И мне было с чем сравнивать.

Скажем, там же, в Переделкине, завидев Катаева, у отца появлялась улыбка драчливого озорника, предвкушающего стычку, поединок словесный, укус за укус. И тот и другой язвили с наслаждением и с не меньшим удовольствием расставались. Встреч с Леоновым, от которого за версту веяло многотомным классическим наследием, если удавалось, отец избегал. Георгий Марков – это была тяжелая повинность. Беседы с ним отец волок на себе как некрасовский бурлак баржу. А вот когда звонил «Сашка», то бишь Чаковский, он, Кожевников, мгновенно напяливал куртку, ушанку, мчась на свидание с такой прытью, что я еле за ним поспевала. После трусила с ними рядом, ближе к обочине, к канаве. По весне там взбухало хрустально-прозрачной лягушачьей икрой, а летом доверху вспенивалось незабудками. Вот куда устремлялся мой алчный взгляд, и меня опасаться им было незачем. К их разговорам я не прислушивалась: все о том же, про то же, политика, литература, опять литература, снова политика.

Кстати, домами они не общались, в гости к себе не звали. Может быть, потому, что наша мама и тетя Рая являли собой антиподы, и внешне, и внутренне, и, скажем, по статусу, положению в семье. У нас мама верховодила, правила безоговорочно, авторитарно и в быту, и в воспитании детей, а у Чаковских царил патриархат. Сережа и Катя стояли перед отцом по стойке смирно, да и я сама Александра Борисовича побаивалась. Он подавлял, хотел и умел властвовать. Некрасивый, сутулый, а покорял, пленял. Помню, девчонкой, когда он вдруг меня замечал, я робела. От него исходил мощный заряд мужского эгоизма, ему самому неподвластный, и даже если бы вдруг захотел себя тут укоротить, вряд ли бы удалось. Лощеный, барственный, от дорогих ботинок до сигары, свисающей с брюзгливой губы. Тот же Катаев ну очень старался, а между тем и в длиннополом по моде пальто, в мокасинах изящных на тонкой подошве, нелепых при нашей переделкинской распутице, с коллекцией кепок – одну однажды у нас дома забыл,

и я, каюсь, ее присвоила, донашивала, на зависть приятелям – но и в этом «прикиде», (слово, впервые услышанное от Вознесенского, тоже любящего наряжаться), проглядывало юморное, одесское, пижонисто-фертовое.

А вот Чаковский смешным быть не мог. Ни в чем, ни в жизни, ни в творчестве. И это природное его свойство – одновременно и плюс, и минус. И броня, и ущербность характера, личности. Сам над собой поиздеваться всласть, озорно не умел и другим никогда бы не позволил.

Когда мы встретилась накануне его восьмидесятилетнего юбилея, он дал мне почитать рукопись своих мемуаров, на основе которых я и сделала с ним интервью. Текста нет сейчас под рукой, потерялся в многочисленных переездах по странам нашего семейства, но помню лейтмотив. Я все приставала: "Неужели, Александр Борисович, вы правда во все это верили?" Он твердо: "Да, Надя, да!" Теперь думаю про себя: какая же, однако, садистка, провоцировавшая, принуждающая человека перечеркнуть все им прожитое, всю жизнь.

Рукопись была объемной, к публикации шансов тогда не имела, и, насколько знаю, до сих пор не опубликована. Я ее честно перелопатила, но несмотря на множество любопытных, исторических свидетельств, встреч автора со знаковыми, эпохальными личностями своего времени, все размывалось практически сразу после прочтения.

Увы, Чаковский писательским даром не обладал. Такой «секрет» обнаружился со всей очевидностью, когда и дожив до гласности, и обладая уникальным жизненным опытом, уже не скованным никакой цензурой, он, даже работая, что называется, в стол, оставался пленником – нет, не режима, а собственно несостоятельности в данной конкретной области, литературе.

Почему умный, разносторонний, даровитый человек взялся за то, к чему не имел никакого призвания – тут его рукопись многое разъясняла. Я, правда, кое-что знала и до того, от отца, но интерпретация самого Чаковского расставила точки над i.

По факту рождения, происхождения, один из самых успешных, удачливых представителей советской писательской элиты изначально был обречен на полный провал. Замри, на пузе лежи, не высовывайся. Дед – миллионщик, забыла на чем разбогател, на мыловаренье что ли. А тогда, в царской России, стоит заметить, добывать деньжата, да в таком количестве, чтобы еще и меценатствовать, содержать, к примеру, оперный театр, следовало иметь мозги. О «прихватизации» государственной собственности те бедолаги не знали. Ох, темный народ, хотя и евреи. Набив мошну, вырвавшись из черты оседлости, отправляли

детей обучаться за границу, имея в виду их возвращение – вот наивные! – на родину. И дети их, тоже наивные, возвращались. Родители главного редактора «Литературки», врачи с дипломами университетов Берлина, Цюриха, на родину прибыли, получается, аккурат для того, чтобы разгневанный пролетариат вышвырнул их из отцовских особняков, а ребенку их, сыну, выжег на лбу несмываемое клеймо отщепенца, чуждого классово буржуазного элемента. Предполагалась, что он не выплывет никогда, нигде.

Но Сашка оказался твердым орешком. Пошел на завод. В рукописи пространно сказано о том, как мастер (Кузьмич, кажется), обучал ученика вытачиванию деталей на токарном станке. О его внимательности, дружелюбии к мальцу чуждого, вражьего племени спет ну прямо панегирик. И еще нашлись благодетели среди кузмичей-ивановичей – автор их перечисляет, захлебываясь от благодарности – допустившие парня к участию в заводской самодеятельности и даже – в святая святых! – к составлению стенгазеты.

Я спросила: "А вы что, Александр Борисович, до сих пор считаете, что если вы в детстве носили матросский костюмчик, гольфы, немка-бонна с вами в парке гуляла, вас следовало в куски разорвать, на костре изжарить и съесть?" Он мне: "Ты не понимаешь, я получил возможность участвовать в общественной жизни, активной, полнокровной, не остался на обочине изгоем, а мог бы…"

Вот, видимо, откуда все дальнейшее вызрело. Властолюбие, непререкаемая авторитарность, желание и умение повелевать – из унижений, необходимости подлаживаться, пережитых в юности. Чаковский, я не раз слышала, на свое окружение давил, сотрудники перед ними трепетали, боялись до дрожи в коленях. Я только однажды оказалась в его редакционном кабинете на Костяковском, в здании, похожем на дворец, который он выбил, находясь на вершине своей влиятельности. И хотя явилась скорее по частному вопросу, (он был председателем комиссии по литературному наследию отца), ощущение, что этот человек, которого знаю с детства – вершитель судеб, способный и казнить, и миловать, неприятно задело. Несмотря на его, Чаковского, ко мне благосклонность, тот визит показался томительно долгим. Каково же было тем, кто работал с ним.

Хотя все же следует понимать: он – да, давил, но и на него еще как давили. Диагноз себе самому поставил цитатой, которую я получила из его уст тогда, когда пришла брать интервью: "Вначале ты берешь власть, потом власть берет тебя". Продолжу: и оставляет руины еще до того, как ты ее, власть, утрачиваешь.

В комнате, где мы беседовали висела обрамленная, большая

фотография его дочери Кати, погибшей в автомобильной катастрофе. Она там смеялась. Катя, моя безудержная рыжая подружка. Нет, Александр Борисович, уж ее-то вам не следовало так жестко держать, как вы это делали с другими. Отказали не только тормоза в машине, где она ехала, но и в ней самой. Она погибла потому, что ей не додали, не додавали с детства – искренности, доверительности, любви. Щедрости, и душевной, и, можно сказать, пустяшной, но лестной, памятной, ценимой. Необходимой не только одариваемым, но и дарителю. С условием, правда, если гармония в семье воспринимается достойной усилий, а не как мелочь, ерунда.

Как-то Чаковский с Кожевниковым отправились вместе в загранкомандировку, то ли в Париж, то ли в Берлин. Папа оттуда всем навез кофточки. Представляю: завели куда-то, и он, торопясь, хватал все подряд, Ирине-Кате-Наде, всем сестрам, как говорится, по серьгам, и маме, в первую очередь, конечно, нашей маме – ворох, кучу, тюки чего-то пестрого, до ряби в глазах. Милый наш, доверчиво-небрежный добытчик. Однажды вручил мне туфли, лакированные лодочки, но обе на левую ногу. И очень смеялся, когда я, их напялив, попыталась пройтись. До сих пор в ушах его хохот: ну что ты такая неловкая, загребай шире, левым носком правую пятку подталкивай. Ну как тут огорчаться, когда в доме такое веселье!

Зато Александр Борисович в ту поездку купил все качественное, дорогое, не скупясь – себе. Он что никого не любил? Да нет же, любил, и особенно ее, рыжую, смешливую Катю.

И вот спустя месяц, как Катю похоронили в запаянном гробу, идем с папой по Переделкино, и на взгорке, ведущей от улицы Серафимовича, трусит кто-то спортивной пробежкой в синем фирменном костюме. Я: папа, неужели Чаковский? В ответ, глухо: да, он. Я: как он может, ведь Катя… не могу, не хочу его видеть! Он: тогда уходи, возвращайся домой. Ухожу, оборачиваюсь и вижу уже в отдалении две фигуры, медленно сближающиеся. Пошли рядом, потом обнялись. Тут я припустила, уже не оглядываясь. И такая жалость, к обоим, в сердце плеснула, как щелочью. До сих пор горит: ну что мы знаем, что понимаем, и тогда, и теперь, про них?

Когда создавалась «Литературка» мы с сыном Чаковского, Сережей, заканчивали школу. Катя была нас младше на год. Нам предстояли экзамены в институты. И вот, помню, лежим на поляне в лесу переделкинском, вперившись в небо. Лето, но березы уже кое-где золотеют. Сережа спрашивает: "Ты знаешь о проекте с газетой моего отца? Как думаешь, получится?

Понимаешь, что он задумал?" Но я, нацеленная на поступление в консерваторию, отголоски литературных дел пропускала мимо ушей. Если что и застряло, то типа того, что «Чак» замахнулся, зарвался, и затея его провалится. Но не желая обидеть друга, молчу.

Между тем, как известно, затея не провалилась, Чаковский создал газету, ставшую отдушиной для страны, предвестницей гласности, школой мужества, смелости гражданственной, раскрепощения застылых в сталинскую эпоху душ, мозгов.

Хотя, конечно, все это оставалось еще половинчатым, напоминало кульбиты воздушных гимнастов под куполом цирка, где безопасность не гарантирована, и срывы артистов – условия их ремесла. У такого действа тут тоже был свой режиссер, антрепренер, хозяин или, скажем, смотритель Гайд-парка, и он именно отвечал за все головой. Поставил на карту добываемое многолетиями: природную осторожность, карьеру, тщеславие, чтобы однажды вот так самовыразиться, через других, способных, молодых, предоставив плацдарм для их взлета.

Поскольку сама принадлежу к журналистскому цеху, знаю лихость, безоглядность, эгоизм газетчика, готового на все ради публикации своего, написанного только что, горячего материала. Знаю и наше стреноженное топтание в предбаннике начальственного кабинета, откуда секретарша вот-вот вынесет гранки, измаранные, изуродованные державной правкой – и лютая ненависть к нему, тирану, душителю, трусу, цепляющемуся за свой пост, льготы, привилегии, как Кощей бессмертный. Я сама из стана зависящих от воли редактора-деспота, это моя профессиональная среда.

Но по прихоти обстоятельств, факту рождения имела возможность с близкого расстояния наблюдать за теми, кто взял власть; потом власть взяла их, принудив тем заниматься, к чему не было ни охоты, ни склонности. Чаковский строчил бездарные, как жвачка пресные романы-эпопеи, а моего отца, шутника, озорника, чистопородную богему, загнали в начальственное кресло и там сгноили.

У Кожевникова и Чаковского больше было различий, чем сходства. Кожевников всю жизнь держался, как тогда выражались, твердых взглядов, служил идее до конца. Мне вера такая, отметающая сомнение, чужда, но не обо мне речь и даже не об идее, а о характере, об эпохе, такой человеческий тип слепившей. Цельный, сильный, упрямый и вместе с тем уязвимый, ранимый, застенчивый, он, мой отец, никогда для себя лично ни о чем не просил. Служил государству, но персонально ни перед кем не прислуживался, не заискивал, не вилял, ни перед Хрущевым, ни

перед Брежневым, ни перед ничтожеством Черненко. В свите приближенных к трону, льстивых царедворцев, ни разу не мелькнул. Спина его не гнулась в поклонах, не позволял вбитый природой стальной стержень

Чаковский был гибче, покладистее, вхож в высшие сферы, а потому желаемого добивался. Наград, званий, почестей, и квартира огромная на улице Горького не без хлопот ему досталась. Лицемерить не буду: отец, если бы предложили подобное, полагаю, не отказался бы. Но урывать, забегать вперед, оттеснять в очереди просителей – нет, не та натура. Впадал в бешенство, когда я, дочь, просила о чем-либо его, собственного отца.

Мы с мужем, ребенка родив, кооператив в Сокольниках, в блочном доме, выгрызали сами, к отцу за помощью не осмелившись обратиться. Отказал бы точно, да еще высмеял бы, унизив вдвойне. Доить власть потребительски, цинично считал ниже достоинства. И лукавить, при этом испытывая удовольствие – тоже нет, не его стиль.

Застрял эпизод. Проводим в Прибалтике отпуск семейно, с отцом вместе, но уже без мамы. Нас с мужем навещает там пара приятелей, Андрей, сын писателя Кочетова, женатый на Элле, дочке первого секретаря ЦК Компартии Эстонии. Они приезжают из Пярну на оливковом «Мерседесе» с водителем и правительственными номерами – шок по тем временам для местной общественности.

Чаковский, любивший Прибалтику, проводившей там все летние сезоны, проходится едко насчет использования служебного положения в личных целях, родительского попустительства, барчат-отпрысков и покойного Кочетова, с которым, выражаясь мягко, не ладил. Как, впрочем, и мой отец.

И вижу, – ох до чего же знакомый – зеленоглазый прищур, улыбку сатира, челюсть, бойцовски вперед двинутую. Нежно, со сладострастием: "Саша, не тому ты завидуешь. Кочетов уж лежит на Новодевичьм, а где тебя похоронят – всхлип-смешок – еще не известно". И скушал Чаковский, не нашелся. Нравились мне их вот такие бодания, ликовала, если отец побеждал. Не всегда. Потому и слились, дружили до смертного часа – разные, но равные по масштабу, по весовой категории. Хотя и тут, и в предпочтениях спортивных являли полюса.

Отец юношей всерьез занялся боксом, и первой его заграницей оказалась довоенная Рига, где участвовал в соревнованиях. Чаковский же классный, отличный теннисист. Лощеный, холеный, ракетка – супер, форма с иголочки. На корте партнерши его блондинки, сплошные блондинки. Нет, вру, на

самом деле была одна, ему преданная до самозабвения, в той же степени, как его законная жена Раиса. Обе – жертвы, обе страдали всю жизнь, из-за него. Он что, не понимал? Не за-ме-чал.

А папа наш нес свое вдовство как заживо на кресте распятый. И в тот, другой уже раз приехал в Дубулты с нами, серый, поникший, с мутным взглядом, ни на чем, ни на ком не сфокусированном.

Я так обрадовалась, когда согласился на пляж пойти, увидел Чаковского – тамошнего летнего аборигена, разделся, и пошли они к морю. Я в дозоре осталась, на скамейке, следить, вдруг что…

И что? Да именно то, оно, самое, что было, длилось всю жизнь. Встали, в воде по колено, развернувшись грудью друг к другу и так застыли. Спорили, ссорились? Не знаю. Голосов не было слышно. Десять, двадцать минут, полчаса, час – ни с места.

Так и хочу оставить их, наедине. Не буду мешать, если им все еще вместе интересно.

КОМОД

Мои родители к вещам относились равнодушно. Если что-то ломалось, терялось, даже ценное, никаких сожалений не выказывали. Домработницы воровали, когда по мелочи, а когда и по-крупному, но мама не пыталась даже их уличать. Единственное, чем она дорожила, так это духами. Флаконы хранились у нее в комоде, как в сейфе, всегда запертом, и мне в детстве очень хотелось узнать, подглядеть, что еще есть там.

Но мама, при своей нередкой рассеянности, в чем-то и безалаберности, склонности к мотовству, никогда не забывала комод запереть, отчего мое любопытство еще больше нарастало. Все прочее ведь оставлялось нараспашку: столовое серебро, кольца, серьги на прикроватной тумбочке, деньги в брошенной то там то сям сумке.

В ту пору я не задумывалась о материальном достатке в нашей семье. Он был, но на каком уровне, мешало понять небрежное безразличие к устройству быта. Обстановка, мебель – да никакая, с затесавшимся по случаю резным антикварным креслом, екатерининской вазой кобальтового стекла, бронзовой люстрой над обеденным, покрытым дырявой клеенкой, занимающим почти всю комнату столом: семья большая, и гости являлись часто. Мама, общительная, энергичная на разносолах не только в праздники, но и в будни, не экономила. Бразды правления ей полностью, безраздельно принадлежали, и если она о чем-либо с отцом и советовалась, то скорее формально, из соблюдения, ну скажем, приличий. Так, по крайней мере, представлялось нам, дочерям.

Как-то приехала на дачу в сопровождении грузовика, нагруженного строительными материалами. Оказалось, по дороге ей повстречался склад, и мгновенно созрело решение расширить наш финский домик, действительно уже тесноватый. Папа к таким вот ее идеям, затеям одобрительно относился, в детали не вникая. Разве что улыбка у него иной раз получалась растерянной, но взгляд, устремленный на маму, выражал неизменное обожание. В голову не приходило, что у кого-то, в других семьях бывает иначе.

Мама воспринималась нами, детьми, в ореоле отцовской любви, поэтому подчинялись мы ее власти безоговорочно, понимая, что при поддержке во всем ей отца бунт исключен. Вот разве что, если успеть добежать к нему в кабинет, удавалось избежать порки. Мама, скорая на расправу, рукоприкладство, по свойственному ей безошибочному женскому чутью, в присутствии

мужа затрещин нам не давала. Лучезарно-праздничный ее образ не следовало омрачать скандалами, воплями, обильными детскими слезами. К тому же папа мог и не выдержать, за ребенка вступиться, что поколебало бы мамин авторитет. А такого она, гордая, самолюбивая, допустить ну никак не желала.

Воспитывала нас строго, тут папа был в курсе, но ему не полагалось догадываться, что наказания ее не всегда справедливы. Мы не жаловались ему, чтобы не огорчать. С инстинктивной детской прозорливостью старались его щадить, оберегать, чувствуя, что он нуждается в защите, и при мужественной внешности нутро у него ранимое, хотя он и пытается это скрыть, замаскировать.

Вышло так, что мы оказались с мамой сообщниками, в плену ее твердой, с элементами деспотизма, натуры. Обезоруживало к тому же то, что всегда она оказывалась права. Предупредила – сбывалось. Ясный, трезвый ум у нее сочетался с даром предвидения. Была ли она практичной? Нет, пожалуй. И уж точно не мелочной. Хотя зарабатывал папа, а она тратила, иной раз бестолково, но царственно, без тени суетливости, заискивания перед мужем, от которого в материальном смысле зависела. Зато он от нее – во всем остальном.

Как мать, как жена она была безупречна, образцова. Именно труженица, железно дисциплинированная, хотя нигде не служила, образование высшее имела, а вот профессии – нет. Ранний брак, первый муж знаменитый летчик-полярник, из той плеяды Героев, которым толпы рукоплескали, как потом космонавтам. На маму, вчерашнюю школьницу, слава, приемы в Кремле, шестикомнатная квартира в Доме на набережной, обрушились лавиной, и все-таки она, извернувшись, поступила в институт и его закончила, неважно какой. Дипломом обзавелась как запасным выходом на случай пожара. Золотая клетка, куда попала, надежной, уютной, ей, верно, не представлялась. Вылетела она оттуда по своей воле, удивив и разгневав мужа-летчика.

Ирине, моей старшей сестре, исполнилось шесть, когда мама из Дома на Набережной ушла в коммуналку к отцу, молодому писателю, в литературных кругах известному, но в верхах, где мама тогда вращалась, его имя уважения не внушало: так, шантрапа, ни чинов, ни постов, ни званий.

Встретившись с ним случайно в гостях, мама понятия не имела, кто он, чем занимается, как и он, кстати, не знал, откуда она взялась. Незнание подарило свободу, в которой зарождающееся чувство особо нуждается, давая заряд, либо гаснувший, либо нет.

Хотя папины ранние, довоенные рассказы вряд ли могли

повлиять на ее решение столь круто, рискованно изменить свою судьбу. Блажь? Или страсть, от которой теряют голову?

Мы, я и младшая сестра, родившиеся от второго брака мамы, застали период, когда она уже абсолютно владела собой, принимая папино поклонение как должное, привычное, ответного трепета не вызывающее. В бесспорно одержанной победе торжество, ликование сменяются уверенностью, стабильностью – на таком фундаменте мы и росли, не предугадывая, что при устойчивом благополучии назревает опасность излишней доверчивости, уязвимости в будущем, во взрослой жизни. Мы во всем полагались на маму.

Помимо ореола отцовской любви, в ней завораживала еще и способность держать дистанцию, не допуская большей близости, чем определила, отмерила она сама. Переступать эту черту – табу. В комнату к ней войти разрешалось, лишь постучавшись. Опасалась, что ее застанут врасплох? Но какие тайны могли быть у идеальной, правильной, без изъянов женщины? И все же что-то она в себе от нас стерегла, как в сейфе-комоде духи, вторжения извне пресекая, полагаю, что и папины в том числе.

С удивительной изобретательностью умела создать видимость своей занятости, постоянно куда-то спешила, в основном, в магазины, но с такой деловитостью, собранностью, что покупки ее, порой совершенно никчемные, бесполезные, воспринимались в семье событием, и важным, и радостным.

Рано вставала, пока в доме все еще дрыхли, включая домработниц, как на подбор нерадивых. С какой целью она их нанимала – загадка. Готовили плохо, убирались халтурно, а мама будто не замечала. Коронными блюдом и нами, и гостями признавался салат, который она сама готовила. Салат этот в первую очередь гости и поглощали, что я с сожалением наблюдала. Впрочем, его рецепт кулинарных ухищрений не требовал. Вместо одной банки крабов мама вбухивала три, и все – успех гарантирован.

Но из всей череды домработниц она выбрала Варю, надолго ставшую ее любимицей. Варя, косая, хромая, зимой и летом, и на улице, и дома носила валенки, а так же теплый платок, прикрывающий половину лица: зубы ныли с правой стороны челюсти, а слева глаз подкачал, зато другой, зрячий, пронзал насквозь. Гости родителей от одного только Вариного облика обмирали, а уж когда она соизволяла нечто изречь, просто-таки цепенели.

Обращалась Варя ко всем на «ты», не церемонилась, обнаружив в застолье с ее точки зрения непорядок. "Ты чего опять к блюду тянешься, и так мордень, вишь, наел, – одергивала

какого-нибудь из приглашенных. – А ты, Вадим, – это уже отцу, – все болтаешь, куришь над пустой тарелкой, дай хоть салату тебе налОжу, да погоди, еще рыбки, а то ведь ничего тебе не достанется, все сожрут". – ошпаривала взглядом, люто ненавистным, присутствующих.

А наша мама улыбалась. Варины дерзости ей доставляли явное удовольствие, в особенности, если Варя врезала важному, в больших чинах, гостю. Варя, чудище, пользовалась у нее безграничным доверием. Говорила: "С Варей я за Вадима спокойна, она его в обиду не даст". Действительно, если папе не налОжить, он, когда работал, то есть писал, сглатывал стакан горячего чай со сгущенкой, и, как сомнамбула, шатко, незряче, шел в кабинет. То, что в доме есть холодильник, с продуктовыми запасами, достаточными для месячной осады, от внимания его ускользало. Так что мамины беспокойства подобного рода имели основания. Все прочее налажено. Отцовские сорочки сдавались в прачечную, возвращаясь с каменными от крахмала воротничками. Их надевая, он дергал шеей, как лошадь, приспосабливаясь к хомуту, привычно натирающему вью. Переложив ответственность за мужа на Варю, мама, казалось, никаких угрызений не испытывала. Обосновалась с нами, детьми, в московской квартире, дачу навещая, где папа жил, только по выходным. Уж не знаю, как она отца убедила в нормальности, естественности такого жизненного распорядка, но он его принял и сиял, услышав гудок за воротами ее «москвича». Рулила лихо, нарушая правила, но умудрялась, чаруя милиционеров, избегать штрафов и проколов в водительских правах. Высший пилотаж женской обольстительности.

Главным доводом, почему она оставляла папу на попечении домработницы, являлись мы, дети, в воспитании коих мама и правда усердствовала. Сопровождала в школу, водила в театры, музеи, консерваторию, действительно жертвуя собой: в музыке совсем не разбиралась, что распознать оказывалось несложно, поймав на концертах ее скучающий, блуждающий взгляд. Количество труб в органе на сцене подсчитала, изучила портреты великих композиторов в овальных рамах, но стойко боролась с сонливостью, зевотой. Присутствие ее там, в Большом зале, имело одно лишь обоснование: она испытывала удовлетворение, наблюдая, как дочери внимают звукам рояля, скрипки, оркестра, наслаждаясь ей недоступным. Не удавалось предугадать финал произведения, сколько бы раз она его не слышала, пугливо вздрагивала, когда зал разражался аплодисментами, и мы, дочки, пристроенные ею в музыкальную школу для одаренных, неистовствовали вместе со всеми. Вот в такие моменты лицо ее

обретало зыбко-мечтательное, трогательно-растерянное выражение. Смысл жизни матери – гордость детьми.

Оживлялась в антрактах. В толпе, среди избранной публики, ощущала себя на месте, в своей тарелке. Ведь на самом-то деле светскость, так называемая, черта врожденная, с происхождением, воспитанием не обязательно связанная. Маме, простолюдинке, не от кого было унаследовать навыки обхождения, принятые в элитарном обществе, но она ими владела, будто обученная с пеленок.

Город, Москва, столица аккумулировали в ней энергию, иссякающую за два дня, проведенных на даче. Прогулки в лесу отвращали: бездеятельное созерцание природы – нет, не ее стихия. Она, не утаивая нетерпения, облегчения, выпроваживала в лес меня, ставшую спутницей отца. Раздражение в ней нарастало, если папа ботинки шнуровал дольше, по ее расчетам, положенного, а я бестолково искала шарф. Неужели мы так ее утомляли, и она нуждалась в роздыхе, затворившись в комнате, с гарантией, что никто к ней не постучится? Или готовилась к тому, чего больше всего страшилась, стыдилась? Чего же? Одиночества? Уж ей-то, казалось, оно не грозило. Мы, страждущие любви, внимания, обступали ее плотным кольцом, следя ревностно, чтобы никто без очереди не прорвался.

Я, скажем, не могла уснуть без ее холодноватого, почти равнодушного, почти вынужденного поцелуя в лоб. Свет в детской гас, а я всматривалась в белеющую в темноте дверь, за которой она исчезала. Каждый раз раньше, чем я успевала ей что-то сообщить, спросить. Видимо, она знала секрет, его вычислила, что любовь длится, если ею не перекармливать – лучше не додавать. Хотя существует грань, за которой зов, мольба вдруг унижением осознаются. Мама на грани такой виртуозно балансировала. Но вот со мной сорвалась.

В приближении тяжкого, вязкого переходного возраста, я вдруг призадумалась: а не обзавелась ли мама нами, детьми, чтобы от папы отгородиться? В московской квартире он, после отселения на дачу, ночевал считанные разы, и большая комната, называемая прежде кабинетом, с окнами на Третьяковскую галерею незаметно, плавно переименовалась в столовую, хотя тоже условно: местом нашей кормежки была тесная кухня, а ту, где остался без применения папин диван, следовало бы попросту, без затей, признать нежилой.

В годы разброда, сопутствующие юности, я там сидела на широком, из гранита в искорку подоконнике, глядя с седьмого этажа вниз, на асфальт с отблеском фонарей, изнемогая от желания за борт подоконника перекинуться, но так, чтобы все же

успеть оценить эффект от расквашенной в кровавую лужу телесной своей оболочки. Типичные бредни Тома Сойера, в надежде дозваться хоть как-то до неприступной тети Полли. Марк Твен сам, очевидно, пережил склонность подростковую к суициду, после высмеяв то, на что у него не хватило мужества.

Избалованность, да? Мне нечем оправдаться. Ведь считается, что право страдать надо заслужить. Так ли? Меня потряс, восхитил рассказ, переведенный с французского, про девочку, мою сверстницу, с маниакальным упорством ищущую смерти. Автор не удосужился даже намекнуть на причины ее бесприютного шатания по Парижу, прикидывая как сподручней – то ли броситься в Сену с моста, то ли под колеса автомобиля, то ли… Внезапно она очнулась, взглянула на небо, и тут из дома, рядом с которым она замерла, выпала из форточки хрустальная пепельница, полная окурков, размозжив девочке череп. Фамилия автора рассказа мне потом не встречалась никогда. Уж не придумала ли я этот сюжет сама? С меня станется, бормочу нечто нечленораздельное себе под нос, веду диалоги в отсутствии собеседников, а потом упрекаю близких в намеренной глухоте. А что, обязательно разве все вслух произносить? Основное-то, сущностное, как раз и замалчивается. Уяснила с детства. И пока все думали, что сплю, я на самом деле летала, кружилась над лесом, где в скопище темных елей прорезались стволы берез, источающих матовый свет, как дверь, за которой исчезала мама.

Не припомню ссор между родителями, чему мы, дети, хотя бы однажды оказались свидетелями. А, с другой стороны, откуда могли взяться, возникнуть поводы для разногласий в раздельном, мамой спланированном, существовании нашей семьи, где папа был устранен от участия в каких-либо проблемах, получая тщательно дозированную, разумеется, мамой же, информацию. Уж к страстям с Ириной, душераздирающим сценам в квартире в Лаврушинском переулке он вообще не имел доступа. Мама в отношениях со старшей дочерью держала оборону, исключив вмешательство в воспитание Ирины папы, верно, с момента ухода от первого мужа, Ирининого отца. Вопрос: а не тут ли причина ее решения запихнуть папу подальше, на подмосковную дачу, избавившись от невольного соглядатая ее схватки, кстати, безрезультатной, с саморазрушительным буйством Ирины? Маму, может быть, глодало чувство вины? Поэтому она и крылила, и одновременно впивалась когтями в осиротевшего по ее воле птенца-первенца, крупного, взъерошенного, отчаянно сопротивляющегося всем попыткам внести примирение, смирение перед жизнью, суровой, и больно хлеставшей тех, кто, пристрастившись к праздником, с бессильной яростью

возненавидел будни?

Для острастки, в качестве превентивной меры, мама хлестала Ирину сама, и старшая сестра от пощечин не увертывалась. На голову выше мамы, осталась однажды стоять навытяжку в коридоре, у книжных полок, пока мама, крикнув, – жди здесь! – не примчалась со скамейкой для ног, надобной в занятиях моих за роялем, пока я до педалей не доставала, и вот, привскочив, дотянулась до Ирининого лица. Хвать справа, хвать слева, голова Ирины с пышной гривой волос моталось туда-сюда, и опять мне померещилась лошадь, как с папой, шеей дергающим в жестком охвате крахмального воротничка сорочки. Папа, где ты? Спаси Ирину – нашу маму спаси. Бедная, бедная мама! И все. Почему-то я оказалась на полу, с полотенцем мокрым на лбу, и, увидев ее склоненное, вплотную приближенное лицо, благодарно-искательно улыбнулась, как при поцелуе, получаемом традиционно на сон грядущий.

Параллели, как и должно быть, не пересекались: моя безотчетно-звериная приметливость разбухала вне рассудка, не соприкасаясь с почитанием мамы, дружно, хором всеми нами демонстрируемым. В том числе и Ириной. Общий сговор не распадался. Ирина меняла мужей, любовники бессчетные, как от чумы, от нее сбегали. Мама – якорь, удерживала эту утлую лодку от гибели в океане страстей. Папу от погружения в отшельничество, с брезгливым разочарованием в тех, кого он считал союзниками, единомышленниками. Для Кати стала поводырем, обучая двигаться, пусть ощупью, но в стенку, тупик не упираясь. Со мной… Тут сложнее. Мне в грехах не приходилось каяться, обзаведясь броней прилежания, лупила по клавишам фортепьяно с рьяностью, достойной лучшего применения. Но ведь и в выборе мне специальности вперед смотрящим вызвалась быть мама. И не то чтобы я была обделена способностями к музыке, но не сфокусировались они, не сжались в пружину для выстрела безошибочного в сто очков по мишени. А если лишь рядом да около пули ложатся, стрелок казнит презрением самого себя, и по сравнению с такой самоуязвленностью – да тьфу на мнение посторонних.

Короче, мама, многостаночница, кидалась то к Ирине, стонущей от очередной несчастной любви, то к Кате, вялой, заторможенной, что мама сочла доказательствами необычности, возвышенности ее натуры, хоть заговорами, хоть ворожбой мечтая превратить чахлое растение в цветущее дерево. И я еще, сатанеющая в горячке воспаленного честолюбия. Мама, как скорая помощь, не успевала поспевать и туда, и сюда, и вышло, что старшая и младшая сестры вытеснили меня, среднюю, из

маминого расписания, обзора. Я оказалась предоставлена сама себе несколько преждевременно.

Ничего, собственно, в моих отношениях с мамой, как я считала, не изменилось. В отличие от нее, скрытной, без разбора делилась всем, что во мне накапливалось, ожидая выхода, выплеска. Ни в чем, ни внешне, ни внутренне, я на нее не походила. И, пожалуй, ни на кого. Из детства в юность вылетела как булыжник, запущенный из пращи. Безудержно, безоглядно смелая при отсутствии какого-либо опыта, житейской смекалки, представления об опасностях. Но, как ни странно, судьба меня щадила, по башке не била, или, может быть, взбудораженная новизной открывшегося мира, я не реагировала на причиненную мне боль, ударов не ощущала.. Как и раскаяния, другим больно делая. А делала на ходу, устремляясь дальше и не оглядываясь. Меня не догоняли. А я не хотела себе признаться, что бьюсь в тенетах одиночества.

Приезжая на дачу к родителям, жадно ела, отсыпалась и снова уносилась прочь, в гонке за чем-то, мне самой неведомым. Меня ни о чем не расспрашивали – незачем, я выливала, выбалтывала все без принуждения. Защитить, оградить меня от самой себя, видимо, было нельзя, и мама, с ей присущим чутьем, отстранилась.

Ее болезнь оказалась для всех нас неожиданностью. Тревожил папа, его высокое давление, стенокардия, его работа, дерущая нервы, бессоницей сопровождающаяся, курением вместе с нитроглицерином. Цветущая, и в затрапезе нарядная, душистая мама никаких опасений не внушала. Мы настолько уверовали в ее железный стержень, что упустили грозные признаки надвигающейся беды, катастрофы.

Она не обращалась к врачам. Мы спали, а ее рвало. Вспух живот, опухоль раздирала внутренности. Но, как всегда, посещала парикмахерскую, холеные руки в кольцах сверкали маникюром, чуть ли не накануне смерти заказала в ателье пальто, отороченное песцом. Его выдали готовым, когда ее уже не стало.

В одноместной палате кремлевской больницы по улице Грановского она лежала на высокой кровати с повязанной перекрученным бинтом челюстью, укрытая под подбородок, а я из всех сил молила, чтобы папа не увидел выпроставшуюся из-под казенного одеяла ее маленькую, с высоким подъемом ступню, где змейкой застыла бурая струйка крови.

Мы, дочери, стояли за стулом, на который он рухнул, как подкошенный, сгорбив спину в черном, измятом, прежде на нем не виданном пиджаке. Пиджак мелко, судорожно, беззвучно трясся, и немота его горя придавила нас глыбой. Мы отступили,

сжались перед его безутешностью, не смея проронить ни слезинки. У нас ведь были уже свои семьи, свои дети, для него все закончилось здесь, у этой высокой больничной постели.

Для похорон понадобился мамин паспорт, но мы не знали ни где она его хранила, ни как его можно отыскать. Уже святотатство – войти в ее комнату без стука. И старшая, и младшая сестры в панике убежали при скрипе дверцы ее платяного шкафа. Кто же? Не на папу ведь взвалить такое еще испытание. Значит, я.

Ну шкаф, ну тумбочка, ну подзеркальный столик, ну плотные шторы на окнах, ну обивка кушетки: где же? Огляделась и уперлась в комод, соблазняющий в детстве тайнами в нем содержимого, но теперь, показалось, мрачно меня осуждающего, стерегущего каждый мой шаг.

Ну нет уж, увольте, замок взламывать не буду! И вдруг, будто меня повелительно окликнули, заметила ключ, нарочито, внятно, призывно оставленный сверху комода. Тот самый, вошедший в замочную скважину примитивно, как гвоздь.

Вот что, значит, она там прятала, чем так дорожила. Флаконы духов – строй оловянных солдатиков, забава, утешающая необласканного, оставленного без родительского внимания ребенка. Такое ей выпало детство? Оттуда травмы она всю жизнь из себя выдавливала, как яд? За то боролась, чтобы ее дети выросли другими, в атмосфере ничем, никак с ее собственным прошлым не связанной. Такую поставила себе цель и ради ее достижения готова была на все?

Полки комода надежды, чаяния ее вместили, искренние, простодушные, бесхитростные до оторопи. Стопки конспектов студентки, исписанные с неуклюжей старательностью, подробно, слово в слово, сокращений, пропусков избегая, из-за недоверия что ли к своей памяти, сообразительности, способности мыслить самостоятельно: так, без иллюзий, она, с юности, оценивала себя?

Рядом книжка, тощая, в бумажном переплете, папиных довоенных рассказов, маме подписанная с ошибкой в отчестве, Юльевне, а не Юрьевне. Еще одна веха. Полкой ниже рисунки Ирины, самой из нас, сестер, одаренной и не добившейся ничего. Катя, младшая, лепила забавные фигурки из пластина, и их образчики мамин комод сберег. К пачкам писем, перевязанным аккуратно ленточками от конфетных наборов, у меня не хватило духа прикоснуться, но на самой объемной узнала свой залихватски-размашистый почерк.

Как, почему? Их изорвали в клочья, а после тщательно склеили. У меня потемнело в глазах. Я не помнила и не в состоянии была представить, чем и когда ее так обидела, такую вызвала ярость, чтобы она вот тут, в своей комнате, мечась

тигрицей, в живот раненой мною, ее детенышем, отперла сейф-комод, рыча, рвя, топча мои к ней писульки.

Меня сокрушила и собственная беспамятность, и то, что мама мне ничего не сказала. Не дала попросить у нее прощения, наказав навсегда.

Моей дочери столько же лет, сколько исполнилось мне, лишившейся матери. И так же как у меня с мамой, так и у дочери со мной, нет ни внешнего, ни внутреннего сходства. Одно совпадает – любовь, обжигающая беспощадно обеих. Но только для матери такие ожоги смертельны, а у дочери воспаляются потом.

КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ

Странно, что в гуще теперь публикуемых мемуаров об этой семье почти не упоминается. Между тем практически все авторы в их доме неоднократно бывали. В годы, которые они вспоминают, появления там просто нельзя было избежать. Так почему же, стесняются что ли? С чего бы?

Пропускная способность их дома конкурировала с ЦДРИ, ЦДЛ, ВТО вместе взятыми. Там не только ели, пили, но и получали своего рода "путевку в жизнь". И те, кто уже прославился, и кто еще только всплывал из безвестности, включались в коллекцию, что тщательно, много лет собирали хозяева.

Обстановка их московской квартиры и дачи была стильной – семья чуть ли не первой в своем окружении начала собирать антиквариат – но куда больше чем павловской мебелью с «пламенем» гордились гостями, можно сказать, по-отечески вникая в проблемы, заботы каждого и не гнушаясь мелочами.

Они были активны и в общественной сфере: в преклонном уже возрасте не пропускали премьер, вернисажей, юбилеев. Всегда быть на публике довольно-таки утомительно, но у семьи тут была потрясающая закалка. Светские люди, правда, всегда близки к смешному, тем более в СССР, где все пародию напоминало, а уж попытки изобразить другую жизнь – вдвойне.

В дневниках у Корнея Ивановича Чуковского драматург Александр Петрович Штейн упомянут четырежды, и каждый раз в связи с похоронами. У Чуковского, скрупулезно точного, фамилией Штейна открываются списки участников скорбного ритуала: можно представить, что так вот и обстояло. Штейн был тут именно в первых рядах. Хотя на похоронах Пастернака Чуковским отмечено его отсутствие: нюанс характерный.

Короче, если пытаться всех перечислить, кто у Штейнов бывал, бумаги не хватит. Проще назвать отсутствующих. Называю: мои родители. Хотя это долго казалось мне загадкой.

Ссоры не помню, да Штейны наверняка бы ее не допустили. Отцу, нрава не мягкого, пришлось, верно, особую изобретательность выказать, чтобы повод найти для обрыва общения с людьми столь радушными. Просто отбрить, съязвить – ему бы простилось. Хорошо помню отцовский прищур, подбородок затяжелевший в предвкушении сладостном «шуточки», от которой собеседники багровели. Но Штейны с их выучкой, пожалуй, улыбнулись бы. Их так, с наскока, было не взять. Следовало проявить упорство, но вот зачем оно папе

понадобилось, повторяю, долго не понимала.

Последний раз видела Кожевниковых вместе со Штейнами в году пятьдесят четвертом. Считаю так, потому что в штейновской даче в Переделкине уже отстроили второй этаж: там, у камина, гости и собрались. И был Алексей Каплер, после смерти вождя выпущенный из лагеря, которого я называла дядей Люсей, а тетей Люсей Людмилу Яковлевну Штейн. Мама моя не была беременна, значит, сестра Катя уже родилась, но, видимо, недавно: я еще чувствовала себя любимицей, что в скорости, с появлением младшенькой, прекратилось.

Сталин кончился, пришел Хрущев. И недоверчивые слились в братании. Недолгом. В сознательном возрасте подобное пришлось наблюдать в начале «перестройки». Надежды, надежды… В доме у нас появляется Галина Серебрякова, переговоры ведутся с Лебедевым, помощником Хрущева, по поводу ее лагерной прозы, которую папа собирается печатать в «Знамени». Мама настораживается: Серебрякова, в ее понимании, чересчур активна, а папа излишне внимателен. Обычно в застолье сам безумолку говорит: скуку глушит, как я потом догадалась.

В тот период драматург Штейн тоже приобщился к разоблачению культа личности, написав пьесу "Гостиница «Астория», поставленную его другом Николаем Охлопковым с большим успехом. В те годы от писателей не ждали самовыражения, но вот соответствовать веяниям и быть тут чуткими следовало непременно. Тоже непросто: не забежать вперед и не отстать; не прогневить власть и в то же время вызвать симпатию у либеральной публики, без чего успеха быть не могло. Никакое официальное одобрение, никакая хвалебная рецензия не могли даже отдаленно равняться по влиянию с тем, что возникало из шепота на тех самых, уже набивших оскомину кухнях.

Дом Штейнов и был средоточием слухов-шептаний, хотя крамола в них отсутствовала, а скорее ну просто выпускались пары. Хозяевам, как и гостям, было что терять. Но Штейны особенно тем притягивали, что никого ни за что не осуждали.

В этой кажущейся неразборчивости действовал механизм, безупречно отлаженный, проверенный и основанный на, скажем, гибкости, характерной для так называемых культурных слоев. Впрочем, понятно: иметь убеждения, открыто их выказывать, требовало либо геройства, либо упрямства, когда все сомнения в зародыше убивались в самом себе.

Режим всех принуждал к подчинению, но одни становились в известную позу с видом жертвы, а другие – мой отец, например, – так держались, будто им это нравится, они-де удовольствие

получают, корежа свою личность, свой талант.

Вот причина, как мне представляется, по которой Кожевников дистанцировался от Штейнов. Ведь иначе следовало бы разделить и униженность, подневольность, в той среде не только не утаиваемые, а декларируемые с вызовом, как единственно возможный протест.

А вот мою маму к Штейнам тянуло, томило непричастностью к празднику, происходящему так близко, по соседству, на той же улице Лермонтова. Ворота штейновской дачи постоянно оставались распахнутыми, автомобили на въезде теснились, и, когда мы шли мимо, мама грустнела, хотя и не решалась признаться, как ей хочется туда, в многолюдье. Но папа, редко в чем-либо ей отказывающий, тут был непреклонен.

Я же в ту пору привыкла чьему-то веселью не завидовать. Папина отстраненность от цеха собратьев и мне постепенно передалась. С писательскими детьми не дружила, кожей чувствуя, что и для них я чужая. И так на всю жизнь осталось, не столько из-за позиции отца, сколько из-за собственного характера, сходного, впрочем, во многом с отцовским.

Но и маму, конечно же, не гульба, пусть шикарная, на широкую ногу, привлекала, – это она и сама могла бы организовать – а оттенок избранности, ни с деньгами, ни с должностями, ни с официальными почестями не связанный. Наоборот даже, лучше было бы-не иметь, хотя Штейны с удивительной грациозностью тут балансировали: сами не рисковали, но привечали гонимых (и не гонимых тоже), умудряясь прослыть вольнодумцами, казалось бы, очевидному вопреки.

Александр Петрович пьесы писал исключительно правоверного содержания, зять его, Игорь Кваша, снимался в роли вождя мирового пролетариата Карла Маркса, но на их репутации в либеральном кругу это не отражалось. Сливки творческой интеллигенции, такие, скажем, как поэтическая небожительница Ахмадулина или пламенный трибун Ефремов, не морщились, не брезговали бывать завсегдатаями на посиделках у Штейнов. Такая эпоха: компромиссы являли основу существования. Их понимали, прощали. А вот цельность изображать, наверное, не следовало, как это пытался делать мой отец.

В пьесах Штейна, выражаясь мягко, относительной художественной ценности, актеры были заняты первоклассные: Плятт, Штраух, Папанов, Миронов, Ия Саввина, Свердлин. Так что ж, и у Софронова играть приходилось. Видимо, искусство лицедейства меньше подвержено коррозии в изначально лживых

установках, чем литература. Про драматурга Штейна можно сказать, что он был удачлив, дозволенная полуправда особого ущерба его текстам не приносила. Как, например, и Розову, сохраняющему до сих пор удивительный оптимизм. Но были и другие, чей природный дар эпоха растоптала. Имелся ли у них выбор? Принято думать, что да, но я не уверена. Может быть, для некоторых, помимо творчества, еще ценности существовали, ради которых, по выражению Маяковского, они наступали на горло собственной песни. Валить их в одну кучу с бесстыдными конъюнктурщиками, на мой взгляд, не стоит. Но и желания тут в спор вступать, тоже нет.

Зато интересно сопоставить, как представителей разных поколений, отцов и детей, писателя Юрия Германа и сына его, Алексея, одного из самых значительных теперешних режиссеров. Юрий Павлович с его "Верьте мне, люди", и Алексей Юрьевич с фильмом "Хрусталев, машину!". Разрыв колоссальный, не правда ли? В одном интервью Герман-сын говорит, что когда клали на полку его "Проверку на дорогах", директор картины плакал, умоляя режиссера отказаться от сделанного – и себя не губить, и других. Режиссер тоже плакал, но стоял насмерть. Добавляет, что если бы жив был его отец, то заставил бы картину порезать. "Потому что, – цитирую, – он был добрый человек. И не считал, что из-за пучка света надо такую беду навлекать на многих людей".

Так, может быть, спайка между отцом и сыном все-таки была и осталась? Сберeглась основа, на которой все дальнейшее и проросло? Да, жизнь, ростки ее уже в другом, новом времени. Рассуждаю, возможно, как обыватель, но в поколении наших родителей вижу не только их заблуждения, но и жертвенность, пусть и не всегда оправданную. Во всяком случае, их строго судить, повторяю, у меня лично желания нет.

В каждом времени есть свои странности. Для того, о котором идет речь, характерно сосуществование ярких индивидуальностей и серой, больше не годной к употреблению «жвачкой», что тогда называли творчеством. Если обращаться к текстам, той эпохой оставленным, то многие авторы их предстают чуть ли не недоумками. А между тем в жизни, свидетельствовать о которой скоро уж будет некому, они, эти же авторы, с редкостной щедростью обнаруживали свою личностную недюжинность, заковыристость, неоднозначность, что в песок ушли по закону, изначально жестокому: было – и нет.

Сменяются вкусы, нравы, взгляды, что в порядке вещей. Но людям творческим все-таки шанс дается закрепить свое мимолетное бытие. Импульс, если вникнуть, сумасшедший – из

задуманного реализуется ноль целых и сколько-то десятых процента – но именно он побудитель тех завихрений, что отличают артиста от бухгалтера. Беда, если артистов к бухгалтерской осмотрительности принуждают, а бухгалтеров к сочинению поэм. Именно так обстояло в державе, именуемой СССР.

Зато жили захватывающе интересно! Иностранцы, проникнув на московские кухни, слюной от зависти исходили: пир духа, поголовная даровитость, искрометность, блестящие реплики, тосты как философские эссе. На таком фоне их знаменитости унылыми, скучными казались: все молчком, все себе на уме.

А объяснение простое: те в своих книгах себя выражали, наши же – в устном творчестве, опровергая нередко самими же написанное. В застольях выкладывались, в общении. Штейны, умницы, нишу создали, куда устремлялись, изнывая от невостребованности.

И в прозе, и в сценических воплощениях конфликт допускался только хорошего с лучшим. Всем вменялась прекраснодушная интонация, и можно представить, сколько желчи в авторах скапливалось, особенно в тех, кто надрывался фальцетом, изображая херувима, будучи от природы чертом, призванным дразнить, язвить.

Хотя не для всех в маскараде участвовать было мукой, терзанием. Может быть, ошибаюсь, но, как мне видится, Александр Петрович Штейн жил в полном согласии с собой. Дружелюбный, к людям действительно расположенный, отнюдь не богемный, он мог при других обстоятельствах быть, скажем, врачом-терапевтом с хорошей практикой, а свой интерес к искусству, точнее к людям искусства, удовлетворять в хлебосольстве. И не надо было бы самому творить.

И вспоминали бы о нем с благодарностью, без той отчужденности, что потом обнаружил кое-кто даже из его домашнего окружения. Игорь Кваша, например, в интервью после смерти Ефремова рассказывал, как Олег Николаевич, уходя из «Современника» во МХАТ, приехал взволнованный к нему, Кваше, на дачу. Меня заело: не вашу, Игорь, дачу – Штейнов. Вы там жили на правах родственника. Нехорошо отступаться, даже если ситуация изменилась, и драматург Штейн теперь не в чести.

Соглашатель? А когда, от кого это скрывалось? Между тем, кто только не пользовался его гостеприимством! Многолетиями. А попробовали бы вот так, всей гоп-компанией, экспромтом, что называется, к Твардовскому, к примеру, нагрянуть: вот именно, не посмели бы, и в голову бы не пришло.

Не сомневаюсь, что и Ефремова первой на даче встретила

Людмила Яковлевна, наша всеобщая тетя Люся. Усадила, выспросила. И даже Ефремов вряд ли от чар ее устоял.

Страсть Люси Штейн быть в курсе всего возвышалась до бескорыстия, свойственного одержимости. Да, бывало, что распираемая объемом имеющейся информации, она делилась некоторыми фактами с несколько большей щедростью, чем лица, ей доверившиеся, предполагали. Но к сплетницам ее было бы несправедливо причислить. Натура ее не вмещалась в такое определение: коварство как побуждение к сплетне, в ней отсутствовало, а если огрехи и случались, ее не следовало бы за них винить.

Тут сказывалась специфика тогдашнего нашего существования. Все, несмотря на различия, были спаяны со всеми. И Люся Штейн лишь выразителем являлась общей надобности, общей зависимости друг от друга и всеобщей же невозможности податься куда-либо в сторону.

В обреченности на аморфность во многих жизненных сферах, энергия неуемная просыпалась при личных контактах, порой обращающихся в удавку. Никому ничего не удавалось скрыть. Осведомленность полная друг о друге приводила чаще к конфликту, чем к дружеским отношениям, но силилась выглядеть сплоченностью.

Штейны и способствовали, и сами поддавались иллюзиям, что эпоха, в которую довелось жить, может сойти за нормальную. Люди трезвые, они понимали, что если когда-либо перемены и возникнут, им до них не дожить.

А если бы дожили, их ждало большое разочарование: «коллекция», которую так тщательно собирали, обесценилась. Ее теперь можно воспринимать разве что как собрание казусов, курьезов: никем уже нечитаемые многостраничные романы, увядшая слава когда-то шумных премьер, дерзости– фиги в кармане. А вот что сохранилось, получило преемственность и в теперешних представителях творческих профессий, так это традиционная инфантильность в восприятии реальной действительности, преувеличение собственной значимости и историческая беспамятность, возможно, умышленная. Неприятно сознавать, что в который уж раз самые совестливые, просвещенные – цвет нации, как принято говорить о нашей интеллигенции, – оказались послушными статистами в шулерских играх, где на кон снова поставили народ и страну.

КАНАТНАЯ ПЛЯСУНЬЯ, ИЛИ НОВАЯ СКАЗКА ПРО БУРАТИНО

Удивительно, но теперь, когда электронная почта есть почти везде, и уже звонок по телефону воспринимается старомодностью, находятся люди, которые еще пишут письма, чернилами, от руки! У меня вот такая подруга, Лена, художница. Ее послания превосходят мои публикации и по объему, и, пожалуй, по занимательности. Она ведь живет в России, а самые невероятные, ну просто неправдоподобные вещи, как известно, случаются именно там.

Лена оказывается каждый раз в эпицентре событий. И борется, продолжает бороться за справедливость, что невероятно тем более. Скажем, чтобы выполнить волю своей любимой учительницы, известного искусствоведа – быть похороненной рядом с мужем на Новодевичьем кладбище – она даже до Церетели дошла, руку ему жала, но обещание свое сдержала. Хотя почему Церетели, скульптор, занимается еще и кладбищами, ей-богу, не понимаю.

Другой раз, тоже не ради себя, а из принципа, искала помощи у Никиты Сергеевича Михалкова и опять же пробила такую броню. Но когда я читаю ее отчет об очередном подвиге, возникает двойственное чувство: с одной стороны – ну да, молодец, а с другой… Кажется иной раз, что чрезмерно она усердствует, сама выискивая куда бы еще встрять, будто не может остановиться. Будто ей страшно остановиться – и задуматься.

Как-то вот сообщила о собрании вкладчиков лопнувшего банка СБС-АГРО, президент которого А. Смоленский, говорят, преспокойно отбыл в Австрию. Ну и, естественно, Лена оказалась в числе этих обманутых. Пишет: "Представь ледовую арену в Лужниках, полностью заполненную страдальцами – их около четырех тысяч. Некоторые погорели на 50 000 долларов и больше, а я все-таки на меньшую сумму…"

До того, в злоснопамятном августе 1998-го (тогда в одночасье в России сшибло средний класс, впрочем, бывший лишь в зачаточном состоянии), Лене, как она сама признает, уж действительно не повезло! Именно в это время почти состоялась сделка, при которой Лена, продав прежнюю квартиру и еще кое-что доложив, должна была подписать договор о покупке новой, в центре, с евроремонтом. Такая умная оказалась, что свои сбережения ни в какие банки не отнесла: как чувствовала, что их там заморозят. Хранила ну в самом надежном месте: под

матрасом. И все-таки, что называется, от судьбы не уйдешь: ее ограбили по наводке: взяли только деньги – все.

Но Лена не сдалась. Вычислив, кто это мог сделать и, как оказалось, вычислив правильно, настигла того человека, сменившего фамилию, в городе Сочи, где темные ночи, и засадила его на семь лет! Говорю же, у меня невероятная подруга, живущая в невероятной стране, где и при вмешательстве на самом высоком, правительственном уровне, преступления, убийства так и остаются нераскрытыми, а вот моя Ленка захотела обидчика наказать – и смогла, хотя денег вернуть не удалось Правда, чтобы только моральную сатисфакцию получить, пришлось убить три года. Теперь Лена живет с двоюродной сестрой в однокомнатной квартире, ближе к Нагатино, чем к центру.

Три годы жизни женщины, художницы. К слову, в недавнем прошлом Лена и премии, и звания получала, устраивались ее персональные выставки, как на родине, так и за рубежом. Да и после, когда в стране объявились вдруг очень богатые люди, ее работы, выполненные в традиционной реалистической манере с виртуозной тщательностью, нашли ценителей и пошли нарасхват. У меня здесь, в Колорадо, есть несколько ее картин, где все на месте, руки-ноги, глаза-носы, в натюрмортах травинка каждая осязаема. Я ими любуюсь, хотя предпочитаю большую раскованность и в манере, и в замысле. Но то, что Лена делает, полностью отвечает ее сути, цельной, сориентированной без колебаний на те ценности, которым она ни за что не изменит. Может быть, в этом как раз источник ее теперешних бед.

Заниматься живописью ей сейчас некогда. Она, повторяю, борется, и за себя, и "за того парня", не без оснований опасаясь входить в подъезд блочного дома, где после августа 1998-го поселилась у двоюродной сестры. Кстати, сестра, кандидатскую диссертацию защитившая по какому-то редкостному металлу, теперь торгует на вещевом рынке товаром китайского производства.

Письма от Лены я получаю примерно раз в два месяца, но уж страниц на десять. Они пропитаны высокими помыслами настолько, что я по мере чтения накаляюсь, свирепею, набираю московский номер и рычу в трубку: "На что ты гробишь время, силы! Поймешь, наконец, что там, где полное беззаконие, правды добиться нельзя?!" Пауза, обе мы глубоко дышим, а потом начинаем ворковать, как положено подружкам. Но напоследок рублю еще раз: хватит, все это бесполезно, бессмысленно, себя пожалей, свое здоровье."

И каждый раз после таких вот отповедей, я, хотя знаю, что

права, чувствую себя виноватой. Дело в том, что когда мы с Леной познакомились, а с той поры уж двадцать с лишним лет прошло, она такой не была. Сдержанная, с холодком, хрупкая, большеглазая блондинка, казалось, отлично знала, что ей нужно в жизни и ни на что другое не отвлекалась. Солидные дядечки с положением пугливо за ней ухаживали, а она, как скала, ни-ни. Но, видимо, восхищенные ее стойкостью, все равно помочь ей старались, кто чем, что упрочивало и ее материальное, и профессиональное положение.

Мы сблизились с ней по принципу притяжения противоположностей. Я в тот самый период, наоборот, встревала во все дырки, напарываясь и рискуя порой без надобности. Только закончив институт и поступив работать в газету "Советская культура", искала применения буйствующим силам и забрела как-то в ближайший к редакции районный суд. По чистой случайности попала на процесс, который только начался и закончился спустя месяцы. Судили четверых несовершеннолетних, вознамерившихся украсть у одноклассника вожделенные джинсы и обнаруживших в квартире его родителей чемоданы, набитые деньгами.

Это событие перевернуло мою жизнь. На процессе познакомилась с адвокатом Таисией Григорьевной Лемперт – телефон ее и сейчас могу отчеканить по памяти – защищавшей одного из мальчишек, и на долгие годы стала ее верным пажом. Она представляла меня стажеркой, когда я усаживалась с блокнотом в залах судебных заседаний. И "пепел Класса стучал" в мое сердце. На основе увиденного, услышанного я не только писала материалы в газету, но и письма в инстанции, жалобы, призывы, обращенные к сильным мира сего. Одного депутата Верховного Совета СССР просто завалила просьбами о вмешательстве в судьбы несчастных, обездоленных. Петиции подписывались, правда, другими именами, моя фамилия к ситуации не подходила, так как этим замученным депутатом являлся мой отец. А бывало, что жалобы поступали уже на меня, главному редактору, от судей и прокуроров, а так же "возмущенной общественности", требовавших призвать распоясавшегося корреспондента к порядку. Они не догадывались, что все задания я придумываю себе сама, и для моей газетной карьеры куда лучше сидеть на своем месте у начальства на глазах, а не шляться черт знает где и непонятно зачем. Но то, во что я ввязалась, пресечь было уже нельзя.

Мы с мужем работали в четыре руки. У него, служившего в Министерстве здравоохранения, было, впрочем, свое поле деятельности. Постоянно, чуть ли не ежедневно он готовил,

подписывал сам или же относил на подпись вышестоящим товарищам направления на бланках то на обследования, то на госпитализацию, то на получение дефицитных лекарств тем, кто в этом нуждался, но не числился «контингентом» в спец-поликлиниках. А таковых было большинство, среди наших друзей, друзей наших друзей, родственников чьих-то знакомых.

И Лениного брата Андрей, мой муж, тоже помог устроить в больницу. Между тем то, чем он занимался, при желании можно было ему инкриминировать как злоупотребление служебным положением. Но ни он, ни я об этом не задумывались. В «застойные» годы мы, советские граждане, нуждались друг в друге, старались друг другу помочь и охотно предавались иллюзиям.

Зато теперь я даю Лене трезвые советы. Прозрела, помудрела, наконец. Ценный опыт был получен в начале перестройки, когда стали возникать первые кооперативы, в том числе и строительные.

Наша семья в то время, можно сказать, жила на чемоданах: муж работал за границей в международной организации, а я моталась туда-сюда, как многие женщины, у которых дома оставались взрослые дети или престарелые родители, или еще какие-то проблемы требовали их присутствия в родной стране. Мой отец умер в 1984 году, еще раньше я потеряла маму, и в тогдашние свои приезды в Москву занималась заказом и установкой памятника на могиле. А еще меня очень расстраивал родительский дом в Переделкино, давно уже требовавший ремонта, а после папиной смерти совсем обветшавший. В наше отсутствие, при выключенном отоплении в той половине, что я унаследовала, от сырости вздулись полы, провис потолок, и эта картина упадка терзала физической болью.

Но если бы не вскружившая головы эйфория, не энтузиазм всеобщий в отношении к Горбачеву, тот смелый план не возник бы в моей голове. Короче, я перевела деньги на счет своей близкой подруги, с которой училась в институте, и поручила ей подыскать кооператив для капитального ремонта переделкинского дома. А что, а почему нет? Ведь, наконец-то в предприимчивых людях высвободили инициативу, теперь они горы свернут на благо себе и другим! К тому же, хотя подруга моя – поэтесса, зато мама ее прорабом на стройках работала. Вот на ее-то знание суровой действительности я в основном и рассчитывала. И она, Елена Филипповна, обещала, когда стройка начнется, время от времени бдеть.

Но бдеть не пришлось. Хотя кооператив, как казалось, вполне подходящий, подруга быстро нашла: их сразу много

расплодилось. Ну и – поэтесса! – вручила деньги наличными, всю сумму, взамен получив картонный квадратик с подписями, печатями зарегистрированного, как положено, честь по чести, опять же казалось, кооператива.

Все. На этом следовало бы поставить точку, проститься с деньгами, плюнуть и забыть. Но это я сейчас понимаю, когда уже всем известно, что не только кооперативы, но и банки и совместные предприятия аж с иностранными партнерами для того только и создавались, чтобы скорехонько распуститься, «обанкротиться» и раствориться в "степях Забайкалья" с выручкой. Теперь это нисколько не происшествие, общество будоражащее, а будни, – модель, точно найденная и работающая без осечек в стране дураков.

Я сама убедительно доказала свою принадлежность к этой именно категории. И не только потому, что развесила уши, так ведь еще и ринулась отстаивать свои права! Смешно вспоминать – и грустно.

Явилась в Москву, пылая негодованием, возмездия алкая. Правда, нюанс: до того я грудью вставала на защиту других, а вот самой оказаться в положении обиженной, обманутой – это было уже нечто другое. И вот странность: отлично, в деталях, помню судебные процессы, на которых когда-то присутствовала, а свое дело пытаюсь сейчас восстановить последовательно, будто что-то изнутри сопротивляется воскрешению тех событий и той, прежней, меня.

Кричала в телефонную трубку мужу: "Как это все бросить?! Не понимаешь что ли, такая сумма – стоимость «Волги»! Если бы «Волгу» угнали, и в милицию не заявлять?" Помимо потери денег, жгло чувство уязвленности, возникающее даже если из кармана рубль вытащили. Мои эмоции, хотя и возвышенностью не отличались, в общем могли считаться нормальными, если бы не, так сказать, малость: неадекватное отношение к обстоятельствам, в которых я оказалась, и к стране, где родилась, жила, но которую, как выяснилось, плохо знала.

Впрочем, с журналисткой хваткой, природной напористостью я тоже подвиги свершила, не уступающие Лениным. Скажем, пробилась на прием к главному судье Московской области в особняк на Тверском бульваре и, к полному ошеломлению секретарши, просидела у него часа полтора. А собрать конференцию в Моссовете по интересующему меня вопросу, придав ему всесоюзный масштаб? А выдать «подвал» в газете на ту же тему, назвав и других потерпевших, имена и адреса которых успела нарыть? А убедить лучшего цивилиста столицы адвоката Марину Ильинишну Финкельс взяться за мое дело, ездить с ней

вместе на судебные заседания в город Видное? Вот так-то, было чем гордиться, да только все это ни к чему не привело. Пшик, пустое!

В Женеву вернулась поникшая, побитая. Там что-то цвело, чем-то пахло, люди улыбались чему-то, а я… С детства раздражал этот олух Буратино, а сама вляпалась по той же схеме! Еще было жалко денег, но уже и другое выкристаллизовывалось: кроме адвоката Марины Ильинишны Финкельс, все, кто якобы мне сочувствовал, – чиновники из Моссовета, судьи, следователи, – предстали как соучастники общей аферы, связанные круговой порукой. Насколько я оказалась близка к истине, после подтвердилось (хотя мой случай пустяшный). Кто же мог предугадать, как потом обдурят народ с ваучерами, приватизацией и прочим, тогда, когда «процесс» только "пошел"?

Порой уже здесь, в Америке, размышляю: что бы было, живи я в России. Муж категоричен: отвинтили бы башку. В ответ ему: а может быть, я сама «крутой» бы стала? Он: отвинтили бы тем более. На чем беседа пресекается.

Но я не перестаю вспоминать Лену. Такое ощущение, что я ее там, в России, оставила вместо себя. И она, ни навыков, ни склонности к тому не имея, борется, лезет на баррикады, как когда-то я, с шашкой наголо, но рискуя куда больше, чем я в свое время.

А в том, что к ней теперь беды липнут, тоже я виновата? Или все-таки спросится с тех, кто, пользуясь правами, привилегиями, данными властью, об обязанностях своих не вспоминает? Спросится с них, вынудивших сограждан в мирное время существовать как на прифронтовой полосе, в постоянной тревоге и тяжелом сознании, что предали свои.

И в заключение: когда-то, живя в одном городе, мы с Леной часто ходили по выставкам. В Музее личных коллекций на Волхонке обеим полюбилась работа художника Соломаткина "По канату", зелено-голубоватое полотно, где в воздушной юбочке, с шестом в руках балансирует над головами зевак циркачка, плясунья, чье лицо выражает нездешнюю, в полном отрыве от реальности сосредоточенность. Так вот, вместе с последним письмом я получила от Лены открытку, репродуцирующую эту картину. И вдруг подумала: Ленка, а ведь канатная плясунья – это ты.

СТЕКЛЯННАЯ ГЛОТКА

Достоверно запомнилась только его фамилия – Степанов. После четвертого класса в расписании уроков нашей школы при консерватории возникла новая дисциплина: хор. До того Марьпална сольфеджио нас обучала, под ее руководством мы и пели, в основном Кабалевского – общепризнанного авторитета и пламенного энтузиаста массового привития музыкальных основ поколению юных – надежде страны. Посему патриотические "то березки, то рябины, куст ракиты над рекой" Дмитрия Борисовича пионерским щебетом разносились повсюду.

И вдруг, в начале нового учебного года, нас, привыкших особо не напрягаться на занятиях с импульсивной, заполошной Марьпалной, собрали в спортивном зале на первом этаже: мы тогда и понятия не имели, кто на смену Марьпалне явился. Не заметили, когда он вошел, и вздрогнули, обмерли от грозного окрика: прошу внимания!

Надо сказать, что атмосфера в нашей школе отличалась от прочих учебных заведений либеральными, демократическими установками, вольностью и в поведении, и в умонастроении учащихся, насколько это допускалось эпохой. Педагоги, даже требовательные, жесткие, как, например, Эра Гансовна, учительница русского языка и литературы, в удовольствии проштрафившихся едко высмеять себе не отказывающая, достоинство наше все же щадила. Вообще никто на нас не орал, не одергивал авторитарно, грубо.

Нас не требовалось, не следовало муштровать: ленивые, нерадивые, безответственные, если по случайности в школу и попадали, то быстро отсеивались, отчислялись. Сортировка проводилась ежегодно. Критерий главный – успехи по специальности, (такая графа имелась в дневниках), то есть в профессии музыкантов-исполнителей, пианистов, скрипачей, виолончелистов, к чему нас усердно, тщательно готовили. Другие предметы мы проходили по обязательной для всех программе, но не припомню, чтобы даже провальное отставание, скажем, по математике, физике, химии, как в моем случае, действительно грозило бы серьезными осложнениями, типа переэкзаменовки или второгодничества. Неизбежная, казалось бы, итоговая «двойка» каким-то образом дотягивалась до вожделенной тройки с минусом, не только к моему облегчению, но и учителей, полагаю, тоже. Зато «четверка» по специальности считалась катастрофой – знаком второсортности, предстоящей вот-вот «браковки», выбывания из рядов более перспективных,

выдерживающих конкуренцию сверстников

При неустанном друг с другом соперничестве, амбиции в нас подстегивать нужды не возникало. Школа в Собиновском переулке воспитывала не просто прилежных, а истово, фанатически работоспособных, вне зависимости от степени дарования. Дар мог развиться, а мог и зачахнуть – гарантий тут не существовало ни для кого, а вот труд, беспощадный, безоглядный, вменялся каждому.

Малолетние каторжники, прикованные к своим инструментам, как к галерам, мы скорее сострадания, чем порицания заслуживали, что взрослые, родители, учителя, наверное, сознавали.

Но вот появился этот злобный, лысый, изжелто-бледный, костяной старик, и с первого же урока он нас, а мы его люто возненавидели.

Ассистентка, как после выяснилось, его жена, раздала нам ноты – по ее робким движениям, боязливому взгляду угадывалось, что она тоже боится своего мужа-старика – и автор сочинения, которое мы должны пропеть с листа, был отнюдь не Кабалевский, а Моцарт. Что старик от нас, одиннадцатилетних, ждал? Сладкоголосого, херувимского, небесного слияния? Сразу, по взмаху его дирижерской палочки? После проблеянных нами со всей возможной старательностью нескольких тактов, дирижерская палочка шмякнулась об пол, и до тех, кто стоял в первом ряду, долетели брызги слюны впавшего в ярость педагога.

Своим бешенством, вырывающимся из белесых, безресничных вурдалачьих глаз, он запугал нас до мурашек, до склеивающихся в липком поту ладошек, и мы молились лишь об одном: пусть орет, на всех скопом орет, но не выискивает жертву, вынужденную в тишине, при общем молчании, пропеть что-либо.

Хотя с его дьявольским слухом позорить кого-нибудь одного не имело смысла. Он обнимал, вбирал многоголосие, расписанное по партиям, целостно, сжимая хваткой питона всех нас одновременно. И просчитался. По отдельности перед его тиранством мы бы не выстояли, но вот вместе, сплотившись, выказали дружное сопротивление, неприятие всех его требований. Уроки хора под его руководством для нас превратились в демонстрации протеста, когда доведенная до края толпа и на пулеметы способна переть. Не важно, что мы отторгали, пусть даже Моцарта, в союзе с таким мерзким старцем и Моцарт превращался во врага.

Правда, сообразив какой он отменный слухач, откровенно фальшивить все-таки не осмеливались. Я, например, раскрывала рот, не произнося ни звука, рассчитывая, что моя немая

артикуляция вполне правдоподобна.

И вздрогнула от внезапного, на визге: "Вы почему не участвуете, вы сознательно не участвуете?! Да-да, вы, идите-ка сюда!" На ватных ногах меня вынесло в пустое пространство.

Наши фамилии, лица он запомнить не утруждался, но обращался ко всем как бы вежливо на «вы», что в его устах воспринималось холодной пренебрежительностью.

Я готова была провалиться сквозь пол, услышав издевательски-злобное: "Давно ведь уже наблюдаю за вами, вы что, не можете или не хотите петь?"

Выдавила: не могу… Он, продолжая сверлить меня взглядом, восставшего из могилы мертвяка, проронил: "Да, бывает, совсем, значит, голоса нет. Но это надо еще проверить, сейчас и проверим".

Звонок, одноклассники разбежались на перемену, все вольные, одна я в плену. Он достал камертон: "Слышите? Повторите. Ну, так, а теперь, а если чуть выше, а еще?"

Приговор: "Пусть ваша мама ко мне зайдет, либо сюда, либо в консерваторию. А с вами беседа закончена, до свидания".

Какой же он злыдень, Степанов. Предмет его – хор – ничего не значил, на будущее наше, исполнителей-виртуозов, не влиял никак, но обидно было, что маму придется огорчать: слушать отповеди педагогов родителям всегда неприятно.

Но оказалось, что маму Степанов вызвал для другого, сообщив новость, взволновавшую нашу семью: у Нади сопрано, возможно даже колоратурное, что подтвердить должен врач, специалист по связкам, размещающимся где-то там, в моем горле. И вот с запиской от того же Степанова, мама привела меня в тесный, в консерватории находящийся, кабинет.

Я раньше не предполагала, что помимо уха-горла-носа, еще что-то можно обследовать, заглядывать в самое мое нутро, где непонятно как натянуты две крохотные, тонюсенькие ниточки, те самые связки, от расположения которых зависит все, будущее, судьба.

И началось: мама, не медля, определила меня к учительнице, занимающейся с восходящей тогда оперной звездой Тамарой Синявской, взявшейся и за мной наблюдать, с надлежащими предосторожностями, чтобы ничего не нарушить, не повредить, вокализы со мной проходить, дыхание ставить, но ни в коем случае не спешить, потому что лучше позднее петь начинать, чем раньше. Один неверный шаг, и голос – чудо природы – исчезнет из моей глотки.

В нашем доме захлопывались форточки, чтобы, не дай бог, меня не продуло. Гоголь-моголь глотала, шею послушно

укутывала. Но вместе с голосом во мне обнаружился, поселился дикий страх, что однажды, не знаю когда, не знаю почему, глотка моя издаст хрип, сип – дар, незаслуженно, случайно обретенный, так же случайно отнимут.

Любительница всласть наораться, я присмирела, замкнулась, постоянно, ежеминутно опасаясь всего: сквозняков, компота холодного, горячего супа, любого подвоха, даже со стороны близких, по неосторожности, беспечности посягнувших на мое хрупкое, стеклянное, хрустальное сокровище.

Прежде веселая, озорная, я стала мрачной, нелюдимой, подозрительной, и не помню сколько так длилось, пока меня не застали, когда я запихивала в рот снег с подоконника, жадно, горстями. Объяснять никому ничего не потребовалось. Ужас зависимости от того, над чем я не властна, поверг меня в омут порабощения, характером, натурой отвергаемого. Выход один – самой положить всему конец, и страхам, и иллюзиям, вырвавшись из ловушки, куда меня загнали или я загнала себя. Не хочу петь! Не могу! Степанов, слышите, я сказала вам правду.

…Все это было настолько давно, настолько далеко, что уже и не верится, неужели я действительно когда-то пела? Не пригрезилось ли? А Степанов в самом деле существовал? Или память меня подвела, и хором в нашей школе руководил человек с другой, тоже простой фамилией?

Нет, не ошиблась. В музыкальном энциклопедическом словаре, прибывшем в багаже сюда, в Америку, Степановых, хоровых дирижеров, педагогов, оказалось целых два, почти сверстников, достигших в профессиональной карьере примерно тех же высот, званий, степеней, но про одного сказано, что, помимо всего прочего, он преподавал в Центральной музыкальной школе-десятилетке при Московской консерватории. НашЗвали его Александр Сергеевич. Умер в возрасте шестидесяти четырех лет – старик?

Но мы именно как старика его воспринимали, он выглядел как древняя развалина, как призрак, явившийся из прошлого. И действительно так было.

Николай Семенович Голованов – один из крупнейших в мире оперных дирижеров, опередивший в рождении нашего Степанова всего на восемь лет, в 1900 годы был принят в Московское Синодальное училище, которое охарактеризовал так: "Синодальное училище дало мне все: моральные принципы. Жизненные устои, железную дисциплину, умение работать систематически, привило мне священную любовь к труду". Допускаю, что и наш Степанов там же, в Синодальном училище, воспитывался и, соответственно, как и Голованов, был глубоко,

укорененно религиозен. Известно, что Голованов не выходил на сцену в дни, отмечаемые верующими как церковные праздники. И это в разгар массированной, повсеместной, узаконенной в советском государстве антирелигиозной пропаганды. «Всенощную» Рахманинова изъяли из репертуара, о Бортнянском, Веделе, Титове, Чеснокове, Березовском, композиторах-гигантах, столпах русской музыкальной культуры, запретили вспоминать. Минин, младший коллега нашего Степанова, друг, соратник Юрлова, и в девяностых, когда я с ним познакомилась, помнил гнев профессора Свешникова, многолетнего ректора Московской консерватории, когда тот узнал, что он, его ученик, дипломник взял в библиотеке партитуру «Всенощной» Рахманинова.

А в начале семидесятых я, забывшая уже и о вокальной, и о рояльной карьере, присутствовала в церкви на Бакунинской, где еще шел ремонт, на репетициях Александра Александровича Юрлова, возглавившего хоровую капеллу, одним из руководителей которой с 1942 по 1949-ый был, как недавно узнала, и наш Степанов. Получила от Юрлова совет в Ленинград съездить, к Максиму Викторовичу Бражникову, ученику А. В. Преображенского, светила в музыкальной палеографии, чью кафедру в Петербургской консерватории после революции упразднили. Бражников-то и расшифровал, то бишь вернул в современность принятое в Древней Руси крюковое многоголосие, доказав, что на линейную нотопись крюки буквально переводить нельзя, нужна система «поправок» и в транспортировке голосов, и в их ритмической координации.

Бражникова я обнаружила в коммуналке на Васильевской стрелке, в инвалидном кресле. Он давно уже обезножил и средства к жизни добывал в артели, занятой изготовлением пуговиц, одну из которых подарил мне.

В тот приезд в Ленинград меня ни на Эрмитаж, ни на Русский музей не хватило. Я приклеилась к инвалидному креслу, внимая свидетельствам, как выбрасывались из хранилищ бесценные манускрипты, как свалили их в кучи мусора, как их расклевывало воронье, носил по пустырям ветер.

Бражников рассказывал, а во мне все ныло стыдом и гневом. Вот чего нас всех лишили, ограбили. Лишь в середине шестидесятых, впервые после длительного перерыва, в Большом зале в исполнении Академической капеллы под управлением Юрлова прозвучали произведения русских композиторов XVII—XVIII веков. Во всю мощь грянуло крамольное "Господи!" – и, зал, помню, встал.

Степанов слышал, не слышал? Успел или не успел дожить? Напоследок хотя бы вернулось к нему отнятое, оболганное,

изуродованное варварской большевистской властью? То, с чем Степанов, такие как Степанов, явились в еще нормальный, еще человеческий мир, но их накрыло, настигло другим, где все нормальное, все человеческое оказалось попранным, растерзанным.

Степанов Александр Сергеевич, только теперь я вас поняла, угадала, что скрывалось под оболочкой гневливого, нетерпимого старца. Боль, вера, преданность, несмотря ни на что. Александр Сергеевич, откликнитесь, где вы, ау…

КИММЕРИЯ

Мне позвонила московская, еще со студенческих лет подруга, поэтесса Лариса Тараканова, взволнованная трехдневным посещением Коктебеля (больше, по ее словам, не выдержала). Что же ее там поразило, где мы с ней столько раз отдыхали вместе, привозили детей? Услышала: "Узнать ничего нельзя, повсюду киоски, лотки, шашлыки, гвалт, гульбище, а у Дома Волошина понаставили мраморные скамейки, фонтаны, ты не представляешь, ну кошмар, безвкусица, вульгарность, надругательство над прежним, нашим Коктебелем".

Я действительно не представляла. В Коктебель меня впервые привезли четырехлетней, и тогда, в начале пятидесятых, это был райский уголок, практически необжитый, малолюдный, ничего общего не имеющий ни с сочи-ялтами, запруженных толпами, ни с престижными санаториями для начальства.

В тогдашнем Коктебеле не было принято, выражаясь по-нынешнему, выпендриваться, кичиться, чваниться чем-либо. Никто не наряжался – каблуки, драгоценности вечерами не надевали. И кинозвезды, Тамара Макарова, например, помню, появлялась в одной и той же ситцевой в горох юбке, той самой, что на фото, у меня сохранившемся: Тамара Владимировна держит меня, малолетку, за руку, а рядом ее муж, знаменитый режиссер Сергей Герасимов.

Уж они-то имели возможность комфортабельно, в роскоши отдыхать, относясь к контингенту, обслуживаемому так называемым Четвертым управлением, услугами которого нынче пользуются депутаты Думы. Между тем предпочитали волошинский Коктебель, без всяких удобств, с единственной на всех уборной, и банькой, как говорилось, на деревне. И ученых с мировыми именами, академиков Семенова, Халатникова, Гольданского тоже тянуло сюда, а не к пальмам, к мрамору, крахмальным скатертям, в номера-люкс кремлевских резерваций для элиты. Торжественная пошлость неистребима, поэтому редкие, исчезающие под напором массовой неразборчивости, дурного вкуса образчики первозданности, такие как Коктебель, заслуживали и заслуживают особо бережного отношения. Удивительно, но и при советской власти, традиции, дух Коктебеля, несмотря ни что, сохранялись.

Сначала приезжающие селились лишь в Доме Волошина, на первом этаже (второй был оставлен в распоряжение его вдовы, Марьи Степановны, седой как лунь, коротко стриженой, сморщенной, но боевитой) или на даче Вересаева, с Домом

соседствующей, и тоже ставшей собственностью Литфонда. Потом на литфондовской же территории начали строить коттеджи, общего стиля не нарушающие, в один-два этажа, скромные, без излишеств. И в шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые годы срабатывало все же чутье, не дозволяющее посягать на подлинный, утвержденный Волошиным-первооткрывателем коктебельский облик. А главное, на атмосферу, вольную, естественную, чуждую какой-либо показухи.

Иерархия в постах, чинах, должностях, отлаженная в советской империи виртуозно, в Коктебеле если не стиралась вовсе, то тормозилась, меркла. Писательские вожди, секретари СП, главные редактора журналов, претендовать могли ну разве что на второй, а не первый этаж в одинаковых, в принципе, коттеджах, на стол на веранде с видом на море, а не в душной столовой. Но Тася, официантка, синюю курицу с недоваренным рисом швыряла с подноса им, как и всем. Запах хлорки, из не единственного, как было, сортира, проникал в ноздри и властителям писательских судеб, и авторам отвергаемых, подозрительных рукописей, а уж море, дивное коктебельское море, являлось неоспоримым всеобщим благом, достоянием. Знатоки, правда, предпочитали купаться в бухтах: Сердоликовой, Мертвой, Лягушачьей – не важно, что до Мертвой топать приходилось часа полтора. Другие энтузиасты вскарабкивались на Карадаг, случалось, срывались, разбивались, но охочих к риску ничто не удерживало.

И еще коктебельская страсть: коллекционирование полудрагоценных камней, агатов, сердоликов, халцедонов, выносимых волнами на берег. Главной, впрочем, удачей считалось найти гальку с дыркой под названием куриный бог. В дырку продевалась нитка, и украшения такие болтались на шеях у всех практически коктебельских обитателей. Камешки же тщательно смазывались вазелином, что придавало им немеркнувший, парадный блеск.

Соблазнялись камешками поголовно, но в повальном таком увлечении выделялись фанатики, маньяки. Лишь солнце всходило, а вдоль кромки моря уже ползла глухая с молодости, а с возрастом к тому же и подслеповатая, могучая старуха Мариэтта Шагинян: у нее, говорили, фантастическая коллекция, почти как у ленинградского профессора Десницкого. А когда-то вот здесь же найденный Сергеем Эфроном сердолик решил судьбу Марины Цветаевой. Коктебель жил, дышал подобными былями, легендами. А центром всего являлся волошинский Дом, похожий, задуманный как корабль. Террасы на втором этаже так и назывались – палубами.

Волошин как поэт, уступал, конечно, и Цветаевой, и Мандельштаму, у него гостивших. Прославился, остался в истории отечественной литературы прежде всего как Хозяин вот этого причудливого Дома, построенного, кстати, на скудные, сэкономленные средства в основном его матери, Елены Оттобальдовны, тоже легендарной Пра. С неказистым фасадом, скромным, самодельным убранством комнат, Дом Волошина полностью гармонировал с природой, пейзажем степного, полынного Крыма – Киммерией, Волошиным же воспетой.

Мечтатель, выдумщик, он захотел и сумел воссоздать образ древней, исчезнувшей во тьме веков, аскетической, пастушьей, свирельной Греции, и Коктебель оказался идеальной декорацией для придумываемых Максимилианом Александровичем обрядов, мистерий, при участии гостей – культурной элиты тогдашнего, в начала двадцатого века, откристаллизовавшегося и ослепляющего дарованиями общества.

По сравнению с ними мы, рожденные, воспитанные при советской власти, гляделись уныло, убого, но все же силились, как могли, преемственность их традиций сберечь, продлить. На могилу Волошина вместо цветов приносили те самые полудрагоценные камешки – да, он для нескольких поколений, можно сказать, стал культовой фигурой, хотя его лучшие стихи, трагические, о России, ее беде, оставались под запретом.

Казалось, что если, как выразилась моя подруга Лариса, наш Коктебель и после всех передряг, войн, революций все-таки уцелел, то теперь уже навсегда. Но, как выяснилось, мы заблуждались: навсегда не бывает никогда. В России тем более.

С развалом "могучего, нерушимого", затрещал и Союз советских писателей, а вместе с ним обширное литфондовское хозяйство. По той же схеме, как по всей стране, шла приватизация государственной собственности, заводов, приисков, отраслей промышленности, распродавалось, расхищалось и писательское достояние, собранное, отстроенное, обихоженное на их членские взносы, вычеты (и немалые) из гонораров. И вот все было пущено на распыл, при активном участии самых хватких, шустрых членов Союза писателей, мгновенно сориентировавшихся, что ничейное можно и нужно прибрать к рукам. Имущественная дележка разрослась в грандиозную склоку, причем позиции, воззрения, демократически-либеральные или, напротив, консервативные, кондовые, на задний план отошли. Объединение в группировки получило иную основу, хищническую: кто смел, тот и съел.

Усердствовали и не писатели: завгары, завбазами, директора строительных контор, домов творчества. Как Лариса сообщила, в Коктебеле стык-в-стык с коттеджами писателей отгрохали

роскошный отель с бассейнами, саунами, бешено дорогими номерами: тамошний директор расщедрился кусище отломить от литфондовской территории: гуляйте, нувориши! А если виллы кто захочет возводить, опять же, пожалуйста, никаких ограничений, в любом месте, любую архитектуру, пусть даже с отсутствием намека на таковую. Коктебель нынче новорусский, соответствующий их понятиям, представлениям, вкусам. На мраморных скамейках у Дома Волошина вмонтированы таблички с именами благодетелей-толстосумов. На их средства собираются реставрировать и сам Дом. А зачем? По модели, отработанной московским мэром Лужковым, Дом проще, выгоднее снести и возвести заново хоромы, инкрустированные золотом, перламутром, как покои кремлевские, обновленные по плану, размаху Пал Палыча Бородина, которому, как известно, Ватикан узрился бедненьким.

Да, такова теперешняя Россия. Кому паштет из перепелок, а кому суп из концентратов с просроченной датой годности. Капитализм?

Но трудно представить, чтобы, скажем, нью-йоркский Central Park вдруг бы приватизировали, поделили на кусочки, понастроив там кто во что горазд. Или в женевском Mon R?pos стали бы виллы частные возводить, огораживать высоченными заборами. Дикость, да? А вот когда вырубили сердцевину в реликтовом переделкинском лесу, и обнаружилось, что с улицы Лермонтова, где я выросла, от отцовской дачи напрямик к лесу пройти нельзя, преграда выросла, непроницаемая стена, за которой могущественный Газпром возвел шикарные, с новорусским привкусом, коттеджи, никто из старожилов Переделкино не пикнул. Один, правда, нашелся, отчаянный, муж моей сестры, но когда его, отделанного профессионально, соседи приволокли, протесты писательской общественности умолкли, угасли. Советская власть приучила-таки население державы – не народ, народ там выкорчевали давно – не роптать, поперек батьки в пекло не лезть (истинно российская, соответствующая менталитету поговорка), сосредоточив каждого и всех на задаче, тоже весьма не простой, с учетом российской специфики: прожить, дожить отпущенный срок без бирки лагерной на ноге, на кладбище успокоившись, куда родственники смоли бы приходить, а не в яме, закатанной бульдозером.

Вот это наше, а не Коктебель. Не море, не горы, не лес. Наше – рабское, подневольное, кнутом внушенное осознание собственного ничтожества. В генах застрявшее, в самом деле, пожалуй, навсегда. А если не в генах, то в почве, пронизанной ядами смирения, послушания, преклонения перед властью. И

неважно, в чьих она руках. Безумца, идиота, вора, карьериста мелкого – не имеет значения. Главное вовремя, чтобы другие не опередили, в первых рядах пасть ниц, лизнуть туфель очередного самодержца, и опять же не важно, то ли это сапог, сапфирами, рубинами изукрашенный, то ли ботинок от Louis Vuitton.

Ханжами не будем. Ведь любой африканский, азиатский царек костюмы шьет либо в Лондоне, либо в Париже. В ответлении от Елисейских Полей, рядом с церковью Мадлен, есть потрясающие ателье-бутики, где фрак-смокинг безупречно приладят хоть на грузовик, хоть на пивную бочку. Ну да, капитализм. Клиент – божество, амулет, типа куриного бога в Коктебеле. А что дырка внутри, в сердце, в мозгах, тем большие такому оказываются почести. Давайте-давайте, разносите в клочья свою страну, ведь ваши денежки, на прихоти потраченные, у нас осядут. Мы-то копим, а вы тратите. Хотите колье, хотите поместья на Лазурном берегу. Да, пожалуйста, с превеликим удовольствием – нате. А мы откроем еще музеи, дадим стипендии неимущим, способным студентам, наученные вашим же, былым, опытом, чем расслоение в обществе на безмерно богатых и предельно нищих государству, стране грозит.

А Коктебель, ну что же, он остался, остается в памяти тех, кто знал его подлинным. Когда я во Франции, Италии, Испании, Караибах, Мексике встречаю чарующее его подобие, чистейшее море, бесконечный пляж, гряды гор, как Карадаг величественно неприступные, возвращаюсь в детство, в молодость, в страну и к людям, которых больше нет нигде.

НЕ НАША ЕДА – ЛИМОНЫ

Для моего сдержанного отношения к зрелищному искусству были причины: первая – я сама, предпочитающая, лежа на диване, предаваться беспорядочному чтению, вторая – замужество сестры Ирины. Ей было девятнадцать, мне шесть, когда на Лаврушинском у нас появился Олег Ефремов. Ненадолго, но это был как раз период становления театра "Современник".

Родители с младшей Катей жили на даче, а я в школу пошла и осталась в московской квартире. Актерская вольница возникала, когда я уже спала, утром же они отсыпались, а я отправлялась на уроки. О многолюдстве сборищ свидетельствовал опустошенный холодильник, а так же погром, учиняемый молодыми дарованиями в процессе репетиций.

Однажды проснулась от грохота, встала, прошлепала по коридору к, так называемой, столовой и замерла на пороге: окно настежь распахнуто и оттуда с седьмого этажа будущие знаменитости лихо, с веселым азартом выкидывали наши вещи. На моих глазах уплыл стул, потом что-то еще, но лишь когда черед настал моей детской гармошке, рванулась и вцепилась зубами в чью-то талантливую руку.

Видимо, собственнические инстинкты рано во мне проснулись, еле меня отодрали от укушаемого. Хочется думать, что был то не Евстигнеев, не Табаков, хотя именно он в одном из первых спектаклей «Современника» по пьесе Розова "В добрый час" крушил на сцене "мещанский уют", на который в то «оттепельное» время яростно напустились прогрессивно мыслящие представители советской интеллигенции.

Как бы и странно, почему в полуголодной, полураздетой стране, с большинством населения, ютящимся в коммуналках, когда холодильники роскошью считались, рыдали девушки, порвавши чулок, возникла потребность клеймить обывателей, развращенных будто бы благополучием. В таких реалиях счесть угрозой для нравственности соотечественников убогие мечтанья приобрести, скажем, тахту, было преувеличением, выражаясь мягко. Но в России всегда свои правила. Так что не удивительно, что как раз в период нехватки всего, от эмалированных, к примеру, чайников до сгущенки, в литературе, с театральных подмостков звучала гневная отповедь бездуховности.

Хотя, напротив, советское общество крен имело противоположный: непрактичность насаждалась в людях, можно сказать, насильственно, отсутствие деловой сметки возводилось в добродетель, метущиеся натуры служили образцом, а, так

сказать, приземленные порицались.

Возражений слышно не было. И «левые», и «правые» смыкались в представлениях, что презрение к материальному человека возвышают, а губят мелочи, житейский сор. То, что тут задеваются основы жизни, долго оставалось незамеченным. Первым усомнившимся стал Юрий Трифонов. Но почему-то от внимания ускользнул едва ли не главный мотив его произведений: принципиальность, убежденность еще не гарантируют человечности, как и бессеребреничество – благородства.

Олег Николаевич Ефремов вполне мог бы стать одним из героев трифоновских повестей, для кого убеждения, принципы – главное в жизни. Как личность он был задан, осуществлен именно в «оттепельную» пору, и, в отличие от других «шестидесятников», не изменился. В этом можно увидеть свидетельство цельности, но и ограниченности тоже, да простят меня почитатели его таланта.

Кстати о таланте. В Ефремове его признавали не только соратники, но и противники. В этом тоже типично российский взгляд: темперамент, бойцовские качества путать с даром, основной признак которого развитие, углубление, прорывы, современниками часто не замечаемые. Непонимание – расплата. Популярность – обратный знак, означающий привыкание. Публике нравится узнавать знакомое: мелодии, лица, почерк. Ефремов стал любимцем зрителей, встречающих практически в каждой им сыгранной роли родное, типичное. К тому же в то время вошла в моду будничность, подтверждающая, как считалось, правдивость. Внешность Ефремова полностью канонам таким отвечала. Свой. Неказистый? Тем лучше. Зато обаятельный, именно в простоте.

Модель такая утвердилась в советском искусстве надолго, не пуская на сцену, экран колоритность, яркость. Трагедия такого артиста, как Луспекаев, на совести тех, по чьим меркам он в молодые годы был чересчур хорош. Следовало стать инвалидом, чтобы заслужить успех в "Белом солнце пустыни".

Отечественный неореализм, в отличие, скажем, от итальянского, сосредоточился на скромном, отвечая демократическим вкусам. Уж кому что… Для одних народный характер Софи Лорен воплощала, для других фактурность, породистость считалась грехом, карьеру стопорящим, не только, кстати, актерскую.

Олег Ефремов при своей неприметности мог бы быть и профессиональным разведчиком: не отличишь в толпе. Но это и сделало его для советских людей эталоном.

Таксистам, работягам, хорошим парня, воплощенным им в

кино, на сцене, – веришь. Безыскусность в таких персонажах воспринимается как достижение мастера. Но стоит чуть рамки расширить, и брезжит бесцветность. Скажем, в «Беге» Алова и Наумова Олег Ефремов – полковник царской армии – меркнет, соседствуя с блистательным, всегда разным Евстигнеевым, жухнет. Не наша еда – лимоны, как говаривал дядя моего мужа композитор Юрий Шапорин… Крамольная мысль закрадывается: а по природе своей артист ли он?

Лидер, вождь, борец – это да! Другой бы и не смог пробить «Современник». Игорь Кваша в интервью "Независимой газете" поделился, что чиновники разбегались, прятались, когда в коридорах их ведомств Ефремов появлялся, бесстрашный, разящий. Кваша добавляет: нам в ту пору нечего было терять. Но, на мой взгляд, когда терять нечего – хорошего мало. Из российской истории известно, к чему такое привело. И матерок ефремовский, Квашой вспоминаемый с восхищением, возможно, не стоит считать героической чертой. Нормальные люди, когда им хамят, теряются не потому, что трусят.

Однажды на моей памяти Олег Николаевич, приглашенный к нам в Переделкино и выпив еще не сильно, вглядевшись в одного из гостей, спросил: "Скажите, меня занимает как режиссера вот вы, бездарность, сами-то это сознаете в себе?"

Тишина наступила гробовая. Жертву Ефремов нашел безошибочно. Директор Института мировой литературы имени Горького Иван Иванович Анисимов звезд с неба действительно не хватал. Но и сейчас помню, как побурело, взмокло его лицо. И мамин вопль: кто хочет чаю?!

Олег Николаевич, наверно, не знал, на исследование человеческих особей это не влияло, но бездарный Иван Иванович недавно сына потерял. И так уж получилось, что я оказалась свидетельницей его, Бориной, гибели.

Мама часто меня к Анисимовым подбрасывала, живущим в том же доме в соседнем подъезде. И тогда я у них заночевала, а утром Борю вынули из петли.

Не знаю причин, да никому до конца они не бывают известны. Боря вошел в пижаме, когда мы с Бекки, его мамой, на кухне ужинали. Ничего не сказал такого, что предвещало бы беду. Хотя я уже знала, что разговоры взрослых чаще уводят внимание от важного. Бекки сделала замечание сыну: что ты в пижаме разгуливаешь, у нас ведь гостья. На что Боря рассмеялся: "Надька – гостья?" И вышел.

У него были серые затуманенные глаза под припухлыми веками, унаследованные, как и широкий лоб, его сыном Игорем, моим сверстником, с которым я дружила. Спустя годы Игорь

позвонит мне из Ленинграда, сообщив, что билет на «Стрелу» не достал, придется лететь. Это будет тот рейс Париж-Ленинград-Москва, который перевозил прах композитора Глазунова и потерпел катастрофу. Бекки, похоронившая уже и мужа, и невестку, останется совершенно одна. Судьба, превышающая норму, мыслимую для жены "бездарности".

Ефремова всегда отличала твердость, решительность революционного закваса: нет, не сробеет. Рубанет с плеча. И без угрызений, без сожалений. Их с Ириной союз быстро распался, вскоре после рождения Насти, моей племянницы. Вообще не понятно, как могли они, антиподы во всем, сойтись, даже ненадолго. По случайности мне первой в руки попала записка Олега, придавленная на кухонном столе сахарницей. Как сейчас помню размашистый почерк и текст: "Я ушел от тебя за один хлоп…" Прихлопнутой оказалась и Настя, отцом не замеченная лет до шестнадцати. Только дедушка, Николай Иванович, о внучке заботился, приходил, гулял с ней. Очаровательный был человек, нежный, теплый – полная противоположность сыну. Но, пожалуй, его единственного Ефремов, по-своему любил.

Холодный – и пламенный: в деле, в работе. Образцовый «шестидесятник», восприемник традиций Белинского, Добролюбова. Театр, им созданный, продолжал некрасовский «Современник», к пушкинскому никакого отношения не имея. Быт, материальное не значили ничего. Квартира моих родителей для него была местом постоя, полностью обезличенным. Еще бы фамилию у владельца сменить, режущую либеральное ухо. Ел что попало, когда попало. Выпивал, как мастеровой, в охотку, вспрыснув сработанное. Без "черных дыр". Может, и пьяница, но не алкоголик. Душевное здоровье отменное.

Больше организатор, чем творец, что не должно прозвучать в обиду. Был ведь Дягилев – гений менеджмента. И при колоссальных своих амбициях не позволял себе ни актерских, ни литературных опытов. Видимо, чутье безошибочное, потрясающая интуиция ставили тут предел. А, может быть, самое главное, что Дягилев служил искусству, а «шестидесятник» Ефремов – идее. Здесь, верно, корень всего.

Спустя лет двадцать после исчезновения Ефремова с Лаврушинского, в "Новом мире" опубликовали мою повесть "Елена Прекрасная". Мы тогда жили в Женеве, и только в отпуск приехав, я узнала реакцию. Задетых оказалось много, чего я никак не предполагала. Уже в Шереметьевском аэропорту папа выказал мне осуждение, сказав, что Ефремов на мой, как он посчитал, навет пожаловался в идеологический отдел ЦК КПСС. Весьма неожиданно для вольнодумца, свободолюбца. Но папа к

сигналу отнесся очень серьезно. Не разговаривал всю дорогу, подарки отверг, хлопнув дверью. Я, заблудшая дочь, позвонила Радзинскому, в слезных смурыганьях, оправдываясь, что, мол, не собиралась вовсе никого обижать, не имела ввиду…

В ответ получила: имела, очень даже имела. И хорошо. Ругают – радуйся, значит, достала. Но я по инерции продолжала еще отбиваться, уверяя, что те, кто узнали себя, ошиблись, на самом ведь деле, в жизни, все было иначе, чем в повести – я придумывала, сочиняла… Радзинский расхохотался.

А ведь я не врала. В сущности все, что в "Елене Прекрасной" написано, было взято из воздуха, из атмосферы. Сестра Ирина, прототип героини повести – тут уж мне не отвертеться – со мной не делилась. Я была и моложе, и вообще, так сложилось, с ней не близка. Но она как раз, задетая авторским своеволием всех сильнее, не выказала враждебности. Смеясь, рассказала, что позвонил ее отец, Илья Мазурук, возмущенный тем эпизодом в повести, где их свидание описано после развода. Мазурук кипел: как ты могла сокровенное растрепатьИрина, по ее словам, так и не смогла его убедить, что в тех страницах все чистый вымысел: ты забыл, папа, ничего, даже близкого к тексту, не было никогда.

Но Мазурук по профессии летчик-полярник, а Ефремов – артист, режиссер. Удивителен его гнев, до меня дошедший через общих знакомых: она (то есть я) в то время ходила пешком под стол, что могла видеть, что понимать?! Он решил, что злоумышленник – автор, под кровать спрятавшись, подслушивал-подглядывал, уже в свои шесть-семь лет замыслив недоброе?

А после мы не встречались никогда. Так что, выходит, доверия к таким вот «свидетельствам» никакого. Сплетни. Не учел, видимо, что в творчестве человек особенно раскрывается, что были еще его роли в кино, в театре, больше, чем общая крыша, дающие возможность наблюдать. В тогдашнем своем сочинении я смелость не проявила, с клише работала, по которому в таланте Ефремова уж никак нельзя было усомниться. А что суховат, черствоват – как же о себе самом это было не знать? Но не знал, видимо…

У меня с детстве застряло: игра в щелбаны. Сути не помню, но лоб ныл, взбухал после ударов собранных щепотью, метко прицеленных, беспощадных пальцев. Так вот запомнилось – соприкосновение первое с отечественным либерализмом. Мой вопль: "Больно, Олег!" И благодушное: "Проиграла – терпи". Взгляд светлых, излучающих гуманность глаз, памятных зрителям, к примеру, по фильму "Три тополя на Плющихе".

…24 мая 2000 года Олег Ефремов умер от эмфиземы легких. На семьдесят третьем году. Последние с ним интервью я прочла

здесь, в США. Поразило: он совершенно не изменился. И в предсмертном слове так сам себя выразил, как никто бы не сумел, не посмел.

На вопрос журналистки, играют ли в его жизни серьезную роль родственные отношения, ответил: "Второстепенную, к сожалению". "Отчего сердце екало? – Ну когда выпьешь хорошо, да еще с дамой". Завершающая интервью фраза о том, что хочет взять в предстоящую поездку в Париж "одну книгу". "Какую? – Библию. Я не читал Ветхого Завета. Хочу прочесть".

Да, екает. Когда действительно "терять нечего", на самом пороге в никуда, честно, не лукавя, но так и не обнаружив упущенного – второстепенного. Искренне жаль его стало. И на Ветхий Завет в бурной кипучей деятельности времени, как оказалось, не хватило.

ТРАГЕДИЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ

Дневники Георгия Эфрона, сына Марины Цветаевой, изданные «Вагриусом», довольно долго пролежали у меня нераскрытыми, и не случайно. С момента знакомства с поэзией Цветаевой советских читателей в начале шестидесятых и до теперешнего ее превращения в культовую фигуру столько вместилось ошеломляющих открытий, что, казалось, возможны лишь уточнения, дополнения к ее творческому наследию, к биографии, но личность, но судьба уже явлены с редкостной, по сравнению с ее коллегами-современниками, полнотой.

Почитатели Цветаевой и ее внутрисемейные отношения назубок изучили, и клановую основу, сплетенную из разнопородных, разнокровных, разных верований родов Цветаевых-Иловайских-Мейнов-Эфронов-Дурново. Загадка оставалась одна. Ее сын, как домашние его звали, Мур – последний, кто видел Марину Ивановну живой. Но к нему возникала невольная неприязнь: как допустил и не спровоцировал ли самоубийство матери? Во всяком случае, не уберег. Да, ему было всего шестнадцать лет, но ведь не шесть. Как же свидетельствам его доверять? И почему его дневники всплыли только теперь? Уж не сфальсифицированы ли?

Вот что тормозило чтение этого двухтомника. Но вместе с тем лицо мальчика на обложке притягивало, тревожило бедой, особенной даже в этой поголовно трагической семье. Чутье подсказывало, что бездна его несчастий поглотит, затянет, ляжет бременем, не давая передышки. Так и случилось.

Поколению, к которому принадлежу, повезло: Цветаеву мы получили еще школьниками, и не в машинописных, полустертых копиях, а в престижной, синей обложке, большой серии "Библиотеки поэта". Тираж в сорок тысяч экземпляров разошелся мгновенно, сразу став раритетным. Я над книгой этой тряслась, не выпускала из рук, но даже исключительно в моем личном пользовании солидный коленкор до тряпичности истрепался, страницы измусолились, кое-где прорвались, будто я буквально зубами в них вгрызалась. А ведь помимо синего сборника собиралось все, что удавалось достать: проза цветаевская, эссе, письма, воспоминания – любое, где ее имя упоминалось. Примечания, сноски так въедливо изучались, что воспринимались уже как собственная метрика. Хотя вступительные статьи, комментарии к публикациям тогда уже вызывали сомнения, но их лживость, пошлость, искажения самой сути открылись во всей наглядности лишь годы спустя.

Мало того что причины катастрофы Цветаевой, пережитой в конце жизни, перевирали с абсолютно обратным знаком, но и натура ее, природная, изначальная, надругательству подвергалась глупых, нелепых домыслов.

"Цветаева была обездолена и страшно одинока. – написал в предисловии к синему сборнику Вл. Орлов. – Ощущение своего «сиротства» и "круглого одиночества" было для нее проклятием, источником неутихающей душевной боли". Неправда. Пока ее круг, ближний, домашний, культурный, интеллигентный, большевики не растерзали, одинокой она не была, обездоленной себя не чувствовала – напротив, рано осознав свое избранничество, принимала бережное внимание, восхищение, поклонения с некоторой даже избалованностью, капризностью. И слава Богу! Когда потом ее будут изничтожать, гноить, не печатать ни строчки, запас той, полученной в молодости любви, почитания, уважения станут источником дивившей многих ее жизнестойкости.

Ф. А. Степун вспоминает, как осенью 1921 года"…мы шли с Цветаевой вниз по Тверскому бульвару. На ней было легкое затрепанное платье, в котором она, вероятно, и спала. Мужественно шагая по песку босыми ногами, она просто и точно рассказывала об ужасе своей нищей, неустроенной жизни… Мне было страшно слушать ее, но ей не было страшно рассказывать: она верила, что в Москве царствует не только Ленин в Кремле, но и Пушкин у Страстного монастыря".

Помимо таланта, Цветаевой было даровано отменное, образцовое и душевное, и физическое здоровье. Ее сын написал: "М. И. была в полном здоровии к моменту самоубийства". Судя по предсмертным запискам, выбор свой сделала абсолютно осознанно. А "душевную боль", упомянутую Вл. Орловым, только вовсе тупоголовые счесть способны за ущербность. Без такой боли нет творца.

Цикл воспоминания о детстве Цветаева написала в эмиграции, сильно нуждаясь, о чем советские комментаторы соловьями распелись. Но по сравнению с тем, что ждало ее в СССР, французский период представляется чуть ли не блаженством – так именно вспоминал потом Францию ее сын. Собственно, Франция была для него родиной, куда его привезли младенцем, где он вырос, впитал тамошний дух, стал европейцем до мозга костей, и поэтому в СССР и был, и ощущал себя пришлым, иностранцем. Записал: "…боюсь никогда не быть русским человеком…" Диагноз, самим себе поставленный, предельно точный. Как и наблюдение: "У меня нет среды".

А вот у его матери среда была, замечательная, духовно

насыщенная, и росла она в семье, прочно укорененной в свою среду именно, с разнообразием интересов, несходством ярких, самобытных характеров, и, при сложности взаимоотношений, атмосфера дома, домов дышала благородством – вот что являлось богатством, которое, в отличие от наследуемой недвижимости, счетов в банке, отнять, экспроприировать большевики не смогли.

Такая среда и составила костяк эмиграции послереволюционной волны, и она была действительно массовой, хлынувшей, прибитой к Европе, разоренной, обескровленной Первой мировой войной, и при нехватке всего для собственных граждан, не готовой устроить поток чужестранцев. Никто о них не заботился, они выживали, сами друг друга выручая, у кого средства имелись, субсидировали нуждающихся. Той же Цветаевой С. Н. Андроникова-Гальперина ("Соломинка" Мандельштама) много лет отсылала деньги, «иждивение», как сама Цветаева в письмах к благодетельнице определяла, торопя ее при малейшей задержке, и не испытывая при этом, как из содержания писем явствует, ни малейшей неловкости.

Вообще переписка Цветаевой с самыми разными корреспондентами пестрит просьбами, выказываемыми довольно прямолинейно, с интонацией повелевающей, не допускающей возражений. Комплексами, что называется, не страдала и признательностью за помощь того или иного рода себя не обременяла. А вот при возвращении после семнадцатилетнего отсутствия в СССР ее будто подменили. Напор, ей обычно свойственный, исчез. Мур в дневниках сетует на безропотную доверчивость матери, поддающейся на, казалось бы, очевидные надувательства, обманы. До такой степени растерянной он до того никогда ее не видел. Хотя непрактичной, бесхозяйственной и прежде была, но не воспринимала это как свои недостатки, считая себя выше обыденной суеты. И имела право так думать, так жить, такой быть. От того, что умела от неприглядной действительности отрываться, воспарять, житейские невзгоды ее не сломали. Но когда ей дали ясно понять, что она никто, ничто, тут даже ее железный стержень не выдержал.

Муром подробно изложена эпопея поисков их с матерью жилья в Москве, комнаты, пусть крохотной, в коммуналке. Вроде уже договорились, оставляли аванс, вселение вот-вот обещалось, Мур прикидывал, что за район, в какой школе учиться ему предстоит, на каком транспорте в центр будет ездить, но очередная сделка лопалась в последний момент. Цепь случайностей походила на сговор. Цветаеву загоняли в угол с методичностью, в которой угадывалась специальная выучка, профессиональная рука. Все оборачивалось так, будто кто-то

хотел сказать: вот что бывает, когда уезжают. Но возможна и иная трактовка: вот что бывает, когда возвращаются.

Попытки Цветаевой найти покровителей среди коллег, пользующихся при советской власти авторитетом, почестями, привилегиями, тоже упирались в бетонную стену. Мур упрекает мать в утрате чувства собственного достоинства – главного, что он в ней уважал. Но о каком достоинстве может идти речь, когда нет крыши над головой, не на что жить. В письмах из Франции жаловалась, что литературными заработками концы с концами еле удается сводить, с двумя детьми, при слабом здоровьем, неработающем муже. Писала запойно, там, в эмиграции, лучшее создав и в поэзии, и в прозе. Собственно, возможность писать и являлась той роскошью, которой она, независимо ни от чего, упивалась. А по возвращении в отчизну переводы клянчила, не смея протестовать при задержках оплаты своей работы, как Мур свидетельствует, о публикации собственных сочинений не помышляя.

Если здраво судить, Мур к своей матери предъявлял обоснованные претензии. Ведь это она распорядилась его судьбой, четырнадцатилетним привезя в СССР. Она, хотя он предпочитал и в войну в Москве остаться, сорвала его в эвакуацию, не просчитав, что ее не допустят к льготам, предоставленным родственникам членов Союза советских писателей. Да тьфу, что она сама – поэт, и какой, какого масштаба. Коли не член, в списках не значится – пошла вон. Ну она и пошла, и вбила крюк в елабугской развалюхе, когда, написав заявление, что готова работать посудомойкой, получила отказ.

Господи Боже, куда ее занесло? После семнадцати лет эмиграции, на что она там надеялась? Это в Париж, Брюссель, Женеву возможно хоть с какими длительными перерывами наезжать и сесть за тот же самый столик, в том же самом кафе, обслуживаемым теми же официантами. А там, куда она обратно ринулась, перелицовывается заново все, привычное, знакомое сносится подчистую, точно бульдозером, судьбы людей перетасовываются, как карточная колода, и те, кто вчера еще был наверху, сегодня внизу, и никто никогда ни в чем не уверен. При всеобщем страхе, оцепенении, ожесточении, милосердие к слабым, павшим вытравлено. Вот куда Цветаева попала и привезла с собой сына.

В дневниках Мура, помимо откровенного, без утайки, описания мытарств их семьи, выжимаемой из безжалостной, воспитавшей в людях звериную, крысиную хватку державы, зафиксирована еще и реакция наблюдателя-иностранца на

специфику, так сказать, российскую вообще, большевиками угаданную, дополненную, но изобретенную, сотворенную не ими. Специфика эта чувствительным западным обонянием сразу распознается, сшибает в нос, но, как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не лезут, и приходится приноравливаться к не мыслимому, не представимому у себя дома.

Вот и Мур приноравливается, но у него пока еще очень свежий, любопытствующий, познающий взгляд на то, к чему изнутри внимание притупляется, эмоции стираются, искажаются критерии естественного и недопустимого в цивилизованных странах. Зримо как мальчика, выросшего отнюдь не в роскоши, не среди сливок общества, а в парижском, населенном простым, рабочим людом предместье, коробит, корежит от хамства, грубостей, лютой озлобленности, пронизывающих все и вся. Мечтая хоть где-то, в каком-либо углу, пусть временно – на будущее уже ничего не загадывая – притулиться, тревогой снедаемый за мать, впервые переступившую порог общей коммунальной кухни. Он – тоже впервые, но знает, предвидит, что их там ждет. Как в сварах с соседями, инженерами, как бы интеллигентами (советского, правда, разлива), растопчут, распнут остатки гордыни его матери, уважения еJ к самой себе.

При этом Мур изо всех сил пытается вжиться в то, что нутро его органически отторгает. Прежде всего диктат коллектива, любого, в его случае еще школьного, но сплоченного в неприятии чужака. Он отличается от общего серого, заурядного, беспородного фона не только внешне, но и внутренне. Неизбалованный, несамовлюбленный, а скептически, критически к себе самому настроенный (черта западная: ничем, и собой тоже, не обольщаться), не с осуждением даже, а с удивлением убеждается в приземленности, неразвитости, врожденной как бы вялости, пассивности сверстников.

Одиночество ребенка, подростка, не измышленное, как в таком возрасте случается, а проанализированное им же самим с трезвостью, тщательностью, редкостной и у взрослого, занозит сердце, у кого оно есть, так же остро, как метания его матери по тюрьмам, с передачами, денежными переводами мужу, дочери, наскребая средства от продажи имущества, эмигрантского скарба, свезенного из Франции в СССР.

И тут веяние чего-то потустороннего, в здоровый рассудок не укладывающегося: в Голицыно, куда после ареста в Болшево Ариадны и Сергея Эфронов, Марина Ивановна перебралась с сыном, писательская общественность завидует ее заграничным шмоткам. (Сведения почерпнуты не из дневников Мура, а из

сборника "Цветаева в жизни", с подзаголовком "Неизданные воспоминания современников".) Это как? Совсем уже перейден болевой барьер, если у женщины в такой беде бусы на шее алчно разглядывают, свитерок импортный, ремнем перетянутый в узкой талии. Так завидуйте талии, завидуйте легкой походке, мародеры! И ведь вправду же мародеры: с веранды дачи в Голицыно, воспользовавшись отлучкой матери и сына, мгновенно расхитили сковородки-кастрюли. Кто? Неизвестно. Или все скопом. Ну и народ! Понятно, почему такой вот народ-"богоносец" церкви свои же, православные, осквернял, топил в проруби священников, тела изнасилованных монахинь гвоздями прибивал к алтарю. Ничуть не «страшилки» – документы, для любопытствующих могу предоставить на них ссылки, все это опубликовано. Хотя, полагаю, и ссылки не убедят, не проймут, прозрения не принесут. В стране глухонемых совестливых практически не осталось. При выкорчевывании их слой за слоем, начиная с 1917 по сейчас, остались бездушные, которым на все наплевать. Пасюки, как определил в одном из своих романов мой друг Анатолий Курчаткин.

…Мотивы возвращения Цветаевой в СССР хорошо известны: добровольный отъезд старшей дочери Ариадны, бегство туда же мужа, Сергея Эфрона, изобличенного агента НКВД, причастного к убийству Рейса, что несмываемым пятном легло и на репутацию Марины Ивановны. Считается, она им-де вслед ринулась, в жертвенном порыве. Но арестовали дочь, мужа уже после ее прибытия, так что ехала она не ради спасения близких, а, верно, в расчете на какие-то все же гарантии, полагая, как поначалу и Мур, что Сергей Яковлевич не только грехи свои перед родиной отмолил, но и что-то, как герой, заслужил. Ведь старался-то как: и вербовкой вовсю, втянув дочь, занимался, и провокациями, не безвозмездно, разумеется, но с жаром, пылом. Как же не оценить?

Хотя все же странно: в 1939-ом процессы над неугодными советским властям уже шли вовсю, и Рейс, заманенный агентами НКВД (Эфроном конкретно), в ловушку под Лозанной, потому и решил остаться на Западе, что его ужаснули репрессии, захлестнувшие страну. Так с какой стати белогвардейца, эмигранта милостями бы осыпали, когда сажали своих, без всякой вины?

Или так сильно, так страстно Марина Ивановна своего Сережу любила, что в любых обстоятельствах хотела, готова была быть рядом с ним? Бродский, апологет творчества Цветаевой, придерживался такой версии: она, цельная, верная, преданная, кинулась, сломя голову, в полымя, повинуясь зову сердца. Доброхоты попроще, Цветаеву отмазывая, обеляя, вовсе

настаивают на ее незнании специфики занятий мужа. Ну уж нет, все что угодно, но дурой Марина Ивановна не была. Ясный, трезвый, до беспощадности ум, Мур унаследовал от нее. Хотя по сравнению с матерью, он объективней, сдержаннее и деликатней. Неистовая бескомпромиссность Марины Ивановны в нем разбавилась генами папаши-Эфрона, слабовольного, ведомого, которого поначалу сгребла в охапку Марина, а потом НКВД. Всех в их семье жалко, а вот «Сережу» – нет. Мур же взял лучшее и от Цветаевых, и от Эфронов. К его колыбели феи слетелись, но отпрянули, сдуло их от испепеляющего жара советского ада.

Если Цветаева «Сережу» когда-либо в самом деле любила, то в разлуке, пропавшего с ее горизонта вместе с отступающей белой, добровольческой "лебединой стаей". Но и тут, создав миф, им дорожила, а не недорослем, недоучившимся гимназистом, взятым ею, по прихоти, в мужья.

Шестнадцатилетний Мур в дневнике записал: "Семьи не было, был ничем не связанный коллектив. Распад семьи начался с разногласий между матерью и сестрой – сестра переехала жить одна, а потом распад усилился с отъездом сестры в СССР. Распад семьи был не только в антагонизме – очень остром – матери и сестры, но и в антагонизме матери и отца".

Вряд ли Цветаевой мнилось, что при возвращении в СССР ей удастся восстановить семью, где разногласия достигли стадии неприкрытой вражды. Судя по тщательности ее подготовки к отъезду – распределении своего архива по знакомым – иллюзий по поводу того, куда едет, не испытывала. Так, может быть, надвигающийся на Европу фашизм из Франции ее извлек? У нее сын-еврей, его надо было спасать? Но, скажем, у Набокова жена, Вера Слоним, еврейка, сын, как и Мур, полукровка, но он их повез за океан, в США, в сущности в никуда, на литературные заработки не рассчитывая, указав в анкетах, что профессия у него – тренер по теннису.

Тогда что же? Ладно рискнула бы собой – с ее авантюрным характером это допустимо, – но сыном, обожаемым до безумия? Отдала на заклание мальчика в гольфах с рисунком из ромбов, с одежкой на вырост в багаже? Единственного, кого выше себя ставила. Все прочие копошились у подножия ее пьедестала. И что? Мужчины, женщины, уступающие ей в мощности дара, попирали ближних, издевались над ними с изощренным садизмом, а Цветаева у корыта, у плиты, стояла, в перерывах «Крысолова» писала, "Поэму Горы", "Поэму Конца", "Поэму Лестницы". Нетленна она не как образец добродетелей, а безудержностью, лихостью фурии, оседлавшей Пегаса и, его пришпоривая, умчавшейся к звездам, в небеса.

После смерти молодого любовника, Н. Гронского, забрала у его родителей свои к нему письма с намерением их переписку издать. Больше литератор, чем женщина. Неудавшиеся романы ее с Мандельштамом, Пастернаком вполне объяснимы: в Марине Ивановне они распознали себя. И для них творчество замещало, вытесняло реальность. Тот же принцип: жить, чтобы написать. Пережитые страсти – подпитка воображения. Зачем рядом такой же кровосос? Монологи выслушивать с какой стати? Сами речивые. А Марина Ивановна, когда не писала, говорила безумолку. Ее письма – шквал словоизвержения. Возбуждала сама себя и нарушала границы такта, ничуть не стесняясь.

Сосуществовать с нею в непосредственной близости было актом самопожертвования. Она и старшую дочку, с задатками вундеркинда, задавила. В очерке о Мандельштаме, "История одного посвящения", роняет о собственном ребенке ядовитое замечание: "Лирическая Аля, видя, что уезжают (имеется в виду он, Мандельштам. – Н. К.), терпеливо катит слезы".

Все так, а поэт она грандиозный, хотя, пожалуй, Бродский преувеличивает, ставя ее выше Мандельштама, Пастернака. Или нет?

Я, например, от Бродского же, из его доклада на конференции, организованной в 1992 году к столетию Цветаевой в городе Амхерст, штат Массачусетс, узнала о казусе, произошедшем со стихотворным циклом Пастернака «Магдалина», не включаемом, как и другие его произведения с библейской, христианской тематикой, в прижизненные издания. Отрывок оттуда – многие, видимо, как и я, думали, что оттуда именно – Ольга Ивинская вынесла на заднюю сторону обложки своих, запрещенных в СССР мемуаров "В плену времени" (издательство Fayard, 1972 год):

О путях твоих пытать не буду,
Милая! – ведь все сбылось
Я был бос, а ты меня обула
Ливнями волос – и
Слез…

Со сноской: "Неопубликованный вариант стихотворения «Магдалина» Бориса Пастернака".

Ивинская, как выяснилось, оскандалилась. Процитированное принадлежит не перу Пастернака, а Цветаевой, из ее цикла с тем же названием «Магдалина» но написанном в 1923 году, на двадцать шесть лет раньше «Магдалины» Пастернака. Поразительно, насколько оба цикла совпали, слились, будто

спетые одним голосом, хотя мелодию, интонацию Пастернак подхватил у Цветаевой, а не наоборот. При его-то в каждом слове, каждом звуке оригинальности – впервые заимствование у другого, при чем не родственного ни по стилю, ни по духу поэта.

У людей пред праздником уборка.
В стороне от этой толчеи
Обмываю миром из ведерка
Я стопы пречистые твои.

Не правда ли, как продолжение "О путях твоих пытать не буду…"? Спустя двадцать с лишком лет, через разлуку, через смерть, через гибель Марины Ивановны вступает Борис Леонидович с ней в перекличку. Выходит, застряла она в нем, пустила корни в его душе, и ни брак с Зинаидой Николаевной, им уведенной у друга Нейгауза, ни роман-вихрь с Ольгой Всеволодовной Ивинской Цветаеву из судьбы Пастернака не выкорчевали. В жизни скрылся от брошенного ею вызова–равенства, а вот в творчестве, выходит, признал. Она в нем звучала. Ее "О путях…" он, видимо, бормотал в той же манере, что и собственные стихи, поэтому Ивинская и попала в ловушку, вынеся на обложку принадлежавшее другому автору, сочтя, возможно, самонадеянно, что "ливни волос и слез" ее, Ларины, из "Доктора Живаго", в прототипы которой себя назначила и с напряжением всех жил утверждала.

Между тем образ Лары вызрел, начал вырисовываться в набросках Пастернака еще в начале тридцатых, до появления Ивинской. Музам творцов, для утверждения собственной значимости, присуща агрессия в захвате чужой территории. Коли уж не удался официальный брак, искусственно раздувается буря страсти. Цветаева в подобном нисколько не нуждалась. И большинство попавших в число ее избранников потому лишь избежали забвения, что она своим творчеством обессмертила их.

Сын, Мур, единственный, кто без всяких на то притязаний, победил не терпящую никаких извне посягательств натуру Марины Ивановны. К его появлению она примеривалась, готовилась задолго до рождения. Пара Волошиных, сына Макса и матери, Елены Оттобальдовны, притянула ее еще в юности. Потом, уже в эмиграции, в очерке о Волошине "Живое о живом", высекла, как на скрижалях, заповедь: "…Каждая женщина, вырастившая сына одна, заслуживает, чтобы о ней рассказали, независимо даже от удачности или неудачности этого ращения. Важна сумма усилий, то есть одинокий подвиг одной – без всех, стало быть – против всех".

А ведь у нее самой на тот период (1934 год) муж, отец ее детей, наличествовал. Но она, как самка-хищница, львица, никого к сыну не подпускала. Гордыня! Будь Мур послабее, участь ему предстояла бы маменькиного сынка. Но он вырос сам по себе, и, надо сказать, умнее, проницательнее и папы, и мамы.

Лейтмотив его дневников: притяжение-отталкивание, дружба-вражда с Дмитрием, Митей Сеземаном. По судьбе близнецом, почти сверстником, чуть старше, тоже из Франции привезенным родителями-недоумками, тоже арестованными, с Сергеем и Ариадной Эфросами в одной связке, подвергнутых садизму следователей на допросах, посаженных в камеры вместе с уголовниками.

Мур на первых порах осуждает Митю за демонстративное неприятие советской действительности. В мороз ходит без шапки, говорит, не приглушая голоса, по-французски, то есть нагличает, по мнению Мура, вовсю. И не скрывает, что вернуться во Францию – цель его жизни. Мудрый Мур ставит диагноз: Митю посадят. И не ошибся: да, посадили, сослали. Но уцелел, и грезы его сбылись – прорвался, только щель приоткрылась в клетке, во Францию, в Париж, о котором десятилетиями бредил. Живживехонек и в наши дни. Ходит, верно в зиму без шапки, изъясняясь на французском без всякой опаски, а вот Мура нет. Обстоятельства его гибели, семнадцатилетнего новобранца, брошенного в жерло войны, на передовую, не известны. Как, впрочем, и множества его ровесников.

Мур записывал: "Митька совершенно явно слишком привязан к Франции. Я все время стараюсь ему вдолбить, что его слова "лучшие годы были в Париже" – чушь, что вся жизнь впереди, что нужно быть реалистом и понимать убожество той Франции, которую он любил". Но спустя некоторое время и для него это «убожество» превратится в мечту. Париж будет преследовать, как наваждение. Мысленно он там бродит, заходит в кафе, разглядывает прохожих, болтает с барменами – что же, это его среда, в той атмосфере он определился, сложился. А на самом деле сидит в столовке интерната, куда после самоубийства матери удалось устроиться. Что-то жует и думает: как бы все-таки увернуться и выжить, несмотря ни что. С такой жизнестойкостью, феноменальной, он бы и из дебрей Амазонки выпутался, но не из плена СССР. Тут он был обречен. И все-таки из последних сил, до конца сопротивлялся.

Одно утешение: Мур унаследовал от матери потребность выразить себя в слове. А, значит, осуществился, присутствует здесь, рядом с нами. Чудо-мальчик, которым не восхищаться нельзя.

Я, признаться, оторопела, ознакомившись с послесловием к двутомнику Георгия Эфрона, подписанному ученой дамой, архивистом Татьяной Горяевой: "Перед нами самый обыкновенный молодой человек, находящийся в эпоху репрессий и войн "на краю жизни". Обыкновенный?! Да если бы такие, как Мур, в России составляли большинство, страна была бы другая.

Еще удивительнее замечание В. Лосской, специализирующейся на биографии Цветаевой, составителя и переводчика двухтомника Георгия Эфрона, в содружестве с Е. Коркиной: "Читателей дневников, возможно, удивит полное отсутствие в записях Г. Эфрона веселости, юмора, смеха. Он не описывает ни одного комического положения, сценки, ни одной шутки, анекдота, остроумной реплики". От кого ж это ожидались веселость, описание "комических положений, сценок" – от юноши, отца которого забили в застенках НКВД, сестре следователь, гнусь, в лицо пускал струю мочи, чью мать довели до самоубийства? Это ему что ли вменялось острить, хохотать-гоготать? Или фамилия Лосская псевдоним, напрокат взятый, как и Горяева? Не может быть, чтобы она, вот такая, соотносилась с известной в литературном мире семьей? Увы, да. И во Франции пребывает. Чересчур часто в Россию наведывается? Ведь текст Г. Эфрона насквозь пронизан иронией французского именно закваса. Насмешничает он прежде всего над собой, с интонациями, не от матери перенятыми. Марина Ивановна к себе самой относилась по-российски всерьез. И при польско-немецких вливаниях менталитет у нее был исконно русский. А у сына нездешний, то есть нетамошний. Вот туземцы его и слопали, как в Полинезии залетного путешественника, капитана Кука.

Кто знает, настигли его вражеские пули или блюстителей советской «морали»? Александр Михайлович Яковлев в книге «Сумерки» написал: "Молодых ребят на передовой расстреливали ни за что, просто потому, что кто-то на них донес".

Поставим тут точку. Судьба, выпавшая Георгию Эфрону после прочтения дневников, кристально ясна. И никому не позволено его трагедию дымовой, нарочитой завесой умалять, извращать. Итог, урок: развернуть русло реки-жизни вспять нельзя. Уехали – не возвращайтесь.

РОЯЛЬ ИЗ ДОМА ПАСТЕРНАКА

Мне было семнадцать лет, когда к нам на дачу прибыл рояль с дачи Пастернаков. Поскольку мы с сестрой обе учились в Центральной музыкальной школе при консерватории, одного инструмента оказалось недостаточно: именно когда приближались часы занятий Кати, я испытывала прилив бешеного трудолюбия, не желала уступать ей клавиатуру, и мы ругались, даже порой дрались. Вот родители и решили во избежание конфликтов приобрести еще один «станок», и у нас появился старенький кабинетный "Ратке".

Его приобрели за какую-то смехотворную сумму, включающую и перевозку – благо недалеко, в том же Переделкине, с улицы Павленко на улицу Лермонтова. Как рояль перевозили, не помню в точности, но чуть ли не на телеге, и можно представить, как он, «Ратке», плыл мимо дачных заборов, сопровождаемый лаем окрестных собак.

Одновременно с покупкой мама получила согласие Станислава Генриховича Нейгауза, живущего там же, на Павленко, 3, послушать мою экзаменационную программу, и это единственное, что омрачило посещение дома Пастернаков. Хотя Стасик – его все так называли, и студенты, и даже люди малознакомые – проявил максимальную деликатность в оценке моих музыкальных перспектив.

Но я сама тогда уже о многом догадывалась, и игру свою в присутствии Стасика воспринимала как повинность, необходимую, чтобы иметь возможность прийти туда, где жил и умер Борис Леонидович.

Особенно дороги мне были стихи Пастернака о музыке: играя концерт Шопена, я бормотала знаменитое "Удар, другой, пассаж, и – сразу/ В шаров молочный ореол/ Шопена траурная фраза/ Всплывает, как больной орел". А уж когда Брамс, то конечно – "Никого не будет в доме,/ Кроме сумерек. Один/ Зимний день в сквозном проеме/ Незадернутых гардин". И, казалось, все забыв, это я буду до смерти помнить. Мне чудилось тайное сокровенное совпадение в судьбе Пастернака с моими тогдашними переживаниями: у меня, как у него, (прошу прощения за юношескую самонадеянность) любовь к музыке превосходила любовь музыки ко мне, и я больше понимала, больше чувствовала, чем могла выразить в звуках. Он, как и я, (снова прошу прощения) добровольно решился отказаться от профессии музыканта, в тот как раз момент, когда вне музыки не мыслилось жить.

Вот в этом состоянии предчувствуемой драмы, застилавшей тогда для меня все другие события, я увидела Зинаиду Николаевну Пастернак, в ее неизменном, классическом темном платье, с белым воротничком. И первая фраза, что я из себя вытолкнула: "А у меня «Избранное» Бориса Леонидовича сперли. С дарственной надписью!"

Это было мое горе, вызвавшее в семье снисходительно-насмешливое сочувствие: "А не води в дом черт-те кого". Книга была надписана отцу, у него в «Знамени» был напечатан цикл стихов из "Доктора Живаго".

А вот Зинаида Николаевна поняла. В тот день, по слухам суровая, малодоступная, она меня обворожила. Мы с ней листали альбом с фотографиями Бориса Леонидовича, и только боковым зрением я отмечала маму, что-то трепетно выспрашивающую у Стасика, у Лени, младшего сына Пастернаков, Наташи, его жены, никак не предполагая, что именно она, Наташа, станет Хранительницей, спасительницей этого Дома, что именно благодаря ее подвижничеству Зинаида Николаевна воскреснет спустя двадцать семь лет после смерти.

…Эту книгу, вышедшую тиражом в двенадцать тысяч экземпляров, на отличной бумаге, безупречно оформленную, по сегодняшней цене бутылки шампанского, сразу ставшую раритетом, купить можно только в Доме поэта в Переделкине. Я за тем туда и пришла спустя те же двадцать семь лет. От калитки до дома почему-то бежала. Увидела готовые распуститься тюльпаны, подумав, что сажала их, верно, Зинаида Николаевна. Но Наташа, Наталья Анисимовна, меня поправила: Зинаиду Николаевну занимало то, что полезно для семьи, для дома; вот огурцы, петрушка – это было по ее части.

Собственно, так ее образ и сложился, как женщины очень земной, хозяйственной, как бы в противовес своему гениальному спутнику. И хотя все знают, что со стороны судить о соответствии какой-либо супружеской пары нельзя, бессмысленно, догадки, домыслы в отношении людей выдающихся пресечь, увы, невозможно. Да и сам Пастернак размышлял над выбором Толстого, Пушкина. В его известной фразе – "А мне всегда казалось, что я перестал бы понимать Пушкина, если бы допустил, что он нуждался в нашем понимании больше, чем в Наталии Николаевне", – ключ к его собственной судьбе, его выбору. Но почему-то этим ключом долго – и уж не сознательно ли? – пренебрегали. Можно только дивиться, как так случилось, что та, с кем поэт прожил, прошел рука об руку тридцать с лишним лет, оказалась в тени, будто не заслуживающая внимания.

И вот наконец-то письма к ней, Зинаиде Николаевне, впервые опубликованные (как и многие уникальные фотографии), восстанавливающие не только цельный образ великого поэта, но и справедливость к женщине, жене, которую он предпочел всем. Писал их Борис Леонидович на протяжении всей жизни, и даже тогда, когда другая женщина появилась, когда, казалось, его целиком захватил новый страстный роман.

Пастернак писал: "И я знаю, что так, как я люблю тебя, я не только никого никогда не любил, но и больше ничего любить не мог и не в состоянии, что и работа и природа и музыка оказались тобою и тобою оправдались в своем происхождении, что – непостижимо: что бы я мог полюбить еще такого, что снова не пришло бы от тебя и не было бы тобою". Он писал: "Но ведь ты близкая, близкая моя подруга, тебе любо ведь, что на свете нелегкими усилиями, не халтурою и не на проценты с чужих капиталов, медленно и мужественно срабатывается какое-то то световпечатлительное цельное понимание жизни, руками двух, этою и так понятою жизнью и связанных, моими и твоими – ты ведь, прежде всего, любишь это, если полюбила меня?"

Только теперь можно оценить благородную сдержанность Зинаиды Николаевны, не воспользовавшуюся такими свидетельствами, чтобы, что называется, в глазах общественности, в главах соперницы, себя отстоять, защитить. Сама-то она знала – и довольно. А весь мир другим был поглощен, трагической последней любовью поэта к Ольге Ивинской, Ларе из "Доктора Живаго".

Потом вышла книга Ивинской "В плену у времени" с подзаголовком "Годы с Борисом Пастернаком". Письма же Зинаиде Николаевне по-прежнему оставались в туне. Больше того, Зинаида Николаевна собственными руками, никому из близких не сказав, отдала эти письма – продала. В ее бумагах сохранилась расписка: "Я, Софья Леонидовна Прокофьева, 8 октября 1963 года купила у Зинаиды Николаевны Пастернак все письма Бориса Леонидовича Пастернака, адресованные ей (количество писем и открыток приблизительно семьдесят пять)".

Зачем, почему? И как написано в предисловии, за пятьсот рублей! – что в то время, как там же сказано, хватило бы на уголь для дачи на несколько месяцев. Кстати, спустя два года после смерти Зинаиды Николаевны, Прокофьева за те же пятьсот рублей передала эти письма в ЦГАЛИ, закрыв их для пользования. И опять непонятно, почему: насколько эти реликвии драгоценны, не могло вызывать сомнений. Хотя поступок Зинаиды Николаевны все-таки объясним, продиктован, пожалуй, ее характером. Ведь как она ни бедствовала, ни листочка из

архива Пастернака никому никуда не отдала. Но вот письма к ней – этим, по-видимому, сочла себя вправе распорядиться.

Материальное ее положение в последние годы было крайне тяжелым. Все сбережения ушли на консилиумы врачей, когда Пастернак болел, умирал. Счета же в зарубежных банках оказались замороженными. Зинаида Николаевна хлопотала о пенсии. Но Федин ей ответил, что ее пенсия – "дело щепетильное". "А не щепетильно ли, – делилась она с ближайшим своим другом Ниной Табидзе, – вдове такого писателя продавать последнее пальто на толкучке за пятнадцать рублей. Чья это санкция убивать меня среди бела дня, что если это санкция свыше, то я помогу ему покончить с собой".

Вот в этот период, как я теперь понимаю, из дома ушел рояль, на котором, возможно, Рихтер играл, Нейгауз, Юдина… Играла, наверно, и сама Зинаида Николаевна – пианистка, с которой еще в Киеве Горовиц в дуэтах музицировал.

И от меня тот старенький «Ратке» тоже потом ушел, я отдала его подруге "за так", избавляясь от него как от ненужного, тяжелого напоминания о своей неудавшейся музыкальной карьере. Глупость, конечно. Но еще большая, непростительная постыдная глупость, тупость, что в семнадцатилетнем сознательном возрасте я, со своими наведенными страданиями, не увидела, не заметила страданий подлинных. Мимо ушей пропустила фразу Зинаиды Николаевны: "А у нас теперь мало кто бывает". Не всполошилась: а с чего это Пастернаки с роялем расстаются? Борис Леонидович уже безусловно осознавался классиком, гением, великим; переделкинское кладбище, где он был похоронен, сделалось местом паломничества, но вместе с тем литфондовские власти подбирались, кружились, как воронье, над его дачей, пока не решаясь, но подумывая о выселении оттуда его семьи. Билась в кольце нужды вдова. И это время кто-то способен еще воспринимать как благодатное для литературы? Кто-то смеет пугать и писателей, и читателей нынешними рыночными отношениями, будто бы убийственными для таланта?

В сущности, все продается. У всего есть цена. И у вдохновения тоже. Ну а мастерство – это воля, все себе подчиняющая. Пастернак такой волей обладал. Он, как и Пушкин, – теперь уже никто не вздрогнет от такого сравнения – не боялся, не стеснялся воспринимать свой поэтический дар еще и как средство существования в материальном плане. Эта сторона жизни им учитывалась и в письмах к Зинаиде Николаевне. Влюбленный, очарованный, он не забывает о своих обязательствах мужчины-добытчика. Без этого нет стержня ни в чьей жизни, ни в чьей судьбе. И поэты не исключение. Масштаб

же дарования привносит свободу, не доступную ремесленникам. Хотя условия для всех равны. Даже оплата не сильно разнится. И только будущее расставляет акценты по справедливости. Гений работает для вечности, при жизни рассчитывая на гонорар.

ПЕЙЗАЖ С НАМИ И БЕЗ НАС

Ранним утром солнце врывалось в гостиничный номер с такой слепящей неистовостью, что мерещились юг, море, пляжное томление. Хотя опыт подсказывал повнимательнее вглядеться в лёгкое, как перышко, облако, зацепившееся будто случайно за округлый бок сплошь зелёной, облепленной елями горы. И бдительность пробуждалась не напрасно: во вторую половину дня безобидное белое пятнышко обычно серело, разбухало, только что еще яркую синеву заволакивало от края до края, и от праздничных утренних обещаний не оставалось и следа.

Между тем к вечеру, когда и тело, и рассудок, с непогодой смирившись, погружались в бездейственную сонливость, вдруг хмурая пелена раздJргивалась, как занавесь в театре, и вновь обнаруживалось утреннее, нарядное сияние, правда, с оттенком вроде бы сожаления, меланхолии, грусти.

Горы с балкона казались близкими по-домашнему, дорожные швы на них почти осязаемыми, а крыши отелей, вилл – доступными, как сваленные в кучу игрушки избалованного родительской любовью ребёнка.

Брекенридж, горно-лыжный курортный городок, обосновался в Скалистых горах сто пятьдесят лет назад, и, судя по фотографиям в местном музее, жизнь его обитателей неприхотливой размеренностью, непритязательностью совпадала с существованием в любой другой американской глубинке. Вот разве что горы стискивали городок с обеих сторон, нависая, заслоняя казавшееся низким небо, и приходилось бороться со снежными заносами, из-за которых двух, трёхэтажные домики утопали иной раз по самые крыши. Из техники – только лопаты. Ими жители дружно орудовали, разгребая похожие на туннели лазы в отвердевшей на морозе снежной массе.

А вот в погожие денёчки возвращались к принятой у американских поселенцев и поныне укорененной обособленности друг от друга, нисколько, впрочем, не высокомерной, лишённой заносчивости, свойственной европейцам, а ценимой здесь прежде всего за удобство: не лезешь бесцеремонно к другим, и они к тебе не полезут. Принципиальное невмешательство в чужие дела нарушается лишь в случаях, если кому-то помощь понадобится. Тогда откликаются с готовностью, пожалуй, даже радостной. Хотя соучастие ограничивается чисто физическими усилиями. Жалобы, не обоснованные чем-то конкретным, останутся безответными, и не только сочувствия не вызовут, а откровенное недоумение.

Американское безразличие, холодноватая в обличье радушия

отчуждённость, отсутствие любознательности, консервативная привязчивость к привычным стандартам как в быту, так и в деле, профессии, пришельцами поначалу отторгаются, но, спустя время, обнаруживается, что в основе тут независимость, вольнолюбие, обладающие, оказывается, такой притягательностью, с зарядом бодрости, смелости и при этом комфортностью, как пришедшиеся точно в пору, нигде не жмущие башмаки.

Подобная обувь, на толстой подошве с высокой шнуровкой, по внешнему виду увесистая, на самом же деле, надетая, дивящая невесомостью, непременная часть гардероба и местных жителей, и туристов, слетающихся отовсюду в такие вот горно-курортные городки, коими славится наше Колорадо. Причём не только в пик лыжных сезонов, но и летом, когда жилы снега видны лишь на вершинах гор. Соблазн преодоления – основа здешнего времяпрепровождения. Одинокий, с явным усилием выжимающий педали велосипедист, одинокий путник в необозримом, безлюдном пространстве, одиноко, до дна погрузившийся в себя, отхлёбывающий кофе из картонного стаканчика постоялец отеля, скорее правило, чем исключение. Галдящих, шумящих, сбившихся в кучу редко встретишь. Поэтому, помимо горного воздуха, здесь целебна тишина. По главной улице, не превышая 25 миль в час, ползут, крадутся машины. Пешеходные зебры пресекают им путь чуть ли не через каждый метр, появление зеленых человечков на светофорах сопровождаются имитацией голоса кукушки. ОтчJтливо-настойчивый кукушкин призыв оправдан, так как пешеходы частенько обнаруживают склонность о чём-то задуматься, полностью отрешившись от происходящего. Собственно, горы нужны человеку как раз вот для этого – отрыва в такие дали, куда в суете, толкотне не заглядывает душа.

Что же она там потеряла, то ли из будущего, то ли из прошлого? Прошлое, впрочем, манит сильнее, чем не сбывшееся пока, а возможно, и никогда. Кроме того, погружение в прошлое исключает спешку, что тоже располагает. Некуда торопиться, прожитое разматывается нить за нитью, как клубок шерсти в руках умелой вязальщицы-судьбы.

Особенно увлекательны, хотя и небезопасны, сцепки теперешнего с минувшим. Сходное состояние испытываешь при чтении, точнее перечтении, тягуче-раздумчивой, как мёд, и концентрированной, как бульонный кубик, однако объёмистой книги. Стиль такой, определяемый пафосным утверждением индивидуума, личности среди всеобщего хаоса, нынче утрачен, то ли по вине авторов, то ли из-за спада читательского спроса к сочинениям такого рода. И писатели, и читатели книг, не

взвинченных острым сюжетом, канули в одной связке в небытие. Сохранились лишь единичные представители некогда мощной цивилизации, затонувшей в пучину безвкусицы, ширпотреба.

Поколения, заброшенные из одного века в последующий, ностальгией по прошлому страдают в большей степени, чем проживающие отмеренное в одном, цельном временном куске. Неважно как, неважно где. Тут присутствует некая магия – в смене, как бы условном, исчислении первых цифр столетий. Большинство смиряется, но некоторые недомогание от сшибки, допустим, лишь в числах, так и не могут преодолеть. Мета времени, непонятно куда канувшего, отличает их и внешне, и внутренне как клеймо то ли каторжности, то ли избранности.

Не знаю, откуда взялась догадливость, собираясь в Брекенридж, бросить в последний момент в дорожную сумку "Волшебную гору" Томаса Манна. Хотя читала роман лет тридцать назад, он твёрдо вошёл в категорию любимых, необходимых, потому и отправился – то есть все десять томов собрания сочинений почитаемого с юности автора – в багаже из России в США, заняв почётное место в нашей семейной библиотеке теперь уже в Колорадо.

Причина же, по которой возникла охота "Волшебную гору" обновить в памяти, была самая элементарная: горы. Они главенствовали и в Брекенридже, и в романе, являясь не только фоном сюжетного развития, но и побудителем к размышлениям автора об ускользающей, разуму неподвластной категории, смутно обозначенной как Время.

Десятитомник Т. Манна был издан в СССР под редакцией Н. Н. Вильмонта и Б. Л. Сучкова. Борис Леонтьевич «всплыл» случайно – не ожидалось вовсе, что "Волшебная гора" даст толчок к воскрешению и этой фигуры. Его, выпущенного только-только из лагеря после смерти Сталина, мой отец взял своим замом в журнал «Знамя», что оказалось стратегически безошибочно. Сучков, широко, европейски образованный, отменный германист, в молодые годы удачливый, вознесенный аж до идеологического отдела ЦК и вдруг с карьерных высот в лагерные бараки сброшенный, после реабилитации рисковать не хотел, и его опасливая осторожность избавляла в какой-то мере главного редактора от постоянной, неослабной бдительности за коллективом руководимого им журнала.

Коллектив сложился разношерстный. Сотрудники даровитые, с собственным мнением, в любой момент могли, а может быть, и хотели подставить шефа, а верные, преданные такую посредственность, серость выказывали, что на них тоже нельзя было положиться. Одиноко лавировавший между этими и теми,

Кожевников наконец-то в лице Сучкова обрёл и помощника, и почти друга. Во всяком случае, Сучков стал частым гостем, можно даже сказать, завсегдатаем в доме моих родителей.

Обаятельно-любезный, и после лагерных мытарств сохранивший или восстановивший лощеную элегантность, остроумный, но не едко, не озлобленно, он сделался украшением-утешением в застольях, где, так же как в редакции, присутствовали люди нисколько друг с другом не сочетающиеся. На этих сборищах мне с детства вменялось заниматься сервировкой, из-за многолюдства, у нас в доме принятом, неоднородной. Тарелки попадались с щербинкой, бокалы, с того конца стола, что папа возглавлял, от хрусталя сменялись стеклом, и я сбивала рассадку, соответствующую чинам, рангам, подменяя её собственной оценкой приглашенных: кто-то из них вызывал у меня симпатию, а кто-то вовсе нет.

Задачу облегчало то, что, например Сучков, какое бы начальство, министры разные, не въезжали на машинах с шофёрами в наш двор в Переделкино, всегда садился по правую руку от папы, и я испытывала удовлетворение, зная, что бокал, сверкающий сине-глубинным, в соседстве с папиным, изумрудно-зелёным, достанется именно ему.

Расположение моё к Сучкову зародилось подспудно и никак не мотивировано. От осознания взаимовыгодности их с отцом союза я в те годы была далека. Но почему-то он пробуждал во мне, девочке, потребность ему покровительствовать, оберегать что ли, хотя от чего, от кого – непонятно. Сучкова сопровождала жена, вторая, первая исчезла в тюремных застенках. Замучили, убили? Неизвестно. А эта, бывшая балерина, ростом, костистой громоздкостью грациозному ремеслу совершенно не соответствовала. И как пара своему мужу тоже. Ощущение возникало, что в лагерях не он побывал, а она. Взгляд её водянисто-размытых, выпуклых глаз выражал страдальческое напряжение одновременно с агрессией. Имя её заслонилось, забылось но внезапно выхватилось: Ирина. Сучков жены то ли стеснялся, то ли опасался, но появлялся всюду с ней. Может быть, оставлять её дома одну представлялось ему небезопасным? Когда Сучкова не стало, Ирина приехала как-то к нам в Переделкино для беседы с глазу на глаз, как предупредила, с отцом. О чем-то просила? Рыдания, вдовьи слёзы? Признаки безумия, мужем кое-как сдерживаемые, проступили в ней к той поре уже явственно.

Борис Леонтьевич ушел из жизни, находясь на посту директора Института мировой литературы имени Горького. Когда эту должность ему предложили, отец, огорчение, верно, утаивая, нарочито шумно его поздравлял. Свидетельствую, так как чай в

кабинет им приносила. Но с того момента Сучковы бывать у нас перестали.

Исчезновение, полное, с концами, кого-либо из ближайшего окружение родителей наблюдать приходилось и прежде. Подоплёка нам, детям, не разъяснялась. Стоит предположить, что узы дружбы в той среде не воспринимались первостепенными, а вроде как дополняющими отношения служебные. Ссоры на обыкновенной, житейской основе заслонялись, вытеснялись более, считалось, важным: идейными разногласиями. Но почему так безжалостно выбраковывались те, кто утрачивал прежний статус по причинам совершенно от них независящим? Относилось это к женщинам, которых бросали или у которых умирали мужья.

Наша мама, обворожительно общительная, хлебосольная, гостеприимная, с подружками умудрялась держать дистанцию, с оглядкой не менее трезвой, чем папа с коллегами. Эпоха, не допускающая сантиментов, и на неё, от природы эмоциональную, возбудимую, с боязливой трепетностью подверженную суевериям, наложила печать жёсткости. Но грехи свои она знала, помнила, перегружая свою честную, изначально правдивую душу их бременем, отмолить которые, в Бога не веря, тоже, видимо, понимала, нельзя. Не это ли стало причиной преждевременного ухода красивой, цветущей и, как казалось со стороны, стопроцентно благополучной жены успешного мужа?

Приятельниц – сонмы, но задушевная, единственная, была ли? Я думала, что больше, чем кому-либо, она доверяла Бекки, Ревекке Анисимовой, мужа которой, Ивана Ивановича, как раз и сменил на посту директора Института мировой литературы Сучков. Кончина Анисимова случилась для всех неожиданно. Хворала, жаловалась на разного рода недомогания Бекки, а уж Иван Иванович, статный, плечистый, образцовый русак-богатырь, никаких тревог не внушал. Солидно-серьёзный, внушительно-представительный, здоровье своё берёг с фанатической прямо-таки истовостью. Ничем другим природа его не наградила. Простонародная, что называется, от сохи, физиономия лоснилась самодовольством. Как характерно для бездарей, уважал себя упоJнно. Из энциклопедического словаря уже здесь, в Америке, узнала, что Анисимов пробился в членкоры, а мог бы и до академика дотянуть. Научных трудов – с гулькин нос. Но при чём тут труды? Верноподданническая угодливость перед властью – вот что являлось гарантией процветания в эпоху, по мерзости превзошедшей всё, что ей до того в России предшествовало, хотя тоже, как известно, далёкое от идиллии. Но казалось, что пик низости, подлости достигнут, и хуже уже не бывает. Бывает. Завидую не дождавшимся, не дожившим до очередного гнусного

витка, поднявшего с илистого дна, на поверхность вынесшего отрёбье, ублюдков, получивших всю полноту власти в несчастной стране.

Дураков сменили подонки, способные на всё. Иван Иванович дураком был, можно сказать, образцовым, но не воровал, не грабил, не убивал. Другое дело, что его вертикальный взлёт стал возможен лишь потому, что ему предварительно путь расчистили, убрав, загнав за колючую проволоку более даровитых, но не столь благонадёжных конкурентов. Сомневаюсь, чтобы Иван Иванович сильно терзался из-за того, что его преуспевание воздвигнуто, собственно, на костях других. Он вообще ничего не умел (или не хотел) переживать сильно, с раскаянием, болью в сердце. Берёгся. Имел все вроде бы шансы стать долгожителем, ан нет, не смог.

Сонливый, вялый – странно, о чем с ним мог говорить мой отец? Между тем Кожевниковы и Анисимовы по всем признакам отлично ладили друг с другом, соседствуя и дачами в Переделкино, и квартирами (правда, в разных подъездах) в писательском доме в Лаврушинском переулке. Почему мне нравилось приходить к Анисимовым в гости, понятно: вдосталь там угощалась баранками-сушками для меня специально выставляемыми в стеклянной большущей банке с завинчивающейся крышкой. А еще мне разрешалось рвать нарциссы на их участке с куском нетронутого леса позади двухэтажного дома, где на втором этаже жил с семьей писатель Лапин, неизвестно, что и когда сочинивший. Всё это принадлежало Литфонду, и по смерти владельца оттуда сразу же выселяли его родню.

Бекки, с которой мама тогда еще была неразлучна, создала обрамление мужу-бездарю с мастерством классного дизайнера. Ничего лишнего, роскошного, но всё выдержано в одном стиле непоказной добротности. Пристрастие к многочисленным настольным лампам, клетчатым пледам, посуде из керамики, полотняным салфеткам и всевозможным корзинам-корзиночкам я переняла от неё. И кофе с лимоном, а не с молоком, она же, Бекки, впервые меня угостила. Маниакальная чистоплотность, ей свойственная, внедрилась опять же в мои привычки. Сближение наше случилось, когда она овдовела. Из школы, потом из института я сначала заходила в подъезд Анисимовых, а потом уже, через арку, в свой.

По облику, манере одеваться Бекки напоминала Коко Шанель, хотя о моделях Шанель, сумевшей внушить публике, что мишурные цепи с искусственным жемчугом – шик, перед которым каратные брильянты меркнут, – советские граждане в пятидесятых-шестидесятых вряд ли имели понятие. Бекки не

иначе как по наитию, никому не подражая, создала свой образ, далёкий от общепринятого в те годы: короткие пиджачки, просторные жакеты, прямые юбки из твида и обязательно длинный шёлковый шарф, либо свободно свисающий, либо завязанный с обдуманной небрежностью бантом. Очевидно фальшивая брошь, приколотая на лацкане жакета, могла восприниматься откровенным вызовом, не меньшим, чем короткая, мальчишечья стрижка, с чёлкой, подчёркивающей мрачноватую выразительность обведённых тушью по контуру зеленовато-коричневых глаз.

На людях с мужем она держалась отстранённо, в застольных беседах не участвовала, улыбалась редко. Но вот у них дома, где в детстве мне приходилось иной раз и заночевать, за круглым, покрытым крахмальной скатертью столом – в центре белая вазочка из керамики с полевыми цветами, васильки, незабудки – отвязывалась, что называется, по всем правилам еврейского местечка, откуда была родом. Поглощая один за одним крохотные, изумительно вкусные пирожки, поданные к бульону в чашках, я научилась не реагировать на Беккины, неожиданно исторгаемые вопли. В подоплёку тут вникнуть не умея, продолжала жевать, как жевал, абсолютно невозмутимо, бесстрастно и Беккин муж. Не знаю, не могу определить момент, когда вдруг почувствовала, назревающую, верно, подспудно, к нему ненависть.

У нас дома скандалов между родителями, по крайней мере в присутствии детей, не случалось, поэтому не было опыта встать на чью-либо сторону, кого-то защищать или осуждать. Эмоции, в такой обнажённости, как у Анисимовых, мне были внове. Со стороны Бекки. Иван Иванович как бы не слышал, не воспринимал ничего. Промокал рот салфеткой и в кабинет удалялся. А Бекки закуривала, стряхивала пепел мимо пепельницы на крахмальную скатерть, и я, чтобы самой не заплакать, в пол глядела, физически ощущая, как разрастаются, тяжелеют от слёз её глаза.

Однажды не выдержала, обняла. Тело её, задрапированное в просторные блузы-балахоны, оказалось на ощупь по-птичьи хрупким, сухоньким. Так больно, так сладко жалостью к ней пронзило, что усмотрев седину в её проборе, поцеловала туда, где билось что-то измученное, страждущее, не нашедшее отклика. Такое родное. Один миг, и дошло: Бекки моя.

Себя я ей принадлежащей не считала. Мне казалось, она больше нуждалась во мне, чем я в ней. Мой характер, особенно в молодости, не допускал признаний ни в собственной слабости, ни тем более в принятии утешений за слабость. Лучше, доблестнее,

казалось, всё в себе подавить, задавить, но от позора сочувствия убежать, чтобы и мысли ни у кого не возникло о моей тут потребности, тусклой надежде на догадливость чью-то, что я не так сильна, как кажусь.

После смерти Ивана Ивановича, Бекки на сходках гостей у моих родителей не появлялась. Без него она стала никем. Исчез водитель бежевой «Волги» Николай Петрович, исчезла и «Волга», и домработница Фрося, каракулевый жакет, серебряные ложки, серо-голубая ваза Royal Copenhagen, но вот на библиотеку Ивана Ивановича, тщательно и, надо отдать ему должное, со вкусом собираемую, Бекки долго не смела посягать.

Там были редкие, раритетные издания, беллетристика на французском – область, в которой Анисимов считался знатоком. Много лет переписывался с Роменом Ролланом, Бекки показывала аккуратно расставленные на полках папки. И на просторном письменном, с вместительными тумбами, столе сохранялся тот же, что и при жизни Ивана Ивановича, идеальный порядок, свойственным тем, кто за столом мало работает или не работает вообще.

Мама к Бекки иной раз забегала, возможно, чем-то помогала, но если удары судьбы обрушиваются на человека с сокрушающей силой, сочувствовать ему надо постоянно, что отнимает силы, утомляет, и человека такого начинают избегать.

Смерти мужа Беккиного предшествовало самоубийство сына, покончившего с собой, можно сказать, у неё на глазах, запершегося в ванной квартиры на Лаврушинском – почему-то он это сделал там, у своих родителей, хотя давно уже жил от них отдельно – и когда дверь взломали, спасти его не удалось. Говорили, что Боря сильно пил, пристрастившись, возможно, на фронте, куда ушёл добровольцем, но Бекки считала, что сына довели, не принимая на работу, в последний момент отказывая: по отцу он был Иванович, а вот мать у него Ревекка Моисеевна.

Некоторое время спустя ушла из жизни невестка – перерезав вены, включила еще и газ, чтобы без осечек. А потом погиб в авиакатастрофе внук, Игорь, мой сверстник, с которым я дружила с детства. Бекки осталась одна, как перст. Но к ней меня притянула не жалость, для такого чувства еще не дозрела, чтобы его испытывать, отзываться, вбирать сердцем чужую боль, надо, чтобы жизнь хорошенько намяла бока. Я же тогда и себя самою пожалеть была неспособна.

Бекки мне нравилась, всем, включая чудачества; и раздражающий многих в ней наигрыш, театральность, склонность к преувеличениям, позированию, ломкие интонации, томный взгляд, отнюдь не воспринимались недостатком. Она была

особенная, ни на кого не похожая, именно это я в ней ценила. А еще то, что ей можно было довериться, ничего не утаивая и не стесняясь.

Приходила к ней почти ежедневно, охотно, без всякого принуждения, просьб никаких никогда от неё не слышала, но знала, что ждёт она меня в любой момент. Может быть, неожиданность моего появления помогала ей держаться в форме: не хотелось, чтобы я застала её неприбранной, врасплох. Вот сейчас вслушиваюсь в себя, и долетает её запах, смесь крепких сигарет и одеколона с горчинкой. Улыбалась редко, но и плачущей её не помню. Её жизнестойкость, мужество я смогла осознать только потом.

Удивительно или, напротив, вовсе не удивительно, но после смерти мужа она сделалась спокойней, уравновешеннее, не срывалась, как бывало в его присутствии, будто, уйдя, он от какого-то груза, бремени её освободил. Что их связывало, а что тяготило, гадать не буду. Они были абсолютно разные, полюсные, но жизнь прожили в нерасторжимой сцепке: пережитое горе – потеря сына – приковало, верно, друг к другу цепью, как невольников на галере.

Я сама вызывалась сопровождать её на Новодевичье, где Ивана Ивановича похоронили, и в комиссионки, сбывая остатки былого благополучия, но когда, уже в крайности, она решилась на разорение библиотеки, в душе у меня что-то защемило.

Вожделение к книгам рано во мне обнаружилось, я подворовывала их из нашей семейной библиотеки, беспорядочной, разрозненной, в отличие от анисимовской, о чём папа, конечно, догадывался, а скорее знал наверняка. Насмешничал, что когда-нибудь, при ревизии, меня уличит, и, мол, интересно, как я буду оправдываться. Впрочем, ни он, ни я подобную слабость грехом не числили. Папа разве что упрекал за моё тогдашнее пристрастие к Мопассану, пропадающему том за томом, наставляя: Надя, читала бы Гоголя. Но у Бекки, понятно, я не смела не только взять что-то, но и попросить.

И вот грузим в такси очередную порцию книжных стопок, обвязанных верёвкой, стоим в очереди на оценку в букинистическом, получаем квитанции, я говорю продавцу, что покупаю собрание сочинений Томаса Манна, и иду к кассе.

У меня уже деньги имелись, собственные, – учась в институте, подрабатывала журналистской подёнщиной, рецензиями, интервью, заказными материалами, и, при подкорме родительском, ощущала себя богачкой. На тряпки свои сбережения жалела, копила, но вот перед молочником от Кузнецова, бронзовым колокольчиком с надписью вязью, и

книгами тем более, устоять не могла.

Возмущение Беккино не забываемо. Она так орала, так неистовала, что на нас с удивлением возрились все, присутствующие в магазине. "Ты с ума сошла! – кричала она. – сказала бы, я бы всё тебе отдала!" Так я всё и взяла, всю её, Бекки, стынувшую в одиночестве, где просветом являлось лишь я, глупая, молодая, не представляющая, как много значит и будет значить для меня она, чудачка, печальная клоунесса, верный мой друг.

Благодаря ей, точнее собранию Ивана Ивановича, мне открылся грандиозный, старомодный, сгинувший под напором читательской и писательской спешки мир благородного бюргерства, воспетого Томасом Манном. От корки до корки тома его изучив, и в романной тяжелой массивности, и в высверках перенасыщенной смыслами новеллистики, я полюбила его творчество навсегда. "Смерть в Венеции" знала назубок, по абзацам, а вот к "Волшебной горе" почему-то не возвращалась. Жизнь тащила куда-то, отвлекая пустяшным, и увесистые, под редакцией Сучкова, два тома, в корочках бордово– коричневых, сохраняли упругость. Теперь знаю, есть книги, как бы прочитанные, но чтобы снова к ним приникнуть, что-то должно в твоей личной судьбе произойти.

Ну кто же знал, кто мог бы предположить, что швейцарский горно-лыжный курорт Давос, с санаториями поверху долины, где разыгралась фантазия Томаса Манна, увижу воочию. Между тем, когда я там побывала, ассоциаций с "Волшебной горой" не возникло. Готовности пока что не вызрело. Да и воспитанным в советской действительности трудно было представить, что место, описанное Манном с дотошностью топографа, существует на самом деле, в реальности.

Смычка возникла спустя долгие годы, когда никого, о ком здесь написала, не осталось в живых. Я же не только переместилась за океан, но и почувствовала себя здесь, в новой стране, не пришлой, как прежде в Швейцарии, а дома. Давос, как туристский, рекламный проспект, пролистался и убыл бесследно. А похожий на него Брекенридж корнями пророс, и, туда наведываясь, испытываю каждый раз радость узнавания, сродства с его дивным пейзажем: и горами, и тамошними обитателями, на чьи приветствия реагирую как своя среди своих.

Герои "Волшебной горы", на балконе отеля, где мы с мужем на сей раз разместились, тоже встретились как близкие, давние знакомцы. Текст, как выяснилось, я не забыла, до деталей, но воспринялся он, конечно, иначе. Незамеченное, упущенное в юности проникло до нутра. Скорбь, смиренно-возвышенная, хотя

и окрашенная тактичной, неназойливой иронией Томаса Манна, о быстротечности, уязвимости всего, что кажется нам, людям, прочным, растеклась по жилам то ли нектаром, то ли ядом.

И вдруг, обнажилось. Как я могла про это забыть? У меня обнаружен туберкулёз. В поликлинике Литфонда, при рутинном осмотре найдено затемнение в лёгких. Начало лета, предвкушение отпускной праздничности, моря, солнца, а я езжу в специализирующийся по лёгочным заболеваниям научно-исследовательский институт, где мне делают рентгеновские снимки, жду, держа их, пока они сохнут, в растопыренной пятерне, сидя в очереди к профессору-светиле, в толпе бедолаг, кашляющих, харкающих, понурых, причастности к коим нисколько не ощущаю. Как и беспокойства, тревоги, что будет, что меня ждёт.

Нет, перестаньте, не верю. С какой стати? Мне двадцать четыре, всё впереди, я – норовистая кобылка с румянцем во всю щеку. И мне болеть? Что вы такое говорите, профессор, какая клиника, что я там буду делать? Ладно, посмотрим, но в начале вдосталь накупаюсь, погреюсь, а потом, ну потом к вам, да, обещаю, вернусь.

И добилась, меня отпустили, на время. Ах, время, ничего нет важнее, ценнее, пока оно есть. Пока есть сейчас и потом, хотя бы в обещанной перспективе, надежде. А сбудется ли, кто знает.

Вот горы останутся, останется пейзаж, с нами или без нас. Останутся те, кто нас переживут, и, может быть, вспомнят.

СОБАКИ СОВЕТСКИХ КЛАССИКОВ

В писательском поселке Переделкино классиков отечественной литературы всегда было полно. Собственно, ради них поселок и был организован, чтобы творили в тиши, покое, на суетное не отвлекаясь. Хотя, несмотря на благолепие природы, заботы советской власти – именно ее стараниями поместье славянофилов Самариных, с регулярным парком, цепью проточных прудов, где при Иване Грозном властвовал Малюта Скуратов, присвоивший владения убиенных им бояр Колычевых, в тридцатых годах застроили дачами – некоторые из властителей дум все же старились и даже умирали. Не всегда естественной смертью, как, например, Борис Пильняк, чья дача мгновенно нашла преемника-коллегу, имя которого не называю. Ни к чему. Речь о том, что когда в четыре года я на родительскую дачу в Переделкино приехала, там только классики и числились. Во-первых, Грибачев и, конечно, Софронов, а нашу улицу Лермонтова венчало сооружение типа башни, принадлежащее Лавреневу, воспевшему, как сказано о нем в энциклопедическом словаре, "романтику революции, ее героические характеры". В том же словаре о другом переделкинском жителе, тоже живущем от нас по соседству, Треневе, сообщается, что он создал "многокрасочное, психологически насыщенное изображение революционных событий". Тематика советской классики разнообразием не отличалась.

По малолетству с такими «изображениями» я не успела еще ознакомиться, да и после, признаться, их авторов слабо различила, зато очень хорошо, назубок, знала имена всех переделкинских собак. С одними была в дружбе, а с другими во вражде. Пес Лавренева, черный, с рыжими подпалинами (я в породах тогда еще не разбиралась), ротвеллер, видимо, – вызывал особо острую неприязнь.

Была у него манера вдруг выскакивать из-под подкопа в заборе, завидев слабых, но не двуногих – на них он внимание не обращал – а своей же, собачьей породы, ему, видимо, ненавистной. Собакоубийца. Правда, свои жертвы он до конца не загрызал, калечил, оставлял инвалидами: умел, значит, себя обуздать, что было тем более подло, низко.

А вот у турецкого поэта Назыма Хикмета жила очаровательная шотландская овчарка, колли, мальчик, но по облику, по повадкам чарующе женственный, веселый и доброжелательный, как и его синеглазый хозяин. Хотя я знала, что Назым у себя на родине сидел в тюрьме, турецкие власти его

преследовали за коммунистические убеждения, ему удалось убежать к нам, в Советский Союз, а семья, жена, сыновья, остались в Турции.

Назым моего папу звал братом, потому что в роду Кожевниковых присутствовала турецкая кровь, от пленной турчанки, взятой нашим предком-офицером к себе в обоз, а после на ней женившийся. Турчанка оказалась умелой шорницей и курила трубку. Так, по крайней мере, рассказывал папа, впрочем, он много чего рассказывал, но так увлекательно, что никаких сомнений не возникало, а главное, он сам, если что и присочинял, начинал верить, что все так именно и было.

Но турчанка-шорница, все же, пожалуй, существовала: в альбоме, хранившемся у моего деда Михаила Петровича, я видела портрет-дагерротип большеносой сердитой старухи в черном чепце. Притока родственных чувств эта старуха не вызывала.

Назым часто бывал у нас в гостях, от него мама выучилась готовить холодный суп из кефира с чесноком и зеленью, а вот когда Назым к себе приглашал, строго наказывала ничего у него в доме не хвалить, он, мол, сразу же это отдаст, подарит, а отказу обидится, так принято у них, турок. Обещаешь, Надя? И я обещала…

Придя к Назыму, старалась не глядеть по сторонам, борясь с алчным вожделением к многочисленным его безделушкам, и тогда Назым, обеспокоенный несвойственной мне насупленностью, вручал мне что-нибудь почти насильно, восклицая гортанно: "Как, неужели тебе не нравится?! Ты посмотри, какая красивая черепаха, потрогай, ну как живая, да? Возьми, пожалуйста, возьми, сделай приятно Назыму!" Для очистки совести покочевряжившись, я принимала дар.

В Переделкине у меня был еще один щедрый благодетель, Валентин Петрович Катаев, но его подарки оказывались и чрезмерно дорогостоящими, и громоздкими. Как-то вот пожаловал мне кофейный, белый, с золотым ободком сервиз, как бы для кукол, но я сразу обман рассекла: вещь эта для взрослых. Другой раз к моему дню рождения преподнес игрушечную железную дорогу – редкость в то время. Когда огромную коробку вскрыли, содержимое вынули, и папа с дядей Валей, про меня забыв, запустили по рельсам поезд с вагончиками, я, вместо благодарности, ощутила опустошающую обманутость. Мальчикам интересна была бы такая игра, а мне – нет. На всю жизнь, кстати, осталось – радость, испытываемая к неожиданным, необременительным сюрпризам, а вот обдуманное обстоятельно, с нешуточными затратами, при запланированной, в обязанность как бы вменяемой признательности, вызывало и вызывает

сопротивление, протест. Ненавижу букеты из роз – за намеренный шик. Но только близким осмеливаюсь в этом признаться.

А с Назымом всегда получалось легко, радостно. В переделкинской даче у него, изгнанника, отсутствовал и намек на роскошь. Мебель простая, в основном книжные стеллажи, где и располагались соблазняющие меня всяческие финтифлюшки. После многие переняли такой стиль, непритязательный и вместе с тем обнаруживающий нестандартное, у кого оно имелось. Назым же был самобытен, органичен во всем. Сколько лет прошло, а сияние его ярчайшей голубизны глаз сберeглось в памяти. Он верил, подлинно верил в то, что оказалось обманом. Разочарование в идеалах, ради которых он положил жизнь, глубоко его ранило.

Но зачем забегать вперед? Вернем Назыма и меня в ту пору, когда мы оба проживали пору иллюзий: я по малолетству, он по чистоте души, в чем-то твердой, а в чем-то наивно ребячливой.

Однажды мы с отцом пришли к нему в гости, и, только открыли калитку, под ноги бросился, во всю пасть улыбаясь, обворожительно ласковый красавец, с длинной шелковистой шерстью. В доме Назыма появлялись женщины, которых он представлял как жен, все врачихи из того же Четвертого управления, где лечились привилегированные представители советского общества, но я не запомнила ни одной, да и он, кажется, доверял только своему колли. Обожал. Да и трудно было не подпасть под обаяние его беззаботного, беспечного, шаловливого нрава.

В дачу Назыма я в тот раз не вошла, заигралась с колли, при свидетеле, о котором забыла. Но он-то за нами наблюдал, наш Джинка, боксер тигровой масти. Мы с ним были товарищами, и по возрасту близкими, и по жизненному опыту.

В нашей семье от собак никакой бдительности не требовалось. В комнате, называемой столовой, диванчик стоял, как после выяснилось, антикварный, из красного дерева, с пламенем, эпохи императора Павла: при его сыне, Александре Первом, в мебельный интерьер стали просачиваться излишества, резьба, завитушки, а тут присутствовал добарочный образец, с гладкой, прямой, не располагающий к ленце спинкой, в соответствии с натурой царя-безумца, матерью, Екатериной Второй, нелюбимого, и ответившего ей со всею яростной местью обиженного, обделенного лаской ребенка.

На этом диване, изодрав изрядно синего бархата обивку, наш Джинка почивал, храпел, иной раз фунял, что смущало некоторых из гостей. Мы-то сами привыкли, ничего непристойного в Джинкиной воньке не находили, как и в его привычке класть

слюнявую морду на скатерть, глядя на поглощающих яства с такой мольбой, такой неизбывной тоской, что только самые жестокосердные могли устоять, не поделившись хотя бы кусочком с праздничного стола.

Такие неприятные люди у нас иной раз появлялись, и меня возмущало, что родители продолжали их к нам приглашать, зато я, заклеймив навсегда, их встречала с перенятой у Джинки усмешкой-оскалом, вздернув к короткому, как у него, носу верхнюю губу, и тихо, но с внятной угрозой рыча. Некоторые из маминых приятельниц говорили, что девочка растет диковатой.

Если честно, то – да. До школы безвылазно жила в Переделкино, друзей-сверстников не нашлось. Не вошло тогда еще в моду навещать дачи не только летом, посему в зиму, осень, слякотную весну они гляделись нежилыми, с бельмами ставен на окнах.

Наша же улица Лермонтова в начале пятидесятых только-только застроилась дощатыми финскими, как их называли, домиками – подарок Сталина уцелевшим в войне писателям-фронтовикам. Родителей, еще молодых, притягивал, будоражил город, они не остыли от его заманов, фальшивой, утомительной праздничности. Мама, впрочем, так и осталась городской, на даче скучала, а папа к сельской тиши, волглому лесу, одиноким прогулкам только еще привыкал. После его было оттуда не выковырнуть. А мне выпало деревенское детство, повлиявшее на все дальнейшее.

Какое это было блаженство! Топилась печка, я, бабушка, мамина мама, Джинка грелись у побеленной известью стены, и душевный уют, умиротворение, проникающее, растекающееся по всем жилам, не забылись и не повторились. Маму с папой я не ждала, никого не ждала. Этот зуд не проник тогда еще ядом в сознание. Нас оставили, можно сказать, бросили – ну и что же, и пусть. Вот только бабушка нам с Джинкой досталась очень пугливая. Вздрагивала от каждого шороха, а ведь это ели столетние гудели, мы с Джинкой знали, но ее волнение передавалось и нам. Вставали, шли вместе к входной двери, хлипкой, затворяющейся на крючок. Возвращались, успокаивая бабушку, мол, все в порядке, неприятель нашу крепость обошел стороной. Мы не трусы, готовы и к обороне. Но я замечала, что Джинка дрожит: такая ответственность для щенка оказывалась непосильной. Ведь если что, пришлось бы в глотку врагу вцепиться мертвой хваткой, боксерам свойственной, а он не хотел, не был готов.

Но когда у Назыма появился колли, он уже стал матерым и на проявление эмоций сдержанным. А из рыжего красавца колли

они били фонтаном. Капризный, избалованный, падал навзничь, чтобы ему чесали живот, гладили за ушами. Джинка никогда о таком не просил – не нуждался, значит. Не просил – не получил. Мы с ним друг друга уважали – разве мало?

Хотя я догадывалась, что колли так же радостно, ликующе встречал всех. Избирательность в отношениях, ревность, всепоглощающая страсть ему абсолютно не были свойственны. Я бы сказала, что у колли Назыма имелся тот же дар или порок, как у героини рассказа Бунина "Легкое дыхание". Обладателям такого дыхания мстить нельзя, тем более убивать. Но Джинка решил иначе.

В тот день мы позавтракали у Назыма, а обедать отправились к нам, собак во дворе оставив, полагая, что они друг к другу уже привыкли. И, действительно, ссор между ними не возникало, и в голову не пришло что-либо дурное заподозрить.

После обеда Назым, выйдя на крыльцо, окликнул колли, но он не отозвался. Отец позвал Джинку, – тоже нет ответа. Обежали участок и обнаружили на сугробах следы неравной борьбы и клочья пестрой, шелковистой шерсти.

Колли так и не нашли, а Джинка явился спустя сутки. Лежал, распластавшись у ворот, уронив морду на лапы и не желал вставать. Зная, кто во всем виноват, я его обняла: в уголках его глаз ссохлись серыми комочками слезы. Неуклюжими, грубыми пальцами пыталась их достать, извлечь, и ощущение было, что прикасаюсь к натруженной любовью, преданностью Джинкиной душе. Мы-то его простили, а вот он сам себя – нет. Нам не пришлось его наказывать, так он казнился, что все восприняли с облегчением: в нашем доме ни собаки, ни дети не воспитывались в жесткой, неукоснительной строгости.

А Назым никаких претензий, обид не выказал, но бывать у нас перестал, и мы у него тоже. Его отсутствие не давало случившееся забыть. И вот тогда вспомнился тот самый лавреневский пес, отдаленное и недавнее события увязались.

Мы с отцом шли по нашей улице Лермонтова, Джинка в то время был щенком, и у дачи Лавренева вдруг выскочил лютый зверюга, черный с подпалинами, вцепился в Джинку, уверенный, как всегда, в своей безнаказанности.

Папа обычно прогуливался с палкой-дубиной, которую я, кстати, с родины вывезла в числе семейных реликвий, таможней пропущенной, не сочтенной за редкость, а зря. Эту дубину я выхватила из папиных рук и обрушила лавреневскому псу на темя. Тот взвыл и бросился на меня. Тут писатель Кожевников, не долго думая, выхватил из кармана куртки финку, и всадил в бок уложившей меня на спину собаке. Я закричала: папа, что ты

наделал?! И до сих пор помню выражение его лица. Трудно определить какое. Скорее никакое. Знакомое в нем исчезло. Он повернулся спиной и пошел вперед, удаляясь от меня.

"Сорок первый" Лавренева я прочла уже взрослой – сильная, страшная книга.

С «изображениями» увешенного наградами другого классика, Тренева, не сравнить, чья прославленная "Любовь Яровая" – просто мерзость, чувство гадливости оставляющая своей лживостью, лицемерием, верноподнически спетым гимном предательству. А в "Сорок первом" автор, Лавренев, заглянул в бездну так называемой классовой борьбы и, видимо, сам обнаруженного там испугался. Все им после написанное куда тусклее. Лавренев тоже был из офицеров той, прежней выучки, в войну у него погиб сын, трагическое проступало в нем зримо, поэтому, может быть, и дача казалась мрачной. Бремя невысказанности он нес в себе, а ответила, заплатила свирепая, перенасыщенная злобой его собака, по снегу отползающая, оставляя кровавый след.

Потом эту дачу купила Галина Серебрякова, вернувшись из лагеря при Хрущеве, сочинительница эпопеи про Карла Маркса. Слухи шли, что в лагере она стала стукачкой. Может быть, да, а, может быть, нет. Выжила – значит, под подозрением. Но собак, натасканных на травлю, не заводила, а потом умерла. В дачу вселились неприметные, ни к чему непричастные ее родственники. Но спустя даже многие годы, я, проходя мимо, старалась в сторону дома-башни не глядеть. Тяжко, за все, за всех. И разве собаки виноваты в том, что их люди так воспитали? Но и людей жалко. Если задуматься, особенно жалко именно их, людей.

ШКОЛА ЗАВИСТИ

В широком спектре присущих человеческой натуре эмоций есть чувство, наиболее распространенное, пережитое когда-либо каждым, и в качестве объекта, и субъекта, то есть в объемном, разностороннем опыте. Любовь, думаете? Ошибаетесь. Любить и быть любимым присуще отнюдь не всем. А вот испытание завистью никого не минует, и тут главное мера, дозировка. Зависть, гложущая постоянно, может свести к нулю не только чью-то жизнь, но и социум, страну, общество.

Давайте начнем с себя. Когда и чему конкретно вам кто-либо позавидовал, легко припомнить, тем более, что завидовали скорее всего не раз: повод всегда найдется. Бороться тут бесполезно, а вот мотивы определить, понять, как действует такой механизм – в других – и можно, и нужно. Хотя разгадать это удастся, только если себя подвергнуть самоанализу, без увиливаний, утайки.

Убедиться придется, что и в раннем, как считается, безгрешном детстве, уже нарушаются заповеди не укради, не возжелай, пусть не жены ближнего своего, так чего-то еще, чем ближний обзавелся.

Я сама шести лет от роду чуть не украла заграничный, в виде ярко-желтой машинки, пластиковый брелок у мальчика-сверстника, пришедшего с родителями к нам в гости. Не украла, а припрятала, но мальчик так горестно потерю переживал, что я не выдержала и брелок «нашла». Он меня благодарил, меня же раскаяние раздирало, и этот мальчик по имени Максим, и диван с валиками, куда я его брелок засовала, застряли в памяти навсегда.

Между тем уголек зависти, однажды вспыхнув, не угас, а, напротив, в костер разгорался. Я жутко завидовала девочке, дочке уборщицы, что у нас во дворе лучше, ловчее, выше всех прыгала через веревочку. С каждым прыжком юбчонка ее взлетала, обнаруживая штанишки байковые на резинках, помню цвет – бледно-салатовые. Я завидовала и штанишкам. Завидовала ее признанию у детворы, завидовала и детворе, живущей в коммуналках дома-барака, соседствующего с нашим, девятиэтажным, выбегающей во двор у мам не отпрашиваясь, не вымаливая хотя бы полчасика на игру в классики. Завидовала неограниченной ничем, никем их свободе, которой с малолетства, сколько себя помню, никогда не было у меня.

Поэтому я возненавидела себя. Свои бантики, оттягивающие, как гири, туго, в жгут заплетенные косички. И белые, и клетчатые, что еще хуже, гольфы, с болтающимися на икрах кисточками. И

лаковые, тупоносые, с застежкой-перемычкой туфли. А самое ненавистное, язвящее в том заключалось, что при моем появлении дворовые игры прерывались, участники, как по команде, однозначно враждебно, подхихикивая, оглядывали меня, с головы до ног, и, казалось, до нутра, до печенок-селезенок, сердчишка, испуганно трепыхающегося, как у зайца, окруженного сворой собак.

Выхода не было. Коли дружбу мою отринули, я научилась драться, и с девчонками, и с мальчишками, осмелев от отчаяния. Кроме того, не преуспев с прыгалками, добилась первенства в игре в ножички, где метким броском в центр очерченного в ближайшем сквере круга захватывалась территория противников. Азарт, восторг, испытанный, когда лезвие отцовской, с войны привезенной финки погружалось в рыхло-влажную почву по рукоять, застряли в подкорке, как брелок мальчика, штанишки бледно– салатовые дворовой прыгуньи, как стремление побеждать, там и тех, кто не хотел принять меня за свою.

Но снова зависть подкрадывалась, точно хищник на мягких, бесшумных лапах. Почему я не мальчик? – с негодованием во мне полыхнуло. Почему девочка всего лишь?! При наличии отцовской финки, сгодились его же, на мне болтающиеся, до колен доходящие свитера. Уже не ребенок, еще не взрослая, я хотела как можно дольше оттянуть окончательную, безвариантную принадлежность к конкретной, определенной части человечества, с диктатом соответствующих полу правил, которые нарушать, опротестовать нельзя. В самом деле нельзя?

И тут неожиданно обнаружилось, что между сверстниками ведутся игры, вовсе отличные от забав в пору детства, типа прыгалок, метания ножиков-финок. Оказалось, что многие уже объединились попарно, а со мной продолжают дружить, но уже не так.

Я растерялась. Никто мне из мальчиков не нравился, и я никому, верно, тоже: задевало другое, будто других перевели в следующий класс, а я второгодница. Как нагнать?

Одиночество, здравствуй, здравствуй, сумеречная юность, состояние позорной ничейности, на что я, быть может, обречена навсегда.

Даже теперь, после стольких прожитых лет, на обделенность любовью, влюбленностями уж никак не имея права пожаловаться, вижу сны, погружающие меня в прошлое, пережитое в юности, где я одна, никому не нужна, и так обидно за себя – обидно за теперешних молодых, одиноко блуждающих в равнодушной толпе, как когда-то я, готовых мгновенно взорваться, вцепиться в того, кто заподозрит, угадает в них тайную, из всех сил

маскируемую ущербность.

В те годы, самые трудные, пожалуй, – юность потому еще так уязвима, что не знает пока, не понимает себя, – я не завидовала кому-то конкретно, а как бы всем сразу, незнакомцам, случайным встречным, парам, идущим под одним зонтиком, их смеху, их защищенности друг другом, в то время как за меня никто не вступится, я должна бороться, отстаивать себя сама.

От всего и от всех. От лифтерши в нашем же доме, несшей в подъезде ночное дежурство и после одиннадцати дверь закрывающей на поставленную в распор палку. Мне она никогда сразу не открывала, всматривалась, внюхивалась через стекла двойного, с тамбуром посередке, парадного, желая удостовериться, что я пьяна, с гульбища пришла, где творилось такое, что простой, честный труженик, даже сивухой накачавшись, не в состоянии представить.

Палку сдвинув, наконец впускала, и – какая любезность – вызывала лифт, надеясь все же, что ее подозрения в моей, ну конечно, порочности, развратности, сбудутся, получит она неопровержимые доказательства, ну вот сейчас, когда я, роясь в карманах пальто в поисках ключей, распахнусь – и, батюшки, срам-то какой, голая, в чем мать родила, девка эта, с седьмого этажа. А еще у нее хвост, да-да, хвост, крысиный облезлый, а как крысы бесстыдно совокупляются, уж ее товаркам из барака известно.

То, что она меня ненавидит, я знала, чувствовала, но не понимала: за что? Ненависть, источник которой утробная зависть, моему осознанию оставалась еще не доступной. Эта лифтерша, Маруся, в квартире у нас не бывала, но чутье, так называемое, классовое, ей, верно, подсказывало, что, как у меня, под пальто голой, наверняка хвост имеется, так и у нас в комнатах на стенах не обои, а бархат в алмазах, а по углам слитки золота свалены. У, кровососы! Маме моей она свою ненависть не решалась в лицо выплеснуть, нет, напротив, угодливо лебезила, а вот уж со мной не церемонилась. Когда я вступала в клеть лифта, тревога смутная закрадывалась, что трос почему-то вдруг лопнет, я рухну, с воплем стремительно низвергнусь вниз под зловещий, торжествующий хохот Маруси. Но за что, Маруся, за что?

Я не осмеливалась перед Марусей оправдаться, объяснить, что я с уроков в консерватории возвращаюсь, жду долго на улице Герцена троллейбуса, довозящего до Кадашевской набережной, откуда иду проходными дворами к Лаврушинскому, одна, ничего не боясь. А вот ее, Марусю, – да.

Робость удержала меня от унижений. Марусю, таких, как она, переубедить ни в чем нельзя. Попытка объясниться

воспринимается ими как слабость, что еще пуще злобу их распаляет. Рабы, приученные к кнуту, жалости, милосердия не знают. Преданность рабская лишь маскировка, в ожидании часа для мести. Месть накапливается, как гнойник вызревает, и если черни завистливой позволить объединиться, она в клочья разносит страну.

У Пантелеймона Романова, репрессированного, погибшего в сталинских лагерях, отнюдь, кстати, не из аристократов, рабоче-крестьянской косточки, есть рассказ, короткий, но весьма выразительный, поучительный. Выстроен он на диалоге, без авторских комментариев, в них нет нужды.

Едут в поезде мужики, и один спрашивает другого, что ты-де пригорюнился, почему такой понурый? Тот поначалу отнекивается, но потом делится, так сказать, наболевшим.

Ну, пришли, значит, мы всем миром, всей деревней, к барину в поместье, чтобы он поделился честно, по справедливости, на крестьянской кровушке нажитым. А он, сволочь, и убечь успел, и все свое богатство вывез. Как, когда? Мы ведь давно уже его караулили, выжидали. Но припоздниились. Нечем оказалось поживиться. Шарим, вскрываем полы, ищем тайник – ничего! Только деревья в кадках, идолы каменные понаставлены, мы их, конечно, с досады, топорами, молотками, картины – в клочья, книжки, ужас книжек сколько, повсюду, в костер. А сокровища, богатство-то где? Надо же, издевались, и теперь издеваются, дармоеды, над нами, тружениками, над простым народом!

Слушатель, полностью с рассказчиком солидарный, закручинился тоже: хитрющие они, баре, завсегда обманут мужика.

Да, не случайно Пантелеймона Романова уничтожили в энные годы. Ведь он на что замахнулся, на святая святых, основу основ – классовую, выплеснутую из низов, ненависть, то есть зависть. Зависть именно черни, алчно ждущей безнаказанных погромов, крови, любой, но в первую очередь тех, кто на вершок повыше, на чуток краше, у кого в голове не сено с опилками, а в душе не клубок жалящих друг дружку змей.

Хотя П. Романов написал о дремучих мужиках: что с них взять? Что взять с лифтерши-Маруси? И, мол, будь у них хотя бы школьное, начальное, а еще лучше высшее институтское образование, они бы в угаре ненависти предметы искусства крушить бы не стали, и у молоденькой жилицы не рассчитывали бы обнаружить крысиный хвост. Хвост, действительно, вряд ли бы искали, но вот яростно, люто выискивать чужие недостатки – это запросто. Потребность осудить, заклеймить от уровня образования не зависит. А источник – все та же зависть,

убожество, изъян как бы уже врожденный, наследуемый генетически. Нация, для которой поговорка "у соседа корова сдохла – пустячок, а приятно" и прежде, и теперь актуальна, цивилизованного общества не построит, все всегда будет получатся наперекосяк

Для такой нации свобода – это прежде всего возможность облить безнаказанно другого, других помоями, плюнуть на лысину бывшего начальника, разрушить не ими построенное, пониманию недоступное, – короче, свести счеты с теми, кому прежде опять же завидовали. Привилегиям, успеху, положению, всему, чего сами достигнуть не смогли.

Но отнятое в грабеже уплывает из рук захватчиков, богаче, благополучнее их не сделав.

Опять кто-то окажется удачливее, успешнее, вновь распаляя неутолимую, ненасытную зависть толпы, в очередной раз обманутой, а точнее, себя самою обманувшую. Справедливой, равной дележки не было, нет и не будет. Это иллюзия, каждый раз большинству приносящая разочарование, запоздалое отрезвление. Выясняется, что стало не лучше, а хуже. Именно большинству.

ИСПОВЕДЬ ГУЛЛИВЕРА, ПОПАВШЕГО В ПЛЕН К ЛИЛИПУТАМ

В этой книге все удивительно, и то, что она писалась с 1918 года по 1987 год, то есть шестьдесят девять лет. И что автор ее по своему происхождению, воспитанию, вере, принципам подлежал выкорчевыванию в ту эпоху, когда имел несчастье родиться, а не просто выжил, но и прославился, вошел в когорту мировых знаменитостей.

Еще удивительней, что уже после его смерти рукопись, а точнее блокноты, листочки, обрывки, клочки бумаги, хранились в чемоданах почти двадцать лет – и вот держу в руках замечательно, с безупречным вкусом изданный том, только что появившийся в санкт-петербургском издательстве «Искусство», и все еще не верю, неужели вправду сбылось?!

К этой книге у меня особое отношение: я знаю, хорошо знаю, что ее могло не быть, и не только при советской власти, что обосновано, понятно, но и при той, что называет себя демократической.

Александра Михайловна Вавилина-Мравинская, вдова, наследница великого дирижера, в предисловии к книге, названной "Записки на память", упоминает, что наше с ней знакомство произошло в июне 1991 года, когда я, тогда корреспондент газеты "Советская культура", приехала в Ленинград, в то время еще Ленинград, чтобы взять у нее интервью. И обнаружила клад – те самые дневники Евгения Александровича, что вот сейчас – только сейчас – обнародованы.

То был разгар гласности, пик ее эйфории, и, находясь в состоянии той же, всеобщей лучезарности, не сомневалась, что после публикации моей статьи, размером с газетную полосу, да еще с уникальными фотографиями, выдержками из дневников, наша либеральная, наконец-то избавившаяся от коммунистического надзора общественность, с восторгом, трепетом станет просить Александру Михайловну сделать принадлежащее ей сокровище достоянием нации, образованной, считалось, как пчелы, падкой на культурный нектар, взыскующей, несмотря ни на какие препоны, запреты, правды.

Мне казалось, что счастье, ошеломление, мною испытанные в скромной квартире Мравинских на Петровской набережной, в соприкосновении с личностью такого масштаба, разделят тысячи, миллионы – мы не отучились еще в те года, в оптимистическом дурмане, мыслить глобально – но, как выяснилось, обманулась и

насчет своих соотечественников, и по поводу в очередной раз нам обещанного светлого будущего.

Дневники Мравинского изданы тиражом в три тысячи экземпляров – раритет. Смели ли его сразу с прилавков? – не знаю.

Александра Михайловна в том же предисловии вспоминает, как весной 2002 года я ей позвонила уже из Америки. Цитирую: "Все вы преступники! Не удосужились за все эти годы опубликовать…" – справедливо расстреливала она (то бишь я) меня из своего далека высоким, взволнованным голосом. Пообещав ей заняться дневниками, я собрала остатки душевных сил и 18 июля открыла самый «читабельный» из них. В этом же году издательство "Искусство – СПБ" предложило мне сотрудничество в работе над изданием дневников Евгения Александровича".

Ну ладно, допустим. Хотя Александра Михайловна совсем не тот человек, что позволил бы кому-либо, когда-либо разговаривать с ней на повышенных тонах. И излишней доверчивостью не страдала, плюс бритвенно острый язык и сила характера, подстать своему спутнику, с которым четверть века рука об руку прожила.

Еще не зная, не читая дневников Евгения Александровича, я попала под обаяние ее мощной, страстной натуры, оберегающей память мужа, как прежде его жизнь.

Между тем началось наше знакомство отнюдь не идиллически. Александра Михайловна сообщила, что раздумала давать интервью, не нужна ей дешевая шумиха, и готова-де оплатить расходы по моей командировке, но беседовать отказывается. И тут мне на выручку неожиданно явились кошки. Сколько их было, не помню, но много, показалось, что чересчур много, когда мяукающая стая окружила меня.

В дневниках Мравинского есть прелестные эссе о кошачьей породе, без капли сентиментальности, вообще ему не присущей, но с поразительной чуткостью понимания, уважения к этим маленьким тиграм – к их гордости, чувству собственного достоинства, свободе, не терпящей никакого насилия, пленения. Мне, убежденной собачнице, отношение к кошкам Мравинского, открыло другой, до того незнакомый, пленительный своей странностью мир.

Хотя кошки, встреченные на пороге квартиры, куда Александра Михайловна выказала твердое намерение меня не впускать, умиления вовсе не вызывали, но, преодолевая опасливость, даже, признаться, гадливость, стала их гладить, присела, они мгновенно на меня вскарабкались, и, близкая к

обмороку, я продолжала их ласкать, инстинктивно догадавшись, что только так можно вызвать расположение их хозяйки. И действительно, оттаяв, улыбнувшись, она позволила мне зайти.

Благодаря тем же кошкам я получила доступ и к дневникам, но лишь после чаепития на кухне, где любимцы Александры Михайловны, разгуливая по столу, лизали мою тарелку. Пройдя своего рода боевое крещение, я была допущена в святая святых, кабинет, где увидела чемоданы, заполненные рукописями.

И все. Неделю я прожила как во сне. Едва продрав глаза, неслась из гостиницы на Петровскую набережную, ничего вокруг не видя, не замечая, надиктовывала на магнитофон исписанные мелким почерком странички, с соблюдением всех знаков препинания – своеобразия стиля автора, не похожего ни на кого, ни в чем.

Впрочем, нет, ошибаюсь. Непохож он был на нас, нынче живущих, выросших в стране, где все ему памятное, дорогое, бесследно, беспощадно растоптали – сгубили человеческий тип, породу, к которой он принадлежал, и которая никогда, нигде уже не воскреснет.

Лица, как у Мравинского, больше не воспроизводятся, а ведь созданию таких образчиков предшествовал долгий генетический отбор, прежде чем удались, отлились, стали наследоваться из рода в род эти чеканные черты, высокий лоб, удлиненный овал, стать внешняя, отвечающая внутренней, душевной.

Фрак, когда он появлялся за пультом, сидел на нем как влитой, но и в телогрейке, кепке был элегантен. Дворянская «белая» кость, а с простым людом, деревенскими мужиками и сам себя чувствовал, и ими воспринимался своим. Сцена, когда он на сеновале наблюдает за спящим с ним рядом замурзанным мальчонкой, замлев в неудобной позе, чтобы его не потревожить, по пронзительной нежности, глубинной печали близка к бунинским текстам. Традиция погружения, слияния без усилий с народной толщей, в российской словесности на Бунине и оборвалась. Уже Чехов оказался от нее отчужденным, и его провидческие «Мужики» – другая эпоха, с «хождением» интеллигентов в «народ», высмеянном им беспощадно, как прекраснодушная ложь, маскарад, притворство. А вот в мироощущении Мравинского утраченное, казалось, навсегда, вновь и в последний, видимо, раз, возродилось.

Судя по фотографиям, щедро в книге представленным, в Мравинском еще ребенке, мальчике, юноше явственна печать благородства – клеймо вражеское, ненавистное для черни. Ему исполнилось четырнадцать лет, когда мир его предков, его собственный мир обрушился в одночасье. Но порода уже в нем

сказалась, и никакого обольщения, ослепления "новой явью" не мелькнуло, хотя куда более опытные, умудренные, из той же, что и он, культурной, привилегированной среды, на соблазны, заманы поддались. Блок, призывающий слушать "музыку революцию", после жестоко поплатился за привидевшиеся ему химеры. А вот подросток-Мравинский в 1918 году – тогда начаты его дневниковые записи, длящиеся всю жизнь – лаконично свидетельствует: "Утром стало известно, что грабили церковь! На Сенной убили батюшку". Всего две строки. А нужны ли тут комментарии?

"Ужас, что творится всюду: и дома, и в политике. Проснулся сегодня и так стало безрадостно". – другая запись. Юношеская открытость, повышенная, природная эмоциональность, безоглядная искренность стремительно изживаются, и на глазах буквально вырисовывается образ уже того Мравинского, которого современники по глухоте, толстокожести упрекали в холодности, скрытности. А ему пришлось, он был вынужден надеть такую маску, иначе бы не уцелел.

А какой был выбор? Бежать, как другие бежали, в нищету, обездоленность, бесправие? Хотя участь оставшихся трагичностью превзошла даже мытарства на чужбине: их заставили, принудили отречься от самих себя.

Уникальность личности Мравинского сказалась и в том, что попав, застряв, как в ловушке, в абсолютно чуждой ему действительности, своим миром, верой он не поступился. Но затаился. Удавка самоцензуры присутствует в дневниках, хотя писал он их исключительно для себя. Позволяет разве что вот такое, как бы чисто профессиональное: "Симфония Рахманинова – как человеческий документ небезынтересна; в этом смысле даже слегка перекликается с Восьмой Шостаковича: невеселые попытки подвести невеселые итоги. И в итоге – даже невозможность их подведения. (У Шостаковича – кульминация финала; у Рахманинова неожиданный эпизод джаз-гримасы тоже в финале)". И далее: "Пора сформулировать мою догадку о неосуществимости в искусстве утверждения окончательного, всеобъемлющего или синтезирующего; о невозможности поэтому создания финалов, содержащих все это, т. е. истинно и только «мажорные» финалы в большом искусстве, попросту говоря, невозможны; те, что – или «юны», или «боевы», или фальшивы, или поверхностны, или есть вопль о желании утверждать (Девятая Бетховена) самих себя. И это потому, что истинный синтез всегда трагичен (оптимистический пессимизм или пессимистический оптимизм), как заключающий в себе диалектически "утвердительное отрицание", или наоборот – и просто в «утвердительное» никак не

укладывающийся".

Ясно, прозрачно, объемно, не так ли? И разве только о музыке здесь речь?

Но прямых протестов, разоблачений, откровенного неприятия режима, власти в дневниках Мравинского не найти, они очищены от политико-публицистической шелухи, что может кого-то разочаровать. А кто-то, без тени стеснения, намека на осознание собственной недалекости, ущербности, просто их отшвырнет, назовет скучными. На форуме "Русского журнала" от 3 марта 2003 года и посейчас в интернете висит отповедь мне за статью "Господа издатели и крепостные писатели" главного редактора издательства «Лимбус» В. Топорова: "А вот мемуары вдовы Мравинского «зарубил» я сам – «зарубил» как идею: мне это неинтересно и пусть печатает тот, кому интересно".

Ну что же, тот, те, кому интересно, нашлись, причем сразу же после отказа «Лимбуса». Но странная оговорка Топорова, о "мемуарах вдовы", когда предложены «Лимбусу» были дневники самого Мравинского. «Неинтересно» – приговор. А если предположить, что главный редактор их вообще не читал, даже не заглянул? Тогда все на место встает, и оговорка понятна о "мемуарах вдовы". Бесцеремонность же, грубость заявленного – это уже атмосфера сегодняшняя, безнаказанно хамская. Советской власти нет, а вот менталитет, ею порожденный, благополучно здравствует.

Я чувствовала себя виноватой перед Александрой Михайловной, так как по просьбе того же «Лимбуса» явилась посредником между ней и издательством, поручилась, что обмана, надувательства не случится. Но когда она, вдохновленная, а, точнее, спровоцированная мною, приступила к титанической работе и завершила ее, расшифровав дневниковые записи, в «Лимбусе» ничуть не смущаясь, развернулись на 180 градусов, сделав вид, будто им что-то навязыют, ну нисколько "неинтересное".

И вот есть она, эта книга, реликт, памятник не только гениальному музыканту, но и пласту драгоценному нашей отечественной культуре, созданному такими, как он, оставшимися в меньшинстве, и все же удержавшими планку высоты помыслов и в собственной жизни, и в творчестве, что как подтверждается еще раз, связано единой пуповиной.

БЕЛАЯ КОБЫЛА

Институтскую практику я проходила в журнале «Огонек», где в то время ни перестройкой, ни гласностью, ни Коротичем еще и не пахло. Полнота власти принадлежала Софронову, чей обычно пустующий кабинет стерегла люто-злобная, хозяину до кишок преданная, одноглазая секретарша Тоня. Вторым же по влиятельности в редакции, хотя у Софронова имелись замы, был Игорь Викторович Долгополов, в подчинении у которого находились фотокорреспонденты, надо сказать, представленные тогда в «Огоньке» блистательно, и он же возглавлял отдел, в котором из номера в номер публиковались статьи о художниках, рассчитанные, как и журнал в целом, на массового потребителя.

Статьи сопровождались репродукциями на цветных вкладках, при убогости отечественной полиграфии смотревшимися на удивление прилично. Долгополов тут из кожи лез, орал с матюгами на подчиненных, добиваясь максимально возможного приближения к цветовой гамме подлинника. Предмет он свой знал, сам, говорили, когда-то неплохо рисовал, но стезя комментатора – популяризатора общепризнанных шедевров оказалась, верно, и надежнее, и прибыльнее его собственной живописи.

В период, когда образцы просветительского жанра, такие как "Путеводитель по Эрмитажу" Бенуа, "Образы Италии" Муратова, стали библиографической редкостью, да и Грабаря подзабыли, Долгополов застолбил в «Огоньке» нишу, в основном сам выдавая полосные материалы, но время от времени и других подпуская к кормушке: в «Огоньке» эпохи застоя гонорары платили очень даже хорошие.

В своих материалах Долгополов по отработанной схеме ловко дозировал важное, интересное ему лично с общедоступной развлекательностью, вычурными «красотами», пафосом и сентиментальными всхлипами, чуждыми, между тем, его жесткой, трезвой, с элементами деспотизма натуре. Когда я появилась в «Огоньке», он находился на гребне успеха, вершине фавора и в расцвете мужской привлекательности, прельстительной для женщин за тридцать. Фланировал по коридорам редакции в темно-синем, модном костюме, шелковых, стильных галстуках, с пробором, отлитым в зачинающейся, у брюнетов яркой, седине, и сверкающих штиблетах, казавшимися при его небольшом росте великоватыми.

Меня он не замечал, я надеялась, что и не заметит, осведомленная о его грубости, хамстве, отпора у сотрудников не

встречающих, так как все знали, что у Папы, как Софронова в журнале за глаза называли, о мафии в ту пору лишь читая в переводных детективах, Долгополов в любимчиках, приближенных.

Я не собиралась после практики задерживаться в «Огоньке» – специфическая атмосфера там улавливалась сразу, угодливо-подхалимская, с подловатым, предательским душком. А Долгополова побаивалась. Но как-то лютая Тоня сказала: "Зайди к Долгополову, задание у него, срочное". Захотелось ей, одноглазой, подмигнуть, но я сдержалась. Из приемной Софронова, сунув руки в карманы, слегка раскачиваясь, на встречных взглядывая из-подлобья, свирепо, направилась к кабинету начальника-грубияна, сопровождаемая хихиканьем. Удалась, значит, имитация его походки, повадки, но, увлекшись, не заметила, что и он за мной наблюдает, выжидая в дверях.

Писала я в те годы обо всем, на любые темы, театральные, криминальные, медицинские, ничуть не смущаясь своей дремучести, с бойкой наглостью, присущей не только неопытности, но вообще средней руки журналистам. Нравился сам процесс упоенного, буйного, самоуверенного, без тени сомнений, бумагомарания, и я не сознавала, что легкость, с которой удавалось за один присест выдать, что называется, на гора многостраничный текст, свидетельствует о нетребовательности, присущей посредственностям.

Задание, от Долгополова полученное, энтузиазма не вызвало, но и трудным не показалось. Подумаешь, о выставке в Манеже три странички накатать. Чтобы завтра было готово? Да пожалуйста!

Пока Долгополов странички эти читал, я, стоя рядом, изучала его безупречный пробор в прилизе редеющих, с сединой, волосах. "Та-а-ак, – услышала тягучее, – а на выставке вы были? Ах, были… Тогда интересно тем более. А как фамилия автора той картины, что вы столь живо описали, как изволили выразиться, с белой кобылой? Запамятовали? А где она висит, в каком зале? Тоже не помните? Ну так вот, мы сейчас вместе поедем в Манеж, и вы мне там белую кобылу предъявите. – Помолчал. – Если она существует".

В Манеже мы провели часа два, кобылы, черт ее побери, так и не обнаружив, и уж поизмывался он надо мной власть. Вот ведь садист, почему просто мое сочинение в мусорную корзину не выкинул? Выгнал бы из кабинета – ничего, я бы пережила. Так ведь нет, не пожалел времени, чтобы унижать, издеваться с оттяжкой. Ладно, вытерплю, но уж больше ни на какие заманы не поддамся, обегать буду его логово стороной.

Знать бы, что пройдут годы, и уже не к пожилому ловеласу, а к больному, вышвырнутому Коротичем из «Огонька» старику, буду таскаться с передачами в больницы, подмосковные санатории, хочу – не хочу, не имеет значения: он меня ждет.

Но это будет потом, я выйду замуж, рожу дочку, перестану печататься в «Огоньке», издадут мои первые книжки, и в отношениях с Долгополовым все деловое, практическое постепенно, незаметно исчезнет. Но прежде я напишу изрядное количество статей по его заданию, без капризов, предпочтений, как положено подмастерью, в которые он меня зачислил. Водил по музеям, вернисажам, мастерским художников, уча грубовато, бесцеремонно умению видеть, понимать, проникать в таинства изобразительного искусства.

Хотя я и жила, выросла напротив Третьяковской галереи, мои познания в живописи ограничивались альбомами, куда мой дед, Михаил Петрович Кожевников, вклеивал тусклые открытки с полотен близких ему по духу передвижников. Родители картинами не обзаводились, в нашей библиотеке книги по искусству отсутствовали, и ничто в ту пору не предвещало моей страсти к коллекционированию каталогов, редких изданий, выискиваемых, покупаемых всюду, где впоследствии приходилось бывать.

И эту страсть, и потребность отрешенно бродить по музеям заронил, пробудил во мне он, Долгополов. Ходил от картины к картине, бормоча, иной раз еле слышно, невнятно, то, чему я, стоя за его спиной, обязана была внимать, запоминать. Манера устных его разъяснений кардинально отличалась от его же писаний, адресованных так называемой широкой аудитории. Никакой воды, лапши на уши, «сюжетов», раскручиваемых им на страницах «Огонька». Общался со мной так, будто я знала, постигла азы ремесла, просидев положенное за мольбертом, вынуждая напрягаться, тянуться, и усталость мою, просто физическую, презирал.

Экскурсии наши сделались постоянными, внедрились в жизненный распорядок, а я не вникала – ему-то какая нужда меня наставлять, просвещать. И даже признательности не испытывала. Давал – я брала, поглощала, по обязанности поначалу, но после с вошедшей в привычку жадностью, пробудившимся аппетитом.

Что им двигало, побуждало к отдаче, выплеску сокровенного, дойдет, когда приведу дочку в Пушкинский, Третьяковку, Эрмитаж. И Лувр, музеи Венеции, Флоренции, Вены. А после она меня, в свою очередь, в Гуггенхайм, на вернисажи в салонах Челси, где уже не она – я стану ведомой, но в спайке нашей общей причастности, допущенности к пониманию без подсказок

внятной и вечной, веками признанной, и по сегодняшнему бесстрашной, смелостью, новизной пронзающей, чарующей красоты.

Белая кобыла – спасибо. Не будь ее, мною беспечно, халтурно измышленной, я могла бы так и остаться незрячей. Унижение, пережитое в Манеже, оказалось толчком к прозрению.

До сих пор памятно, как Долгополов, нарочито зевнув, на меня не взглянув, пошел к выходу, а я, как побитая собачонка, затрусила следом. Замерла на обочине, пока он ловил такси, уселся и вдруг, в окно высунувшись, проорал: "Ну что вы там, обедать едем, у меня спазмы от голода. – И водителю, с характерной, отработанной вальяжностью, скомандовал, – шеф, к "Метрополю".

Столик у фонтана ждал завсегдатая. Меню не понадобилось, официант уже летел с подносом: семга, икра, миноги под горчичным соусом, оливки, запотевший графинчик с водкой. Долгополов рявкнул: "Барышне бокал вина. – С досадой. – Белого, конечно!" Гурман. Вот так, значит, просаживает свои гонорары. Но что ему от меня-то надо?

Да ничего. А в сущности – все, о чем, он, пожалуй, и сам еще не догадывался. В опытном хищнике назревала потребность кого-то опекать. Случай, что именно мне он вручил неизрасходованную, невостребованную часть себя.

Незадолго до его смерти услышу от жены Игоря Викторовича, Лиды: "Ты ему, Надя, дочка". Лида ошибалась. Дочками обзаводятся в положенный срок, и упущенное тут не наверстывается. Матерый эгоист не дал Лиде родить, чтобы не отвлекалась, только его, повелителя, обихаживала. Их двухкомнатная, тесная квартира в помпезной, сталинской высотке на Котельнической набережной сияла опрятностью чрезмерной, нежилой, обезличенной, как гостиничный номер. Кого-нибудь Долгополов любил? Та же Лида как-то, убирая со стола, горько пошутила. "У Игоря после кошки Маши Надя на втором месте, а третье никем не занято". Долгополов никак на ее реплику не отреагировал. Мне бы за Лиду вступиться, но и я промолчала. Рабов, добровольных тем более, не уважают. Лида, лет на двадцать моложе мужа, ярмо подневольности безропотно приняла. Следовало, видимо, ее пожалеть, но интереса она не вызывала.

История их знакомства романтична. В фоторепортаже командированного в Киев корреспондента Долгополова привлек снимок девушки, выхваченной из толпы. Прелестной. Та-а-ак… Хозяин, как известно, барин. Корреспонденту вменяется задание: выяснить и письменно изложить, кто такая, имя, фамилия,

координаты. Сделано! Долгополов прибывает в Киев, с родней девушки знакомится, чин чином, солидно, предлагает руку и сердце, женится. Все, с романтикой закончено. Очаровательная, с серо-сиреневыми глазами Лидочка превращается в "Лидон, дай пирамидон, а лучше налей, дура, почему водка теплая?!"

Неинтересно. Никому. Им двоим, в первую очередь. Уныло, стыло. Он хамит, она глотает. Лидины кулинарные подвиги, вынужденное, насильственное, под кнутом выдрессированное гостеприимство, при посещениях их дома сопровождались неловкостью, за все годы так мною и непреодоленной. Стыдно было и то, что он не может, не хочет сдержаться, и что она все терпит, и что я при этом присутствую. Меня не стеснялись, подноготное не скрывали, вовлекая насильно в то, о чем я предпочла бы не знать.

Но уклониться от визитов к ним не получалось. Он стал прихварывать, слабеть, худеть, диагноз его недуга от меня тоже не утаили. Дочка? Ничего не поделать – взятое, принятое приходит срок возвращать. Болезнь его раздражительность обострила, присовокупив еще и подозрительность. Он будто боялся, что задолженное вернуть не успею. Однажды в летней, душной, пыльной Москве, полулежа в кресле, укрытый пледом, неожиданно предложил: "А не махнуть ли нам, Надя, в «Метрополь»? Но на сей раз ты меня приглашаешь, согласна?"

Конечно, согласна. Жду, пока одевается, ловлю у высотки такси, садимся, едем. Но тоска, такая тоска! А столик у фонтана тот же, и то же меню, миноги, семга, ему запотевший графинчик, мне белое, сухое. Но все по-другому. Как промелькнули быстро моя молодость, его жизнь. Он никогда меня прежде не хвалил, и теперь бы не надо. Болезнь притупила чутье? Не нужны мне ваши, Игорь Викторович, комплименты, я взрослая, совсем взрослая, настолько, что неприятное, тягостное в нашей сегодняшней встрече предвижу заранее.

И вот, за кофе, буравя меня почти прежним, настырно-въедливым взглядом, произносит: "Ты ведь Коротича знаешь, еще по Киеву, да? Можно ему доверять? Он обещал, что оставит меня в редакции. «Огонек», понятно, изменится, но меня это, мол, не коснется. Поговори с ним, ладно? Он тебе скажет правду?"

Коротич? Правду? Да никому, никогда. Игорь Викторович, ну что же вы, с вашим-то опытом… Софронов что ли правду говорил? Правду? От них? Да прежде чем их в кресло начальников усадят, о правде, о честном слове, о кому-то что-то обещанном они уже и понятия не имеют. Сказал-забыл. Потому и сказал, чтобы забыть. Неужели не уяснили?

Лица разные, а методы одинаковые, не мне же вам

разъяснять.

Насупился, помрачнел. Отказ мой в посредничестве с Коротичем обидел. Неблагодарная Надя, ужином в «Метрополе» с графинчиком водки с благодетелем щедрым, многолетним расплатиться что ли решила? С таким вот выражением он на меня смотрел, а я ни оправдаться, ни объясниться не сумела.

Хотя чего проще: власть была – власть ушла. Чем давалась полнее, тем исчезала бесследней. Тот, кто с властью свыкся, а потом лишился, хиреет, чахнет как безутешный, оставленный любовник. Кроме власти ничего что ли нет? Для таких – нет. Не семейный дом, а служебный кабинет вмещал главное, ради чего, выходит, стоило жить? Жить, чтобы повелевать, на подчиненных орать, отказывать просителям, не представляя, забыв напрочь, что и тебе однажды могут отказать. Во всем.

Существуя так долго под сенью одиозности Софронова, Долгополов обречен был рухнуть под мрачной глыбой, став тенью своего покровителя. Коротич, да и никто другой, любимца прежнего хозяина рядом терпеть бы не стал. Изощренность же Коротича в том сказалась, что Долгополову выписали новый, в коленкоре, почетный как бы пропуск в журнал, и он мне его гордо продемонстрировал. Понадеялся на что? Ну пропустили бы его вахтеры, вошел бы в лифт, поднялся на пятый этаж, прошелся бы по коридору до своего, то есть бывшего, кабинета? Так лучше сразу на кладбище, в крематорий, и дымом через трубу.

Но, надежда, как известно, оставляет человека последней. И вот терзания такой химерой, вместе с унижением собственной раздавленностью, самое страшное, что еще предстоит.

За годы власти Долгополов обидел отказом стольких, что некого, не о чем оказалось попросить. Власть выкашивает близь стоящих, как безглазая смерть – скелет с косой. Утратив власть, ты, оказывается, никому не нужен. Смириться? Но такой совет может дать только тот, кто власти никогда не имел и не хотел. Власть ведь сжирает изнутри, а для смирения тоже нужна воля, хотя бы, чтобы смириться пожелать, то есть перевоплотиться внутренне. И Долгополов сумел. Вот тогда мы с ним действительно сомкнулись.

Там же, в музеях, у тех же картин. Уже не работодатель – спутник, усталый, физически немощный, но остатки сил собирающий, чтобы восхищаться, любоваться тем, что вправду вечно, нетленно. Не говор – шелест: "Надя, ты посмотри, ну как, можно ли это словами выразить?" Дошло, и до него дошло: нельзя. Стоило жить, чтобы понять. Прозреть. И замолчать. Вот так, таким я его навсегда запомню. С благодарностью.

Тексты, написанные по его заданию, опубликованные в

софроновском «Огоньке», оплаченные по тем временам отменно, остались на чердаке дачи в Переделкине, сваленные в картонных коробках, как хлам, мне больше ненужный, неинтересный. А вот другое, как бы сопутствующее, мною недооцененное, оказалось капиталом, ни при каких поворотах судьбы не растрачиваемым, и даже напротив, как раз при ее ударах наращиваемым, накапливаемым. Сила настоящего, подлинного искусства еще ведь и в том, что обостряя, обнажая сердечную, душевную нашу боль, оно одновременно и утоляет ее, лечит.

В семидесятых, в Москве, в Пушкинском, открылась экспозиция шедевров из Нью-Йоркского Метрополитена. Народу! Многочасовые очереди. Долгополов провел меня через служебный вход. Снисходительно небрежный, круто властный, ядовито насмешливый, по лестнице поднимался на меня, как обычно, не оглядываясь. Нуждался, значит, в такой вот броне, по инерции скорее. И я по инерции за ним плелась, с покорностью, правда, уже несколько преувеличенной, но если ему так удобней, пожалуйста, не возражаю.

Эль Греко, Веласкес, Гойя… Рембрандт, Распятие Христа. Оба замерли. Он, внезапно: "Ты что-то сказала?" Я смутилась, врасплох он меня застал. Раздраженно, гневно: "Нет, ты сказала, ты правильно сказала, и главное, ты увидела. А ну-ка повтори!" Но я промолчала.

Пройдут годы, Метрополитен-музей обживу как дом родной. Каждый раз, приезжая в Нью-Йорк, останавливаясь в студии дочки на Манхеттене, первым делом туда, по лестнице, на второй этаж, на свидание с ними, ставшими такими близкими, дорогими, родными. Здравствуйте, Веласкес, Рембрандт, Мемлинг, Де Ля Тур, Кранах, Брейгель, как поживаете, скучали без меня? Я без вас очень. С дочкой мы ходим по галереям, где выставляются современные авторы-новаторы, а вот здесь нравится одной побыть. Постоять, помолчать, замечая иной раз, что бурчу что-то невнятное, может быть, странноватое. Вы слышите, Игорь Викторович? Ведь это я вам. Зря вы, выходит, беспокоились, что не верну задолженное. Вы рядом. Вот и все.

ОВЦА В ВОЛЧЬЕЙ ШКУРЕ

Как-то мне предстояло путешествие с длительным перелетом, я-то и коротких не люблю, а тут много часов над океанской бездной – представить только, уже начинало мутить. Приятель, знающий мои страхи, принес книжку в пестрой, не внушающей доверия обложке, сказав: откроешь – не оторвешься. Это что, детектив? – я спросила. Он ответил: это – жизнь.

И оказался прав. С момента взлета и до посадки, ни разу не взглянув в иллюминатор, забыв при падении в воздушные ямы вскрикивать, я от книжки не отрывалась, последние страницы дочитывала уже у таможенного контроля.

Называлась она "Бандиты в белых воротничках", с подзаголовком "Как разворовывали Россию", издательство ЭКСМО. Автор, А. Максимов, на изысканность стиля не претендуя, сдержанно, подчеркнуто бесстрастно, исследовал механизм афер, связанных с приватизацией государственной собственности. Речь шла не о ворах в законе, не о киллерах-отморозках, а об очень приличной публике, что называется, уважаемых членах общества, да просто о его верхушке. Докторах наук, академиках, дипломатах, высокопоставленных чиновниках, а также о знаменитостях в иных, литературно-артистических сферах.

Меня увлекла не только сама по себе тема – к концу девяностых она стала отнюдь не нова – а то, что среди списка обретших уже оперное звучание фамилий – Гайдар, Чубайс, Кох и прочих того же ряда – обнаружила своих личных знакомых, вхожих в наш дом. Батюшки-святы, вон чего оказывается! Коттеджи, купленные за бесценок, дармовые поездки с семьей в экзотические страны, ну и всякого рода ублажения, одолжения получались, принимались людьми, с которыми я общалась, ни о чем подобном не подозревая…

Хотя с какой стати я негодую? Ну выпал им шанс, обстоятельства так сложились, а человек, как известно, слаб, падок на соблазны. Правда, к такой мысли я пришла, прочитав недавно другую книгу, по жанру совершенно отличную от "Бандитов в белых воротничках", написанную с блеском, с юмором. Рекомендую всем. Она называется "Здесь было НТВ", автор Виктор Шендерович, издательство "Захаров".

Я не видела знаменитых телепередач Шендеровича на экране ("Куклы", "Итого"), потому что, когда они появились, меня уже не было в России, но обаянием его личности текст книжки насыщен. Помимо таланта, трезвости мышления, видно, что автор

совестлив, честен, не пуглив. Без деклараций, без показухи, а органично, генетически. Но, как мне кажется, самое главное, книжка эта, небольшая по объему, дает ясное представление, как изменились страна и люди за последние десять лет.

Уже в начале своего повествования Шендерович дал картинку-метафору: из окна своего дома он, автор, видит мусорные контейнеры, возле которых "всегда можно обнаружить нескольких российских граждан, ищущих, чего бы надеть или поесть. Это, как правило, абсолютно честные люди. И уж точно не бизнесмены". Далее: "Всякий же, кто, отойдя от этого контейнера, вступил хоть в какие-то рыночные отношения в сегодняшней Российской Федерации – заведомо является преступником".

Вот так. Без иллюзий. Соответственно воспринимается и Гусинский, создатель «Медиа-моста» и «НТВ». Шендерович признает, что Гусинский "не ангел". Да уж! Вместе с тем, на фоне других олигархов, преследованиям властей не подвергшихся, выглядит привлекательнее, достойнее. А на другом фоне? Или такового больше нет? Куда же он делся?

Шендерович пишет: "К людям, исповедующим коммунистические идеалы, я отношусь с уважением и симпатией, замешенной на ностальгии. Коммунистом был мой дед, добровольцем пошедший на фронт и погибший под Ленинградом в ноябре сорок первого; коммунисткой была бабушка, нищенствующая с тремя детьми после ареста мужа. Они верили, что мир можно в короткий срок изменить к лучшему, они были чувствительны к несправедливости. Они в жизни не взяли чужой копейки, да и своих за жизнь им перепало не особенно… А сытые обкомовские дяди, в процессе раздела имущества условно разделившиеся на «коммунистов» и «демократов» – ничего, кроме брезгливости, у нормального человека вызвать не могут".

Еще цитата: "…коварство приватизации по-русски состояло в следующем. Общество наивно полагало, что отцы-реформаторы хотят разделить все на всех. В действительности же они с самого начала решили разделить кое-что среди кое-кого. Так, чтобы ни населению, ни тем более госказне ничего не досталось". Как, стыкуется? Между тем это уже не из "Здесь было НТВ", а из "Бандитов в белых воротничках". Точки соприкосновения у столь разных авторов, как В. Шендерович и А. Максимов, подтверждают, что ими написанное не домыслы, не догадки, а явь. Но чтобы она проступила в российской действительности вот с такой четкостью, понадобилось время.

Вернемся к началу девяностых. К их эйфории. Ну у кого тогда не кружилась голова? У меня тем более, при ослабленном девятилетним отсутствием в стране иммунитете. Вынуждена об

этом напоминать, так как все же не врожденной дефективностью вызвана была моя дурацкая, как мне сейчас кажется, решимость бросаться на ветряные мельницы, с шашкой картонной наголо.

Итак, девяносто второй год. На его излете, в конце декабря, как новогодний подарок, мне в руки, скажем, случайно попал документ – копия договора о совместной деятельности, в те, еще с флером приличий, времена, весьма впечатляющий. Согласно этому договору Российская государственная телерадиовещательная компания «Останкино», в лице Генерального директора по международным связям, на тот момент вновь ставшего зампредом, В. Лазуткина, директора Телерадиофонда Ю. Корнилова, предоставила исключительные права на использования всего архива звуко-видео записей американской корпорации U.S.S.U. Arts Group, Inc. Договор был подписан 22 января 1992 года, но скромно замалчивался. Слухи о нем просочились, но не с нашей, а с американской стороны: Тристан Дел, председатель U.S.S.U. Arts Group, Inc., не смог сдержать удовлетворения проведенной операцией, и о его ликовании сообщила газета "Лос Анджелес Таймс". Газетная вырезка прилагалась к копии договора.

Думаю, все знают, но все же хочу напомнить, что архив Гостелерадио – сокровищница, собираемая более полувека. Сотни тысяч фонограмм, документальных съемок выступлений выдающихся артистов разных поколений. Для российской культуры – Алмазный фонд. И вот, соответственно договору, выходило, что доступ к нему получить можно будет только обращаясь за океан, к Тристану Делу и Сиднею Шарпу. Абсолютные права на распоряжение архивом американской корпорация предоставлялись на семь лет. Кроме того она имела право выдачи лицензии третьим сторонам, и тут срок не оговаривался: навсегда, что ли?

Конечно, в сопоставлении с тем, что в дальнейшем произошло, и в каких масштабах, какие капиталы утекли и продолжают утекать из страны, всего-то архив, всего-то звукозаписей – пустяк, мелочь. Но тогда, при начальных, боязливых этапах «прихватизации», такая «мелочь», обнаружившись, воспринималась иначе, вызывала другую реакцию. Журналистское, как это называлось, расследование еще не превратилось в пустой звук. Как и общественное мнение, и такие понятия, как репутация, долг, честь.

Теперь бы я не ввязалась в такую историю, не стала бы ворошить муравейник, раздувать кадило, ввязывать столько людей, да никто бы и не откликнулся. И редактор газеты, где тогда работала, вряд ли сказал бы: как напишешь, сразу ставим в

номер, успеешь ко второму января? А было тридцатое декабря.

Смешно, нелепо, как тогда встретила Новый, 1993 год. Дом полон гостей, а я, только отзвучали куранты, засучила ногами от нетерпения засесть за компьютер. Но никто на мои судороги внимания не обращал, пока все не съели, не выпили, не оттанцевали, и лишь на рассвете, когда за последним из гостей закрылась дверь, наконец получила возможность удовлетворить свою страсть. Ну не дура ли?

А прежде, вместо того чтобы, как приличествовало хозяйке, стоять у плиты, висела на телефоне, обзванивая десятки людей. Музыкантов, звезд, виртуозов, многих из которых знала еще со школы, Центральной музыкальной при консерватории, о других писала, так что врывалась по их домашних номерам нельзя сказать что с улицы. О договоре, мною нарытом, никто из них не знал. Не знал и тогдашний, на момент его подписания, глава «Останкино» Е. Яковлев. Не оповестили зампреда, курирующего радиофонд, А. Тупикина. В полном неведении был и директор Государственного Дома радиозаписей И. Леонов. И редактор студии развлекательных программ «Останкино» В. Куржиямский.

Кстати, когда меня, разнуздавшуюся разоблачительницу, пригласили, то бишь вызвали на «ковер» к зампреду Лазуткину, и я ожидала аудиенции в предбаннике его огромного, начальственного кабинета, вдруг забегали секретарши. Выяснилось, что Куржиямский, при нашей беседе обещавший присутствовать, не придет. Никогда и вообще никуда. Я с ним условилась об этой встрече накануне, в 8.30 утра, 26 января. Но угораздило его выйти прогуляться с собачкой, и в подъезде собственного дома он был убит. Такой вот звоночек. Черед Листьева еще не настал. И я, балда, не увязала никак свою расследовательскую прыть и эту смерть. Казалось, совпадение. Ой ли?

Увы, без Куржиямского, в кабинете Лазуткина со стороны «Останкино» присутствовали он сам, Анатолий Андрианов, Юрий Корнилов, юрист Виктор Жарков, хотя уже не как недавний сотрудник «Останкино», а представляющий интересы американской корпорации, работающий у Тристана Дела, еще какие-то дамы с блокнотами. А с другой, как единственный оппонент, я. Выложив перед собой диктофон, задавала вопросы, полагая, что ну очень каверзные. Вроде того, что в свое время, когда Гостелерадио попыталось купить у компании Си-би-эс кассету с концертом Гилельса, те такую сумму заломили, что пришлось отступиться. А теперь свой же, то есть государственный фонд отдают скопом, как валовый продукт. Всего Гилельса, Когана, Рихтера, Ойстраха – 800 часов звучания – уже передали

американской стороне. И какой же должен быть куш, если, к примеру, минута звучания в эфире пианиста Николая Петрова расценивается на телевидении (по тогдашним, на 1993 год ценам) в 25 тысяч рублей, – столько было запрошено для готовящейся о нем телепередаче. Ну и дальше, в том же роде, ликуя, что припираю останкинское начальство к стенке.

А теперь вот всплывает цепкий, изучающий взгляд Валентина Валентиновича Лазуткина. Он – не Гусинский, но смышленость, деловую хватку тоже проявил вполне. Нынче владеет акциями телекомпании в очень весомой, серьезной доле. А другой зампред, А. Тупикин, мой единомышленник, соратник по борьбе, существует на пенсионное пособие. Знаю, ведь когда звонила ему из Штатов, сказал в сердцах: "Я старый дурак!" А я?

Впрочем, какая могла быть у меня дилемма? Получить взятку и заткнуться? О, тут нюансы. Взятку не всякому дают. И у дающего, и у берущего сработать должно тончайшее чутье, причем взаимно. Мне – не предложили. Лазуткин, думаю, не просто так меня изучал, а оценивал, прикидывал, на сколько, на какую сумму тяну. И решил: бесполезно, нет смысла. Пожалуй, был прав. С облегчением улыбнулся. Пожал мою честную руку и из кабинета выпроводил. Чутье, – он был из комсомольцев, так начинал карьеру, – не подвело. Как и Тристана Дела, американского гражданина, но с нашими, российскими корнями.

С ним я встретилась в гостинице "Президент отель", бывшей партийно-номенклатурной «Октябрьской», где он снимал апартаменты. Объяснял, что понятия чести для него превыше любой материальной выгоды. Так он воспитан, такой у него менталитет. Изначально, еще до заключения договора, имел намерения учитывать права исполнителей в соответствии с международной практикой. Но почему же об этом ни полслова в подписанном им документе? Обиделся, разволновался. Да как я могу, в чем его, благороднейшего, подозреваю?! Он ведь и фонд в помощь молодым дарованиям задумал, и наследниками умерших музыкантов озабочен. А прежде всего для него важна культурная, эстетическая перспектива данной акции. Западный мир получит широкое, как никогда, представление о русской исполнительской школе, узнает имена, прежде известные лишь узкому кругу специалистов. Это будет антология, называющаяся "Золотые сокровища". Золотые, при конвертации в доллары? Охотно верю. Общение с Делом происходило уже при двух включенных диктофонах, у него свой, у меня свой. На прощание улыбкой меня одарил, очень похожей на лазуткинскую. Интересно, теперь интересно, что они оба про меня думали? Хотя догадываюсь. Впрямую высказался редактор газеты, когда я ему принесла

очередной, на ту же тему, материал

Прочел и взглянул на меня светлым взором гэбэшника средней руки, перечеркнувшего свое прошлое после первого путча. "Ну и какая тут твоя доля?" – услышала. Следовало так же прямо, чистосердечно и ответить. А я, как он понял, слукавила, изобразив очумелость. "Повторяю вопрос, – сказал уже с раздражением. – Ведь не хочешь же ты меня уверить, что стараешься только для публикации вот этих страничек?" И бросил мне текст через стол.

Выскочила, как ошпаренная, из его кабинета. Текст опубликовал Третьяков в "Независимой газете". Грустно, но ведь на самом-то деле независимым в тех обстоятельствах не был никто. Разве что те, у мусорных контейнеров, на которых из окна смотрел Виктор Шендерович.

Вот так все закольцевалось. И думаю, что мое место на родине уготовано было именно там, вот рядом с такими, "не бизнесменами", по выражению того же Шендеровича. Или… Но картонная шашка сломалась бы точно, знаю наверняка.

ТУСЯ И ДАНЯ

Стою в подъезде писательского дома на Красноармейской и вроде как сержусь на тех, кто держит лифт наверху: что ли мебель грузят? Но на самом деле довольна оттяжкой. Мне неприятно мое волнение, а еще больше то, что будет потом.

Звоню в дверь, одновременно надеясь: нет никого дома! Но напрасно: слышу стук каблуков, и вот она, Туся, приглашает меня войти. Неловко, за что на себя злюсь, раздеваюсь, вешаю пальто на вешалку. Она ждет. Я на нее не гляжу. Знаю, представляю знакомое, неизменное: пушистые, легкие волосы, уложенные низко в валик, отглаженная шелковая блузка, прямая юбка, открывающая стройные ноги в туфлях на очень высоких каблуках – страсть маленьких, грациозных женщин. Глаза фиалкового оттенка, влажные, с тем выражением, что, верно, «носили» в эпоху ее молодости.

Сейчас ей за шестьдесят, мне восемнадцать. И я в ее абсолютной власти. Иду, как баран на веревке, обреченно, по коридору, уставленному книжными полками, к ее комнате, где меня ждут унижения. Мельком в сторону кошусь, туда, где живет ее муж, Даня: там бы остаться. Он на проигрыватель «Дюаль» поставил бы пластинки Верди-Монтеверди-Перголези, вздыхая: как хорошо, ведь хорошо, Надя?!

"Дюаль" он привез из Копенгагена, где встречался с Нильсом Бором, работая над книгой о нем. Тогда я не знала, – недавно прочла – что он, Даниил Семенович Данин, был самым верным из немногих, кто дольше всех навещал в больнице Ландау, так и не оправившегося после автомобильной катастрофы.

В его кабинете меня манили всякие штучки-дрючки: особенные карандашики, ластики, пепельнички, разная бесполезность, которую он с удовольствием демонстрировал. А над диваном повесил красно-синий спасательный круг, и когда я восхитилась этой деталью интерьера, он, очень довольный, воскликнул: вот, Туся, видишь, Наде понравилось, а ты возражала!

В Тусиной комнате – ничего лишнего. Тахта, узкая, покрытая пледом, с напрашивающимся определением – «девичья». Шкаф с книгами на французском. Круглый столик и кресло, сидя в котором она меня и мучила.

Тогда ее имя, Софья Дмитриевна Разумовская, было известно всем, мало-мальски причастным к литературе. С безошибочным чутьем она распознавала талантливое и в незрелом. Но это как хобби. А на хлеб зарабатывала тем, что редактировала, то есть

«доводила», а бывало, и переписывала многостраничные романы советских классиков, в грамоте не особо сильных. С подачи самого Главного Классика, Максима Горького, ценность литературных произведений определялась жизненным опытом авторов, все остальное считалось возможным легко наверстать с помощью таких, как Туся. "Всего лишь" интеллигентных, чей жизненный опыт во внимание не принимался, то есть как бы вовсе отсутствовал.

За годы Советской власти количество правоверной макулатуры доведено было до абсурда, но, может быть, единственное тут оправдание, что за парадным строем лауреатов всяческих премий притаился, сберегся слой, обреченный, если бы не такие вот «ниши», на вымирание.

Редакторы, корректоры, стенографистки, машинистки, секретарши, куда более образованные, чем их начальники, оказались носителями культурных традиций, которые режим поначалу желал на корню извести, а после решил использовать. Это они раскупали книжные новинки, передавали из рук в руки журналы, стояли в очередях в театральные кассы, заполняли Большой зал консерватории: к народу, названному советским, их потребности отношения не имели. Теперь это обнажилось со всей очевидностью.

Не знаю, в какой семье, среде родилась Софья Дмитриевна, намеков, даже туманных, я от нее удостаивалась редко, но ясно, что с победившим пролетариатом и она, и Даня мало имели общего. Диссиденты появились потом, этот же круг, по случайности уцелев при Сталине, доверительностью безоглядной не отличался. Во всяком случае, со мной Туся держалась в границах дозволенного и такого, что могло бы меня, дочь Вадима Кожевникова, «смутить», почти не допускала.

Тут, помимо осторожности, сказались и особые обстоятельства. Я родилась в сорок девятом, в тот же год отец стал главным редактором журнала «Знамя», и тогда же поднял голову антисемитизм: "дело врачей", кампания против "безродных космополитов" нацеливались на отстрел людей с определенными фамилиями, а таких – вот ведь устроились! – много оказалось в творческой, научной, артистической среде.

Отец принял сложившийся еще при Всеволоде Вишневском коллектив. Но условия стали другие, и ему «порекомендовали» от балласта избавиться: чересчур, мол, густо. Секретарь – Фаня Абрамовна, в отделе публицистики Нина Израилевна и Муля, то бишь Самуил, а в прозе Туся. Папа не дал растерзать никого. Из Леонтиевского переулка, где вначале «Знамя» располагалось, всех доставил по новому адресу, на Тверской бульвар. Всех их помню

и школьницей, и студенткой.

Даниил Данин, Тусин муж, оказался в те годы без работы как "безродный космополит": кормильцем в семье осталась она, ворочая поденщину, от которой, могу представить, как ее тошнило. С моим отцом у нее ни по духу, ни по вглядам близости не было. Он встал на ее защиту, но они оставались друг другу чужими. Совмещать признательность и подневольность тяжко давалось с ее гордостью. И лишь выдался шанс – Даню снова стали печатать – она из «Знамя» ушла. Нигде не служила, редактировала рукописи, но уже не по принуждению, и опекала молодых, подающих надежды, в том числе и меня.

Моя первая публикация в журнале «Москва» – после выхода там "Мастера и Маргариты" ставшим очень уважаемым – было ее рук делом. Помню только названия: "Я хочу водить троллейбус", "Моя зеленая замшевая кепочка", еще что-то, из чего она слепила цикл и вручила Диане Тевекилян, заведующей в «Москве» отделом прозы. После определяла мои рассказы в «Юность», с главным редактором которой, Борисом Полевым, папа – кто их знает, почему? – давно рассорился.

Допускаю, что в ее отношение ко мне вплелись отголоски разногласий с моим отцом. Как-то я сообщила, что к моим первым шагам на литературном поприще он отнесся без всякого восторга, сказав, что я ничего не умею и не пытаюсь учиться, а главное абсолютно не знаю реальную жизнь. На фразу про реальную жизнь Софья Дмитриевна отреагировала с яростью, меня удивившей. "Ты слышишь, Даня, – кричала – опять губят, уничтожают ростки. Их "реальная жизнь", вот она уже где, как кость в горле!" К тому, что меня в этом доме поощряют, я приспособилась быстро, но пришлось, увы, отвыкать.

Что ее поначалу пленило? Я писала о музыке, о том, как вплывает у Шопена в фортепьянном концерте фраза, по определению Пастернака, больным орлом. И прочее, в том же духе. Никакого сюжета, ничего, что соответствовало бы тогдашним требованиям к пишущим – не из бунтарства, а по незнанию. Ей, уставшей от официальной рутины, показались, видимо, обещающими эти признаки новизны.

Но наступило разочарование, для меня ошарашивающее, убийственное. Прочитав, что я в очередной раз принесла, она холодно меня оглядывала: а волшебство где же, Надя?

И спустя время снова, уже с раздражением: нет волшебства!

"Волшебством" этим она меня доканала. И свои первые «опусы» я люто возненавидела, потому что она постоянно ставила их в пример: там-де «волшебство» было, а теперь… Получалось, выплеснутое случайно, одним махом, удалось, а то, над чем я

усердствовала, годилось лишь для мусорной корзины.

И еще был пункт, ставший для меня нестерпимым. Сидя в кресле, покачивая стройной ногой в туфле на высоком каблуке и насмешливо улыбаясь, вопрошала: "Ну а как у тебя с романами? Ты влюбилась в кого-нибудь наконец?"

"Наконец!" – как пощечина. И тут я не соответствовала тому, что она от меня ожидала: легкости что ли? Женщины ее склада отстаивали элементы игры даже тогда, когда к шуткам, розыгрышам ничто не располагало. Но, может быть, так выражалась их верность породе, к которой они принадлежали, но не получившей продолжения в молодых.

К Дане она обращалась с повелительно-капризными интонациями, манерными у любой другой, а у нее чарующими. То, что он ее моложе, не приходило в голову. А вот что и теперь влюблен, ясно сразу. Их пара ладностью, стильностью, не могла остаться незамеченной. Он – высокий, она – маленькая, но, вздернув подбородок, глядела на него будто сверху вниз. Меня завораживало отсутствие будничности, приземленности в их отношениях после долгой совместной жизни. Сколько тут вложено усилий, воли, ума, оставалось за кадром.

В круг их ближайших друзей входили Маргарита Алигер, Борис Жолтовский, Галина и Владимир Корниловы, семья Германов. Когда Алексей Герман снял фильм "Двадцать дней без войны", услышала от Софьи Дмитриевны: "Впервые сказано о нас, нашем поколении". Они были примерно того же возраста, что и мои родители, но поколение – другое. Это я уже могла понять.

Порядочность, неподдающаяся растлению ни соблазнами, ни угрозами. Отсутствие пошлости в чем-либо, как внешне, так и внутренне. И что-то неистребимо молодое в способности как увлекаться, так и огорчаться. Ни тени назидательности: на меня, например, они как бы и не влияли, о чем сожалею. Хотя, возможно, ошибаюсь. Недавно в своей библиотеке уже здесь, в Америке, обнаружила книгу Бориса Агапова "Взбирается разум", надписанную Даниилу Семеновичу и застрявшую у меня. И рассказ раннего Андрея Битова «Пенелопа» попал из рук Софьи Дмитриевны. А главное – атмосфера их дома, лечащая, как горный воздух. И вот от таких людей я сама, добровольно ушла.

Пропала, и все. Писала, печаталась, и не хотелось снова терзаться своей несостоятельностью под прицелом влажных, фиалковых глаз. Но однажды раздался телефонный звонок: она, Софья Дмитриевна. Голос показался незнакомым, напряженным: "Ты что же совсем забыла нас?" В ответ мои мямленья. Застала врасплох, я вправду забыла, постаралась забыть. И дальше: "Ты, возможно, уже не нуждаешься в советах, но так, без цели, трудно

было зайти?! Да просто даже набрать наш номер!" Пауза. Почудилось, верно, – не могло ведь такого быть?! – будто она слезы сглотнула…

И вдруг я прозрела. Неужели она ждала? Неужели и шелковые блузки, и туфли на каблуках надевались ради меня? А я не только бездарность выказала, но и бессердечность, не сообразив, не уловив, что в этом доме, выходит, любили меня?

А что упущено, не восстановимо. Да, примчалась на следующий же день. Тот же подъезд в ожидании лифта. Стук каблуков за дверью, после звонка. Ее комната, она в кресле. Но ушло то, что она называла «волшебством». Выходит, это было, существовало, чему я не поверила. Бог с ней, с литературой, – но в жизни, что ценнее, важней. Мне протягивалось, а я отвернулась.

А потом я была на ее похоронах. В автобусе, едущем в морг, рядом с Даниилом Семеновичем стоял, держась за поручень, Алексей Герман, о котором я столько слышала, но увидела впервые. Впервые многое еще предстояло, но уже без волшебства.

НУ КТО ЖЕ НЕ ХОТЕЛ ОТКРЫТЬ СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО

Не возражайте, не поверю, или запамятовали: тогда, в разгар перестройки, при возникновении первых кооперативов, открыть свое дело захотели очень многие, если не большинство. И тех, кто в профессии своей состоялся, имел вроде как твердый статус, тоже потянуло, соблазнило, не заработки даже, а вот то, в чем нам, советским гражданам, было отказано от рождения и, как предполагалось, навсегда: почувствовать себя независимыми хозяевами и своего дела, и самих себя. Но опять же у большинства грезы эти не реализовались. Теперь известно, почему.

Вспоминать нас, преисполненных в тот период иллюзиями, и смешно, и грустно. В конце восьмидесятых, находясь в Женеве, вижу как сейчас, лица впавших в ажиотаж приятелей – сотрудников международных организаций. Заграница, Запад, недавно еще вожделенные, показались вдруг захолустьем, парализующим предприимчивость, отдаляющим удачу, которую сейчас там, на родине, надо бы хватать за хвост. Не подозревая о раздаче, полным ходом запущенной, государственной собственности, делились планами, один нелепее другого, и, понятно, что практически ни у кого ничего не осуществилось.

Знакомый физик, доктор наук, работающий в ЦЕРНе мечтал, например, аптеку открыть по западному образцу, описывал красочно, какое планирует для нее помещение, картины на стенах, цветы в кадках, и его энтузиазм воспринимался с доверием, а не как горячечный бред. Да что там, уж я-то, с трудом считающая до десяти, та еще бизнесменка, тоже ведь вознамерилась, вернувшись, открыть бар-ресторан. Муж, зная мой нрав, в затею не верил: шуганешь, говорил, клиентов, если встанешь с левой ноги. Между тем сам, с другом, сотрудником ООН, идею вынашивал об организации сети спортивных клубов, на том основании, что оба в Женеве усердно их посещали. Оздоровление нации – мысль хорошая. Вот только на какие шиши?

Кстати, эту идею, как и все прочие, носящуюся в воздухе, осуществила впоследствии Ольга Слуцкер, чьи телефоны у меня в записной книжке, а изображение можно увидеть в теперешних российских глянцевых журналах в разделе светской хроники. Ей удалось то, о чем другие мечтали, по простой причине: к моменту нашего с ней знакомства, в восьмидесятых, задолго до начала

официально объявленной приватизации, муж ее Володя, уже оказался при очень больших деньгах. А вот откуда они вдруг взялись, так и не выяснилось. Тайна, покрытая мраком.

Впрочем, Оля с Володей зависти не вызывали: воспринимались первыми ласточками новоявленного богатства, но и мы, как представлялось, придет час, вольемся в их стаю. Мда… Комментарии тут излишни. У советских граждан, выращенных в социалистическом зоопарке, наивность сочеталась с развращенностью дармовыми подачками. Ожидалось, что когда коммунистический режим рухнет, халявы будет стократ больше, бери – не хочу. И взяли. Но другие – не мы.

Веселые ребята, Гайдар, Чубайс с сотоварищами, задуманную операцию провели виртуозно: со стороны, не из их приближенных, никто не понял ничего. Ваучер, гениально-бессовестно изобретенный для охмурения народа, получила и наша семья, от компании «Гермес». Была такая и, как водится, сплыла. Муж до сих пор не дает его выкинуть, да еще грозится обрамить и повесить на стену. В назидание. Кому, интересно? Пароход-то ушел, без нас, без большинства. Как говорится, не вина, но беда. А если честно, общая наша глупость. Плюс особенный, русским свойственный, менталитет, гвоздь которого – необходимый объект для ненависти.

Как наши предшественники в обстоятельствах близких ненавидели люто царя, царскую фамилию, так же мы, подхватив эстафету, злобу выносили и выплеснули на власть-душительницу, но не тогда, когда она нас вправду теснила, губила, а когда уже валялась, поверженная, в грязи. Вот тут мы и взялись поглубже ее затаптывать, вопя, проклиная. Не догадываясь, что попались на отвлекающий маневр. В митингах проворонили главное. Ладно там материальное процветание, но кое-что поважнее: страну.

Но даже самым прозорливым вряд ли могло прийти в голову, что спустя чуть больше десятилетия, те же люди, скандировавшие Ель-цин! Ель-цин! – схватятся вновь за древко красного, вот уж действительного кровавого, знамени и с портретами Ленина-Сталина, как с хоругвями, ринутся супротив триколора. Прежний объект ненависти, крутанув на сто восемьдесят градусов, обернется в свою противоположность: олигархи предстанут врагами народа, хотя вчера в сущности народ их приветствовал, соблазнившись, как уже было, обещанной дележкой. Все забыли. Не научились ничему.

Наша семья вернулась на родину в январе девяностого, аккурат в пик невиданного еще дефицита. На магазинных полках шаром покати. Мечты про открытие собственного дела увяли сами собой. Силы, энергию поглотили заботы в поисках

пропитания. Элементарного. Мяса, молочных продуктов, об овощах-фруктах речь не шла. Хотя нет, вру. «Морозко» рядом с Комсомольским проспектом посещался нами регулярно: клубника, смородина, пусть замороженные, поставлялись, кстати, из Краснодарского, кажется, края. Получастная инициатива высунула было голову, но ее быстренько отвинтили. Куда прибыльнее оказалось гнать и ту же клубнику, наравне с экзотическими киви, из-за моря-океяна, розы ввозить из Эквадора, вина, порубав свои виноградники, из дальнего зарубежья, ну и так далее, в результате чего собственного производителя благополучно, под аплодисменты падкой на западный товар публики, задавили.

Ну а пока что столица нашей родины судорожно запасалась растительным маслом, цены на которое прыгали все выше и выше. Где и что можно было в тот период достать, застряло в подкорке, видимо, навсегда. Москва, как карта, расчерченная для боевых действий, архитектурный свой облик утратила, маня лишь объектами, где продовольствие еще давали. Первым вестником накрывшего после страну, как цунами, импорта, стала фирма «Данон», торгующая йогуртами и открывшая свой магазин в начале улицы Горького. Туда запускали через турникет партиями, и длиннющая очередь волновалась: не расхватают ли проникшие в западный рай счастливцы все подчистую? Опасались не зря. Поэтому мы с мужем, разумеется, не для себя, ради дочери, являлись к «Данону» затемно, примерно, за час до открытия. На морозе, ветру, с вожделением воображали, как дочка в школьную перемену откроет заветную баночку и всю враз умнет. Сердце родительское таяло, предвкушая такую картину. Мы бы там, у ентого «Данона», и под пулями бы выстояли, минометами, бомбежкой.

Между тем по прежним, советским понятиям, мы относились к разряду преуспевающих. Имелась «Волга», у которой, правда, постоянно отваливался глушитель, ну тут уж ничего не поделать, к бездорожью российскому не привыкать. Так же имелись три холодильника: один в московской квартире, два на даче в Переделкино, забитые до отказа мороженными курями и минтаем – сортом рыбы, кроме как в отечестве, не встреченном больше нигде. Минтай предназначался для собак, их имелось две. Миттель-шнауцер Микки, сопровождающий нас и здесь, в Америке, и южно-русская овчарка Лакки, размером с телка, чья гарантированная породой лютость при моем попустительстве обернулась ангельской кротостью нрава. Микки, от горшка два вершка, Лакки обижал, еду отнимал, хотя мог бы целиком уместиться в Лаккиной пасти, вместе со всей своей наглостью.

Разбирательства собачьих взаимоотношений стали лейтмотивом в наших семейных разговорах. И как-то, стоя в очереди за минтаем – ну а как же, что ж тогда добывалось без очередей! – муж и я, верно, забывшись, клички наших любимцев произносили излишне громко, внятно. Старушка, стоящая впереди, вдруг обернулась и вперилась ненавистно как на врагов народа: так вы это покупаете для собак?! Шу-шу, к позорному их столбу, как бикфордов шнур, вспыхнуло в очереди. Еле ноги унесли. Народный гнев в истоках бывает справедлив, но почему-то обрушивается не на тех, кто его заслуживает.

В очередях за минтаем не стояли владельцы «Мерседесов», мчавшихся в изрядном уже количестве по улицам Москвы. И для собачек их за валюту покупался специальный импортный корм в банках с витаминными добавками. На курортах в Сочи, в Крыму эти люди не отдыхали, а покупали себе виллы на побережьях Средиземного моря. Все это уже было, вызрело, и отмежевалось от быта большинства населения страны, готового вступать в рукопашную за окорочка, прозванные бушевскими, по имени тогдашнего американского президента. Но в метро их, новоявленную элиту, встретить было нельзя, потому неприязнь обрушивалась на дубленки и, не дай бог, норковые шапки отирающихся в той же толпе. Вот кто становился мишенью, объектами ненависти, из-за недоступности других, наживших втихую миллионы. Интеллигенция ликовала, что отменили, упразднили КПСС, не замечая и особо не интересуясь, куда и кому уплывают деньги партии, партийные угодья.

Открывшийся на улице Горького «Макдональдс» воспринялся как начало эры всеобщего благоденствия. Троекратная накрутка на растворимый кофе в гранулах не смущала, его расхватывали не просто как товар, а как символ восторжествовавшей справедливости: ведь прежде только в спецраспределителях для привилегированных он выдавался, теперь же его узрели все. В Новоарбатском гастрономе выкинули новшество – коробки с пиццей местного изготовления, несъедобной, с пиццей настоящей, кроме названия, не имеющей ничего общего, но и мы, недавно вернувшиеся из Швейцарии, где прожили девять лет, поддавшись ражу, нахватали коробок. Впрочем, вкус настоящей пиццы наша семья успела забыть.

Но это, конечно, не самое главное, чем забивались холодильники. События куда более существенные, знаменательные разворачивались на наших глазах, но тогда их осмыслить, проанализировать не получалось.

Мой муж, Андрей Киселев, еще в Женеве, получил предложение стать председателем вновь образованного

Российского фонда милосердия и здоровья. Начать пришлось с нуля. С подыскивания помещения, регистрации устава, который Андрей же и сочинял на домашнем компьютере-лэптопе.

Если бы знать реальную расстановку сил, цель, ради которой фонды такие, расплодившиеся как грибы, создавались, не стоило и затеваться, вообще тут встревать. Но Андрей, поработав в Женеве на посту заместителя генерального секретаря Международного Красного Креста, опрометчиво посчитал, что в новой постсоветской России западная модель помощи страждующим, нуждающимся, будет так же отлаженно действовать, как и в других, называющихся цивилизованными, странах.

Ан нет. В России повсюду реяли транспаранты "Благотворительность плюс коммерция", и, каждый раз встречая этот лозунг, Андрей дергался, будто через него пропускали ток. "Не может такого быть, ни в одном государстве…" – бормотал задавленно, затравленно. И ошибался. Ноу-хау, изобретенное ельцинской демократией, состояло в том, что благотворительным организациям незачем стоять с протянутой рукой, ожидая пожертвований – сами они в состоянии себя содержать, торгуя, сдавая помещения, а наиболее успешным президентским указом предоставят право беспошлинного ввоза товара из-за рубежа, сигарет, вино-водочных изделий.

И они-таки себя содержали, со значительной для себя же выгодой, а то, что инвалидам, сиротам лишь крохи перепадали, если вообще перепадали, не волновало никого.

Андрей, бедняга, не понимал, чего именно ждут от него чиновники разных уровней, от низовых до очень влиятельных, пороги чьих кабинетов он обивал, взывал, но почему-то не получал поддержки. Помещения для фонда предлагались заведомо непригодные, в постройках, предназначенных на снос, с прогнившими перекрытиями, вспученными полами, будто с издевкой, а на самом-то деле с намеком, совершенно прозрачным: делиться надо, парень, тогда и получишь все.

То, что в правлении Российского фонда числилась Наина Иосифовна Ельцина, ничего не меняло. Запуганная жена буйного мужа, приезжающая с охраной, но в одном и том же костюме – ох уж эта скромность по ленинско-сталинским образцам – в итоге от членства отказалась, сославшись на то, что оснований не видит, почему конкретно этому фонду надо оказывать предпочтение. Смертельно боялась конкуренции, сравнений с Раисой Горбачевой, параллели между той и другой первой леди явно оказывались не в пользу супруги Ельцина. Вот она и решила уйти в тень. Подносить, наливать Хозяину – это можно было делать без

риска.

Но Андрей не сдавался. Лотереи, телемарафоны по сбору средств, шефство над детскими домами, выставки-продажи изделий инвалидов, проводимые по городам и весям нашей все еще необъятной родины, успех имели, – сам Андрей на подобных мероприятиях разве что чечетку не отбивал, – но доход приносили весьма скромный. Фонд все же заметили, и вот у нас дома стали появляться личности, вызывающие подозрение при первом же взгляде.

Кожаные пальто или куртки в ансамбле с тренировочными штанами, физиономии разбойничьи, небритые – классический образ "первоначального накопления капитала" в условиях, характерных для нашего именно отечества. Иной раз мы их принимали, иной раз они нас. С щедростью непомерной, варварской, пугающей. В Анапе, например, помню, подкатили к трапу самолета на «рафике», загруженном ящиками ликера «Амаретто», употребляемым гостеприимными хозяевами прямо из горла. Параллельно с гульбой обсуждался проект застройки центра Анапы индивидуальными коттеджами. Я после в Анапу не приезжала, не знаю осуществилась ли та затея, но при чем тут был Российский фонд милосердия и здоровья?

Как потом выяснилось (теперь это уже все знают), очень даже при чем. Благотворительные организации обрели в постсоветской России популярность отнюдь не из-за того, что милосердием сердца переполнились, а потому что являлись идеальным прикрытием для отмывания денег. Поток денег все ширился и, соответственно, создавались все новые и новые фонды. Схема простая: в Анапе, допустим, начальству фонда, председателю, а возможно, и его заму, отдавался бесплатно коттедж, а уж его дарители знали, что дальше делать. Почему с Андреем ни эта, ни другие сделки не состоялись, объясняется просто: муж мой ни давать не умел, ни брать. Люди более изощренные, ликер из горла не лакающие, не стали бы ему, такому, вообще что-либо предлагать, а вот те, кто попроще, в штанах тренировочных, густо слетались. Энергичные товарищи с Урала на недомолвки время тратить не стали: где-то в оффшорной зоне открывается банковский счет на имя Андрея, а в правление Российского фонда сажается их человек с полномочиями. Ну, по рукам? И что тут обдумывать! "Дочка ваша – так, к слову, обронили, – знаем, где учится, и как-то можете не успеть из школы ее забрать".

"Гяур бежал быстрее лани" – так мы, наша семья на это, последнее предложение отреагировали. Кого-нибудь удивляет?

И вот живем, никем не облагодетельствованные. Собственное дело так и не открыв, ни я бар-ресторан, ни муж спортивный

клуб. Зато спим спокойно, ничего не опасаясь, иной раз забыв входную дверь на щеколду запереть. Миттель-шнауцер Микки, сытый уже не минтаем, в ногах дрыхнет. Хоть война, хоть пальба, не дернется, ушами не поведет. Считает и, пожалуй, что справедливо: день отработал, оставьте в покое. Нас тоже. Вот только страну, народ, жаль.

ЛЕКАРСТВО ОТ НОСТАЛЬГИИ

В мемуарах князя Юсупова есть примечательный эпизод. Когда он решил ехать в Англию учиться в Оксфорд, за несколько дней до отъезда его вызвала к себе, в Ливадию, императрица Александра Федоровна, весьма его решением недовольная, и пыталась от поездки отговорить. "Сказала, – цитирую мемуары князя – что многие молодые уезжали в Европу, а потом отвыкали от родины, не могли освоиться дома и покидали Россию насовсем".

Надо же, значит и тогда существовала эта проблема «отвыкания»! И представляла опасность даже в случае с наследником несметных богатств, колоссальной недвижимости на родине – одно Архангельское чего стоило! А уж он-то, Юсупов, при недолгой отлучке, какие мог иметь трудности, вернувшись, "освоиться дома"? Но, верно, императрица не даром беспокоилась.

Вот и художник Кипренский, чьи шедевры украшают Третьяковскую галерею, Русский музей, за оттяжку возвращения из Италии, где он был стипендиатом российской Академии художеств, лишился покровительства уже другой императрицы, хотя до того был ее любимцем. А от соотечественников такой травле подвергся, что пришлось обратно в Италию бежать, где он, Кипренский, и умер.

Напрасно, выходит, мы считаем, что товарищ Сталин первым решил ограничить пребывание за границей советских граждан жесткими сроками, были у него и в дореволюционной России серьезные, суровые предшественники, полагающие так же, что заразу иностранную каленым железом надо выжигать. А лучше вовсе не допускать, коли нет в русской нации стойкости перед соблазнами западной цивилизации. Хотя при царе-то батюшке, по сравнению с большевистским режимом, какое ведь сытое, вольное было житье, но и тогда – вот неблагодарные! – чуть что – деру.

Цари, правда, лишь недовольство выказывали, журили, в милостях отказывали, большевики же радикально решили вопрос: никого вообще никуда не пущать. Оно надежней. Все, точка.

Так бы и держались твердой, как водится, линии, да жизнь заставила ослабить узду: самых проверенных, пропесоченных от ступней до макушки, строго бдя, на коротком поводке и в очень ограниченном количестве начали все же за рубеж выпускать. И напрасно! Даже среди них, казалось, верных из верных, находились такие, кто, как императрица Александра Федоровна и опасалась, от родины «отвыкал» – и лови ветра в поле, с ног

собьешься, даже со всевидящим оком…

Да и с послушными, дисциплинированными, возвращающимися в стойло, ухо следовало держать востро. Домой после странствий они приезжали другими и, понятно, доверия прежнего уже не заслуживали.

Но ведь что характерно. Вместе с "тягой прочь" (Борис Леонидович Пастернак), соотечественников наших отличала невероятная, неодолимая тоска по родине, стоило им только покинуть ее пределы. Будто в психике два мощных, с обратным знаком, заряда заложили, запустили будто два встречно мчавшихся локомотива: во что бы ни стало на волю – во чтобы то ни стало домой!

Ну чужбине, тоскуя, пили, пели, создавали шедевры. Тоска по родине сродни несчастной любви, а, как известно, именно боль, страдания питают творчество. Ну а кроме того, большое видится на расстоянии, и Гоголю, Глинке, Тургеневу, Чайковскому, Достоевскому за границей отлично работалось.

Боже, как хороша бунинско-зайцевско-набоковская Россия, в снегах, колокольном звоне, запахе куличей, пармских фиалок, разноцветных стеклышках веранд. Ее больше нигде не существовало, только в их памяти, воображении, муках сердца от ностальгии. Но если предположить, что тот же Бунин или Рахманинов имели бы шанс и им воспользовались – оставленную родину посетить, узреть, во что она превратилась при Сталине, при Советах, – возможно, их ностальгию как рукой бы сняло.

Теперешним эмигрантам с одной стороны куда проще, комфортней, а с другой, и тут, верно, взаимосвязь есть, с шедеврами застопорилось. Не надо ждать, пока ностальгия душу изгложет – идешь в консульство, получаешь визу, покупаешь билет на самолет, и вот она, златоглавая, или Невский, набережная Невы, или еще кому что потребно, а тут и встречи с друзьями, объятия, беседы заполночь, точно и не уезжали, не расставались. Рана от тоски по оставленному, не успев раскрыться, воспалиться, затягивается.

У некоторых ностальгия исчезает уже в Шереметьево, у паспортного контроля. Для других разочарование наступает при намерении посетить родные места, дворики, переулки, скверики, где прошло детство, а вместо них, выясняется, супермакеты, дорогущие бутики, казино-рестораны понастроили-пооткрывали: чужой город, с незнакомым вовсе обличьем, а, главное, дух в этом городе совершенно иной. А кому-то перемены такие нравятся. О вкусах чего же спорить, тем более о привязанностях.

В общем, для преодоления ностальгии существует нынче множество способов. Я нашла свой: российское телевидение.

Здесь, в Штатах, транслируются аж четыре российских канала. Но «тарелки» у нас дома нет. Считаю: ежели будет под боком, пропадет свежесть, острота восприятия. А так наслаждаюсь, приходя в гости. «Тарелками» многие у нас, в Колорадо, обзавелись.

Последнее яркое впечатление: ток-шоу (владельцы «тарелки» его аж на кассету записали), посвященное теме, надо думать, для России в данный момент первостепенной важности, коли аудитория собралась огромная, как на стадионе, с тремя ведущими плюс почетными гостями. Предмет развернувшейся дискуссии – пластические операции женской груди с целью придачи ей еще большей неотразимости.

Главным, всеми присутствующими признанным авторитетом в этом действе являлся хирург-маг, в голубом шелковом галстуке, похожий на конферансье или на бармена, разъясняющий темным, вроде меня, профессиональные в своем деле премудрости, про имплантанты разного рода и разной стоимости, ну и другие, сопутствующие теме детали. "А если на ощупь, если на ощупь?" – вопрошала с некоторой даже навязчивостью одна из ведущих. Аудитория завороженно внимала. Камера скользила по лицам: все молоденькие, все хорошенькие, все похожие друг на друга, будто с конвейера, с выражением общим, стертым. Чистый лист бумаги – что хочешь на нем выводи.

Меня лично сразила участница передачи, представленная как знаменитая писательница, автор бестселлера "Грудь женщине не товарищ". А, звучит? Пафос ее выступления заключался в обиде, жгучей, непереносимой, на сильный пол, неспособный увидеть в женщине равную личность, с интеллектом, духовными запросами. Им, скотам, лишь ноги да вот – по теме – груди важны. При том на одеяние гордой амазонки ткани пошло минимально, примерно два носовых платка. Вряд ли из экономии. Мужчинам-беднягам куда же было еще смотреть! И лицо-то из фокуса выпадало. На что же, так появляясь, так себя заявляя, писательница, автор бестселлера, рассчитывала? На отношение к ней как к Ахматовой?

Впрочем, писательницу затмил травести, сменивший пол, долго маявшийся с подходящими его вкусам, индивидуальности грудями, и встреченный – или встреченная? – как национальный герой. То есть, извиняюсь, героиня.

Передача, ток-шоу по-современному, конечно, прошло бы на ура, как вдруг, совершенно не в такт с общим настроем, явно сознавая свою здесь неуместность, женщина-врач, из поликлиники ординарной, районной, напомнить осмелилась присутствующим, а заодно и тем, кто дома у экранов сидел, что

помимо забот о красоте груди, женщинам надо следить и за ее здоровьем, не пренебрегать профилактическими осмотрами, делать вовремя, лучше ежегодно, маммографию… Задышала, как после бега: неважно в стране поставлена просветительская работа с населением, здравоохранение у нас… И осеклась.

Вконец сконфузилась. Ну кто же, в самом деле, в доме повешенного заговаривает о веревке? Здравоохранение! Еще бы ляпнула про социальное обеспечение, пенсионерах с их крохотными, на выживание, пособиями, сиротах, беспризорных, наркоманах, торговле сексуальными рабынями, поставляемыми Россией по всему миру… Стоп. Неприлично ведь портить чей-то, пусть чужой, праздник. Хотя сексуальные рабыни, пожалуй, по теме. Их как раз груди потребители товара оценивают высоко. Иначе бы этот бизнес так не пошел.

Ток-шоу, где было раздался мышиный писк – глас народа, невнятный, невразумительный, – продолжалось в том же ключе, как и было начато. Никто из участников не поперхнулся. "А на ощупь, на ощупь?" – продолжала та же ведущая вопрошать. А я подумала о тех, кого на праздник не позвали. Там, в России. И кто составляет, увы, большинство. О женщинах, миловидных, чем родина наша всегда славилась, которым зубы не на что лечить, об их мужьях, не бизнесменах, а бюджетниках, об их детях, в колледжи за границу не отсылаемых – о тех реалиях, на фоне которых такие шоу устраиваются, фейерверками, как в Версале некогда прелестницей Марией Антуанеттой, предложившей голодной черни вместо хлеба пирожными полакомиться.

Упаси боже, я не каркаю. И заканчиваю вот на чем. У Бенедикта Сарнова как-то прочла о человеке, мальчиком в революцию из России уехавшем, закончившем Сорбонну, преуспевшем во Франции как инженер, после, в приступе все той же ностальгии, вернувшемся в СССР, отсидевшем, как положено, в лагере, реабилитированным, и вот Сарнов спрашивает у него: что общего, на ваш взгляд, у страны, из которой вы уехали с той, где сейчас живете? Ответ: только снег…

ОПАСНАЯ ЗОНА, ИЛИ РЕЦЕПТЫ ОТ КОРОТИЧА

Как-то я получила по почте пачку так называемых гламурных журналов о красивой жизни, на русском языке, по сравнению с которыми здешние, американские, ну скажем, "Travel + Leisure", "Better Home", "Food and Wine", выглядят пособиями для безработных. Но интересно другое: эти глянцевые издания мне прислал автор постоянных там рубрик Виталий Коротич.

Мы знакомы с Коротичем давно, с начала семидесятых, но отношения наши можно назвать пунктирными, с длительными перерывами. Вначале он жил в Киеве, а я в Москве, потом, когда его назначили главный редактором «Огонька», наша семья уехала в Швейцарию, мы вернулись в Россию – он работал по контракту в Бостоне, обосновались в США, а он уже был в Москве.

Хотя дело не в расстояниях. Общение с ним обрывалось по другим причинам. Коротич на наших глазах – и не один раз – полностью, неузнаваемо, коренным образом менялся. Вдаваться тут не буду, разве что упомяну, что в период, когда он не только считался провозвестником гласности, но и был в числе приближенных к лидеру перестройки Горбачеву, я уничтожила все его ко мне письма, многочисленные поздравительные открытки, написанные внятным, разборчивым почерком, на что имелись причины.

Я не биограф Коротича и не судья ему, да и все его превращения нисколько не были эксцентричными, напротив, всегда отличались разумностью, обдуманностью, мотивированностью во всех смыслах. Не считаю, что им двигал только голый расчет, но вот чутьем, как на выгоду, так и на опасность, обладал всегда обостренным. Мне кажется, Коротич – барометр перемен, любых, политических, общественных, социальных, и в такой стране, как Россия, где пока разберешь, что, как и почему, черт ногу сломит, явление такой, как он, фигуры многофункционально и весьма поучительно.

И все же, получив от него посылку с глянцевыми изданиями, я удивилась: уж в ипостаси опытного кулинара вовсе его не представляла. Насколько помню, бывая у них с Зиной в гостях, к приготовлению пищи он никогда никакого интереса не проявлял, блистала тут Зина. Но на обложке журнала "Белое и Красное" рекламируется луковый суп именно по рецепту Коротича, а не Зины. И его именно фотография в белом, нарядном, гофрированном колпаке сопровождает из номера в номер

колонку рецептов от автора. Как известно, талантливый человек талантлив во всем, даровитости у Коротича не отнять, и что он способен на все, тоже известно. Кулинарные его рецепты лишь тому подтверждение. Но все-таки почему он мне это послал?

Посылку, правда, предваряло письмо (наша переписка снова возобновилась), в котором разъяснял, что напрасно я прислушиваюсь к жалобам российских коллег-писателей, в своем бедственном положении они-де сами виноваты, не умея приспособиться к новым условиям, отвыкнуть, по его выражению, от "державных кормушек", "государственных подачек". Хотя в таком же положении, как они теперь оказались, находятся литераторы во всем мире, нужда – мета нашей профессии, и надо уметь выкручиваться, кто как может, чтобы ее одолевать. Как совет, как пример привел свой опыт сотрудничества в глянцевых российских изданиях, где, цитирую: "за публикации в каждом номере мне платили по тысяче долларов как минимум". Ничего себе, тысяча долларов – за рецепт, пусть с комментариями, луковой похлебки или капусты по-каталонски? Ну и везет же некоторым! А вот мне лично – нет. Хотя тоже в гламурном, да и покруче, чем "Красное и белое" или "Контроль стиля", журнале «Плюс» появился, для меня неожиданно, отрывок из моей повести "Колониальный стиль", с роскошными иллюстрациями – и ничего, ни привета, ни тем более чека. Нормально для России, знаю, это нормально. Верно, имидж и мой, и моих российских друзей-коллег не тянет на то, чтобы нас, как Коротича, в отечестве ценили, уважали.

С другой стороны, вряд ли за большие даже гонорары я взялась бы вести рубрику по косметике, скажем. Во-первых, не специалист, во-вторых, в крайности, на мой взгляд, допустимо, себя не роняя, и полы пойти мыть, и посуду в ресторане, а вот при халтуре в литературе с тебя спросится сполна. Напоминаю, что Коротич, будучи главным редактором перестроечного «Огонька», беспощадно клеймил тех, кто при советской власти, сталинских репрессиях, хрущевских гонениях на инакомыслие, брежневском застое, отступал от служения стержневому в нашей отечественной словесности – правде, правдивому отображению действительности. Пламенный трибун, он, Коротич, сериалом ужасных разоблачений потрясал воображение читателей, восхищал их своей смелостью, бескомпромиссностью. И мало кому приходило в голову, что его смелость дана по отмашке сверху, и он как послушный ученик выполняет заданный урок.

К моменту нашего знакомства мне было чуть за двадцать – возраст, когда льстит дружба со старшими, а Талик, домашнее его имя, держался просто, естественно, приветливо, и я ему доверяла,

полагая, что и он доверяет мне. Никаких крамольных, критических по отношению к советским реалиям высказываний я от него в то время ни разу не слышала, и в своих сочинениях он выказывал абсолютную лояльность к власти, умел начальство расположить понятливостью, обходительностью, это тоже приходилось наблюдать. Но, как выяснилось, скрывал тщательно свои истинные взгляды, обнаружив их только при гласности, в перестройку, что у тех, кто, как я, знали его прежде, вызвало некоторое недоумение.

Таковых, впрочем, оказалось, немного. До своего назначения главным редактором «Огонька» его известность ограничивалась узким кругом, в столицу наведывался как провинциал, скромный, даже стеснительный и очень осторожный. И вот неопознанной кометой ослепил, покорил Москву. Но только лишь воцарил, таких, опять же, как я, смыло, точно океанской войной, из его окружения.

Дело житейское, как говаривал Карлсон, живущий на крыше. Обиды в такой ситуации затаивать было бы и наивно, и глупо. Но, признаться, меня поверг в шок появившийся в «Огоньке» материал, выставляющийся на посрамление моего недавно умершего отца. Ощущение возникло, что Коротич за что-то мстил. Возможно, за собственное, совсем не бойцовское прошлое, желая стереть свидетелей тому в порошок.

Теперь понимаю, что зря на него обиделась. Потребность заметать следы коренилась в его природе. Он нуждался в забывчивых, памятливые раздражали, что подтвердилось последующими его превращениями.

Но когда он лишился и «Огонька», и контракт в бостонском университете не продлили, вернулся в Россию отнюдь не на белом коне, подвергшись нападкам тех, кто имел на него зуб, я написала и опубликовала в "Независимой газете" текст под названием "Король Лир", где за него, опального, вступилась. Встрять в стаю добивающих поверженного не только не благородно, но и неинтересно. На отклик с его стороны нисколько не рассчитывала. Но он возник, стал мне писать, не по электронной почте, а по старинке, в конвертах, обклеенными марками, и я ему отвечала. Отношения наши вроде бы реанимировались.

И снова оборвались. Из письма в письмо он меня убеждал, как хорошо жить в России и как плохо в Америке, откуда уехал не по своей воле, но об этом ни слова. Полемизировать с ним оказалось невозможно, никаких аргументов, фактов не воспринимал, талдычил свое как глухой. На глазах совершился еще один его кульбит – пел панегирики нынешней российской

жизни, намеренно ослепнув к очевидным там язвам, по той же схеме, как нахваливал некогда советскую. И это он, недавний герой гласности, перестройки? Когда же он был искренен? Или никогда?

Подозрение закралось: между нами с ним кто-то еще присутствует, к кому он и обращается, и от кого я по другую сторону океана успела отвыкнуть. Может, он меня предупреждал, а я не вняла?

А ведь и другие сигналы поступали: изменившиеся, напряженные голоса друзей при моих звонках в Россию из Штатов. Уклончивые ответы редакторов российских газет, которых я тоже давно знала. Неужели все вернулось на круги своя, до боли знакомое?

Гастрономические откровения Коротича совпали с событием, картину уже полностью прояснившим: СМИ сообщили об убийстве главного редактора российской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Подробности накапливаются день ото дня. Потомок белоэмигрантов, родившийся в Нью-Йорке в 1963 году, говорил по-русски с детства. В 1984 году окончил университет в Калифорнии в Беркли по специальности политической экономии. Затем поступил в Лондонскую Школу Экономики, где получил степень магистра в 1985 году. Его диссертация "Кадровая политика КПСС, 1918—1985 гг.". Докторская степень 1991 года: "Столыпинская аграрная реформа и экономическое развитие в России, 1906—1917 гг."

Расстрелянный при выходе из редакции на улице Докукина, получивший четыре пулевых ранения, Хлебников нашел в себе силы ползти к двери, где размещалась его редакция, позвонить по мобильному своим сотрудникам, сообщив, что не понимает, кто мог на него покуситься и за что. Блестящий репортер, бесстрашный, как и должно быть журналисту, увлекшись расследованиями, утратил чувство опасности, при рождении, с генами наследуемое российскими гражданами. Хлебников поплатился за то, что родился, вырос в другой стране.

Умер он в лифте больницы, застрявшем между этажами, куда его доставили на "скорой помощи".

А ведь прав Виталий Алексеевич Коротич, его-то чутье не обмануло: для отечественной журналистики настало, верно, время, когда интересоваться следует именно кулинарией, все прочее – опасная зона.

МИР – ТЕАТР, НО НЕ ВСЕ ЛЮДИ АКТЕРЫ

Те, кто принадлежит к пока еще уцелевшей породе книгочеев, заметили, полагаю, что в современной отечественной литературе осталось два жанра, детективный и мемуарный. Но первый мне, например, абсолютно не впрок, как и анекдоты: хохочу над десятки раз слышанными, не в состоянии их запомнить. То же самое с детективами: могу с начала пролистывать, могу с конца, но в чем там дело, все равно не пойму, а если пойму, сразу же забуду. Напрасная трата времени.

Зато мемуары поглощаю ненасытно, дивясь, как мало кому они нынче удаются. Хотя, казалось бы, чего проще: вспоминай, коли время выдалось, то, что было, пережито, – всего-то. Единственное, в мемуарном жанре необходимое условие – правдивость, и перед собой, и перед читателями. Но выясняется, что здесь как раз и заковырка. Поколения в нашей стране скрытности, умалчиванию обучались и отучились быть искренними даже сами с собой.

В результате промашки в своих мемуарах допускают и крупные, увенчанные славой фигуры, от кого мы, читатели, как раз и ждали важных, серьезных, ошеломляющих открытий, анализа, осмысления событий в масштабе, диапазоне превосходящих их собственные биографии. Но, как ни странно, они, наши кумиры, властители дум, борцы за свободу, отчаянно смелые – мы так их воспринимали в недавнем прошлом – теперь, когда стало возможным все говорить, все писать, то ли вдруг оробели, то ли выдохлись. То ли их смелость, способность рисковать были сильно преувеличены.

Но разочарованность в тех, на кого надеялись, компенсируется теми, кто на обнародование себя, своего нутра прежде не решался и как бы в этом не нуждался. Кто исповедальности в тексте чурался, чье ремесло основывалось на готовности перевоплощаться, сливаться с новой ролью, в новом качестве, и внешняя, и внутренняя неузнаваемость считалась тут мерой таланта.

Мандельштам обронил однажды, что полюс писательской профессии – актерская. Мой личный опыт прозорливость Осипа Эмильевича подтверждал. Еще в детстве я подглядела театральный мир, можно сказать, в щелку, когда моя сестра Ирина привела к нам на Лаврушинский Олега Ефремова, и в квартире наших родителей формировалось то, что потом стало «Современником». Подглядела немного, – они репетировали ночами, когда мне, первокласснице, полагалось спать, – но

достаточно, чтобы отпрянуть. Мама, любительница премьер, брала меня с собой в театр, – тот же Ефремов билеты для нее оставлял, расставшись с моей сестрой, продолжал дружить с тещей, на сцене играл в подаренной ею бордовой битловке, – но я никогда не испытывала там ничего близкого к экстазу, охватывающему меня на концертах в Большом зале консерватории или на опере в Большом театре.

Андрей Миронов однажды пригласил меня в «Сатирву» на спектакль по пьесе Макса Фриша "Дон Жуан или любовь к геометрии", так я, вместо положенных комплиментов ему, любимцу публики, восторгалась текстами Фриша: тогда как раз вышел сборник его драматургии, и я его зачитала до дыр. Встреча с Фришем, лицом к лицу, предстояла в далеком будущем, в Цюрихе, куда я примчалась из Женевы, и была очарована им, старым, больным, и на редкость, при всемирной-то славе, простым, естественным. А у Миронова, помню, от обиды вытянулось лицо: хвалить драматурга и ничего не сказать об исполнителе главной роли – это же плюнуть в актерскую душу, что я и сделала простосердечно, не подозревая ни об актерских комплексах вообще, ни о конкретно его, Миронова.

Миронова я поняла, узнала не при встречах с ним, живым, а после прочтения мемуаров Татьяны Егоровой "Миронов и я", беспощадных, как вивисекция, прежде всего над собой, без анестезии утешительных иллюзий. Она любила Андрея всегда, любит теперь, испепеляюще страстно и при этом с открытыми глазами. По сравнению с ее исповедью, монографии, биографии актеров, сочиненные, как считается, знатоками в этой области – сладкий, липкий сироп. Театральный мир коварен, уродлив везде, но в нашем отечестве уроды превращались в монстров, интрига в донос, устранение соперника в его уничтожение. В театр проникали миазмы, яды из атмосферы, которой все дышали, за кулисами обретающими особую концентрацию.

Судьбы людей искусства редко бывают благополучными, но опять же в стране, откуда мы родом, на лица ложились не только горькие, но и зловещие тени. Озорной дуэт Мироновой и Менакера, родителей Андрея, слажен на страданиях, пережитых и ее, и его семьями, на распыле, разоре родительских гнезд, с приходом советской власти ставшими коммуналками, на потери не только имущества, но и свободы, как у отца Марии Владимировны Мироновой, посаженного в 1935 году. Забыть? Никогда! Вместе с тем, когда ей, уже знаменитой, привозят с нарочным письмо от Сталина, она, обрамив, вывешивает его как охранную грамоту. Ревнивая, властолюбивая, жестокая даже к собственному обожаемому сыну, Мария Владимировна – образчик

выживания в системе, где слабые, уязвимые обречены. Мать Татьяны Егоровой не сумела восстановиться после крушения, сломавшего ее в молодости – потери любимого, замены которому она не нашла, тоже, как отец Мироновой, арестованного, сгинувшего навсегда. Кровавая каша, заваренная большевиками, шлейфом несчастий от родителей и за детьми тянулась. Сама Татьяна выросла, не зная отца, – сиротство, беззащитность, израненность одиночеством с детских лет сказались и в ее отношениях с Мироновым.

Театр «Сатиры», куда она попала со студенческой скамьи, в ее книге показан как ад, где в смрадном чаду кипят в котлах грешники. Плучек, Ширвиндт явлены с неприкрытой, явной тенденциозностью, озлобленностью. Но как не озлобиться от унижений, зависимости, бедности, попрания человеческого достоинства не только в театре, но и вне его стен. Травля в больнице товарками женщины, потерявшей ребенка – вот она, наша действительность, простеганная ненавистью всех ко всем, как лоскутное одеяло.

Утешала вера, что виновата во всем советская власть, и это людей сплачивало. Когда советская власть рухнула, распалось и связующее звено.

Книга Т. Егоровой постсоветского периода не вместила. Для автора все оборвалось с уходом из жизни Андрея. Но то, что осталось за бортом воспоминаний Егоровой, возместила ее коллега Ольга Яковлева в своих мемуарах "Если бы знать…" У этих двух книг есть сцепка, не только профессиональная, – возрастная. Егорова приводит слова Александра Менакера, отца Андрея: "Да разве была бы Коонен без Таирова? Орлова без Александрова, Алиса Фрейндлих без Владимирова, Оля Яковлева без Эфроса? А Мазина без Феллини? Артистом надо заниматься!" Добавлю, артиста надо защищать, от ближайшего окружения в первую очередь.

Потому, видимо, что Ольгой Яковлевой действительно «занимались», да к тому же такой, как Эфрос, ее мемуары по охвату шире, глубже, концептуально отважней, чем у Егоровой. Егорова в основном любила, Яковлева в основном работала.

Любителям «клубнички» с ее текстом делать нечего. Автор не опускается до объяснений на тему, обывателям лакомую. У Эфроса своя семья, у нее своя – все, никакого стриптиза. Хотя приводятся письма к ней Эфроса, нежные, доверительные, целомудренные, отметающие шелуху сплетен. И для него, и для нее самое главное театр. Да, гадюшник, но в сполохах божественного.

Яковлевой сразу заявлено и выдержано до последней строки:

Эфрос – Учитель, Художник, Созидатель. Удовлетворены? Если нет, браться за чтение ее мемуаров не надо.

Гениальный режиссер и бесспорно талантливая актриса предстают в слиянии, очищенном от житейского сора. У каждого их них есть свой дом, надежный тыл. У Эфроса жена – умница, соратница, критик Наталья Крымова. У Яковлевой муж Игорь Нетто, чемпион, олимпиец, капитан сборной футбольной команды. Предательство их исключено, что редкость при демонстративном бесстыдстве повальных измен, адюльтеров театрального мира.

Уважения достойно и то, что Ольга Яковлева, обладая жгучим, взрывчатым темпераментом, сама осознав и раскрыв нам, читателям, причины с ним, Эфросом, содеянного, способна, собрав волю в кулак, к расследованию, кропотливому, основанному на фактах, документальных свидетельствах, убийства дорогого ей человека.

Вывод: если заказчиком убийства режиссера была власть, то исполнители, и очень ретивые, нашлись в ближайшем окружении, из того же профессионального цеха, при поддержке активно в травле участвовавшей, "прогрессивной общественности". Кавычки не мои – Яковлевой

Яковлева упоминает статью-письмо под названием "Украденный юбилей", напечатанную в парижской "Русской мысли" за подписями Аксенова, Бродского, Вишневской. Владимова, Круглого, Максимова, Неизвестного, Ростроповича, в защиту Любимова, решившего остаться на Западе, и у которого Эфрос, придя на Таганку, «украл», по их мнению, юбилей. Методы стравливания Любимова и Эфроса совпадают, как под копирку, с разжигаемой той же "прогрессивной общественностью" рознью между Рихтером и Гилельсом, что мне довелось наблюдать в непосредственной близости, учась с дочерью Гилельса, Леной, в одной школе и будучи вхожей в их дом. Гилельса сделали козлом отпущения за пособничество якобы советской власти, а Рихтера возвели в сан страдальца, мученика, коим он отнюдь не являлся. Когда на конкурсе Чайковского первую премию у пианистов получил не Миша Дихтер, как хотелось публике, а Гриша Соколов, в Гилельса, на конкурсе среди пианистов председательствовавшего, плевали в буквальном смысле, его машину обливали помоями, с криком "позор!". У Эфроса резали дубленку, прокалывали автомобильные шины. Яковлева пишет, как дружно набросились на "падшего режиссера". "Дружно, – цитирую, – подталкивая его к могиле…" Столь же дружно постарались ускорить смерть Гилельса. Но самое поразительное, что и теперь у гонителей великого музыканта не возникает ни

капли раскаяния. Совсем недавно, уже здесь в Америке, я услышала от человека, как считала, просвещенного, интеллигентного, что-де мы – примечательно это «мы» – концерты Гилельса игнорировали, потому как чтили Рихтера. А чтить обоих кто запрещал, кто навязал выбор: либо-либо? Кто изобрел примитивную до оторопи шкалу, вколоченную в мозги? Кто ввел разделительную, как в концлагере, черту-полосу: тут мол, «жертвы», а тут «палачи». И ведь где, в творческой среде, пожирая друг друга, как крысы.

Диагноз состояния общества в эпоху «застоя» Эфрос поставил: "Бороться за идею хотят все, но никто ради нее не хочет ничем жертвовать". Золотые слова. На такое высказывание мог осмелиться лишь человек, не втянутый ни в какую групповщину, свободный, отрешившийся от каких-либо навязываний, хоть справа, хоть слева. Позиция, в нашем отечестве, с нашим рабским менталитетом, непростительная. Свора шавок набрасывается с обеих сторон.

Цитирую Яковлеву: "Сам он иногда говорил полушутя: "Вот ужас-тоПриходит Любимов в кабинет к начальству – он там свой. Ефремов тоже приходит, видимо, по матушке скажет – и свой. А приходит Завадский – чужой". А уж он-то сам чужим оказался не только в начальственных кабинетах.

И чужого – ату! В грязь его, вот такого, окунуть за врожденную, природную чистоплотность, отстраненность от дрязг, от "общей борьбы с системой" брезгливость к политиканству, шутовскому, ничуть не рисковому, с гарантированной поддержкой тех, кто, наказывая других, им простит шалости.

Яковлева дивится, почему все сходит с рук у Любимова на Таганке, а спектакли Эфроса и в Ленкоме, и на Малой Бронной закрываются, даже если явной крамолы не находят. Она пишет: "Это что же за власть такая, вы к ней якобы в оппозиции, вы ей все время фиги показываете в карманы – и та же самая власть выстроила оппозиционному театру огромное новое здание? Какая здесь логика? Художники, которые находились в оппозиции, даже внутренней, скрытой, не очень-то получали помещение и главрежество. А тут «оппозиционерам» выстроили этакий огромный театр-ангар, вполне, впрочем, современный. И говорят: "Владейте им, оппозиционеры, – оппозиционеры по отношению к нам!" Какая-то тут была нестыковка. Или власть была хорошей?!"

Нет, Ольга Михайловна, власть хорошей не была, но вот стыковка у нее с «оппозицией» имелась. Актеры с Таганки не зря подозревали, что решение Любимова остаться за рубежом не было спонтанным. Уже в 2001 году, выступая по телевидению, Юрий

Петрович изрек буквально следующее: "Андропов встретил меня радушно, вышел из-за стола, протягивая руки". С такой поддержкой, можно было, конечно, ни за отъезд на Запад не опасаться, ни за возвращение оттуда, если вздумается. Кстати, Яковлева упускает еще деталь: в труппе Таганки состоял зять Андропова, муж его дочери Ирины. Так что стыковка тут окрашивалась еще и семейственностью, укрепляющей сцепку власти и «оппозиции», не только в случае с Андроповым и Любимовым.

Впрочем, это все детали, важно, что Яковлева обнажает бесстрашно то, о чем не принято вслух говорить: многие, весьма многие из наших властителей дум, власть эпатируя, одновременно заручались поддержкой покровителей из властных структур. Но подробной об этом как-нибудь в другой раз…

У Яковлевой, потерявшей Эфроса, умирает муж, Игорь Нетто. Списали его из спорта в тридцать шесть лет. Он лег, уткнулся в стенку и не вставал, как парализованный, месяц.

"А потом, в 1991—1992 годах, государство в одночасье сделало спортсменов полубомжами, и не только их. Потеряв из-за инфляции все немногие деньги, накопленные на старость, Игорь вообще растерялся. Я только теперь понимаю, что он испытывал со своей пенсией в 97 рублей. У него был не просто стресс, а какое-то скрытое отчаяние. Он никак не мог понять, на что он имеет право, а на что уже – никогда, что может себе позволить? Боялся сесть за руль машины, которую ему подарили на шестидесятилетие, и она долго ржавела под открытым небом, разворовывалась по частям на глазах у милиции. Он покупал какие-то сверхдешевые продукты, а когда я его посылала постричься в парикмахерскую говорил: "Нет-нет. Можно не сегодня, а завтра?" И не шел, приходилось стричь насильно самой. Это были уже первые признаки заболевания: то ли он боялся жизни, то ли людей. Когда шатается земля под ногами, человеку уже страшно и на улицу выходить".

Нетто болел долго, мучительно, нуждался в круглосуточном наблюдении, уходе, но нанять сиделку не на что, да и негде ее поселить в их крошечной квартире. Гордость отечественного спорта, Игорь Нетто скончался от запущенной пневмонии, нелепо, по небрежности врачей: в больнице ему давали не то лекарство, не в той дозировке.

Вдова, театральная звезда, идет за назначенной ей пенсией в сопровождении собачки, коккер-спаниеля, терзаясь вопросом: можно ли было Игоря спасти? А Эфроса? "Скорая помощь" приехала, как обычно, с опозданием и без необходимой для реанимации аппаратуры, хотя институт Склифосовского – в двух

шагах. Цепь случайностей. Или не случайностей?

Да, господа, это не театр – это Россия.

УДАЧНИКИ

В глазах у меня стоит картина. Время: начало девяностых. Место: небольшой зальчик частного ресторана с убогим, как в кафе-забегаловках при советской власти, интерьером, зато столы ломятся от обилия деликатесов, откуда-то всплывших, в период, когда на магазинных полках шаром покати. А здесь лососина, севрюга, копченый угорь, телятина, икра. Напитки – сплошной импорт, французские вина, коньяки, джин, виски. Действующие лица: так до сих пор и не поняла, кто они, откуда взялись. И в центре застолья, как свадебный генерал, мой муж, я при нем, с нами наш гость, Сережа Шаховской, потомок эмигрантов послереволюционной волны, всамделешный князь, древнего рода, из Рюриковичей, правда, от ветви давно, еще при царе, обедневшей.

Сережа приехал в Москву из штата Миннесота, а подружились мы с ним в Женеве, где он в качестве переводчика с американской стороны участвовал в переговорах по разоружению. До того, будучи по образованию историком, что только не перепробовал, и дороги строил как чернорабочий, и бизнесом занимался, и садоводчеством, служил в морской пехоте, работал на "Голосе Америки", в скаутских лагерях – короче, жизненным опытом к своим сорока с хвостиком обзавелся не малым. А тут, вижу, замер, не ест, не пьет, и глаза удивленно-испуганные. В чем дело?

В СССР он бывал много раз, в застой, в перестройку, останавливаясь не только в гостиницах, но и в студенческих общежитиях, с местами общего пользования в конце коридора, так что в наших отечественных реалиях отнюдь не являлся новичком. В отношении советской действительности никаких иллюзий не испытывал, но обрадовался нашему возвращению из Швейцарии на родину, в момент замаячивших там радужных, как представлялось, перемен.

Неустройство, скудность московского, после Женевы, быта ни нас, ни Сережу не смущали. Как-то с ним вместе встречали у нас Новый год, в складчину, гости с собой приносили в очередях длиннющих добытое, и Сережа, с присущей ему деликатностью, привез не валютные лакомства, а наше «Советское» шампанское, тогда еще без мыльного привкуса, и кустик бело-розовой азалии в горшке.

В джинсах, ковбойке, видавших виды ботинках «Timberland», с седым, плотным, почти по-солдатски коротко стриженым ежиком, Сережа, как мы его наблюдали, держался всегда, везде

просто, естественно, что присуще породистым людям, чей стержень испытания не расшатывают, а укрепляют.

Его отец в белую армию пошел шестнадцатилетним добровольцем, рядовым, сражаться не за богатство, не за поместья – их не было. Сережу, детство которого прошло в послевоенной Германии, в разрушенном Мюнхене, воспитал отчим, на Запад попавший как военнопленный, а до войны успевший в лагере отсидеть за религиозные убеждения, так что по поводу коммунистических «идеалов» у Сережи сызмальства сложилось четкое представление. Но он так же рано осознал, что режим – это одно, а родина совсем другое. Позавидовать можно, как та эмиграция сумела и в себе самих сохранить любовь к отчизне, и детей обучить, несмотря ни на что, ее чтить, любить.

Сережа, издалека, за океаном, проник в прошлое России, ее культурное наследие гораздо глубже, основательней, чем мы, родившиеся, выросшие на ее территории. Видимо, сама по себе почва не гарантирует прочных духовных корней и патриотического заряда тоже. На переговорах по разоружению в Женеве, если переводчики с советской стороны что-то не успевали, или ленились, или халтурили, Сережа брал часть их работы на себя. Когда мы заезжали за ним в отель, от усталости казался постаревшим, осунувшимся. Обязательства и чувство долга, хотя вроде бы близки, отличаются и в побуждении, и в проявлении. Мы руководствовались извне навязанным «нельзя», а Сережа из «можно» создавал собственное, волевое «нужно». Немногим нас старше, он был зрелым, сформировавшимся человеком, а мы пока нет.

Поэтому, как потом дошло, в неразберихе начала девяностых сориентировался быстрее нас. Отпрянул, уловив сразу гнилостный запашок, тогда как мы чуть было не вляпались, поддавшись на заманы тоже что-то урвать, хапануть. И страшно представить, чем бы это могло закончиться.

Личные убеждения, пожалуй, единственная защита от соблазнов вседозволенности, за искушение коими неизбежно наступает расплата. Катастрофам глобальным предшествует психоз взбудораженной, алчущей добычи толпы. Так случилось в 1917-ом году, и уже на нашей памяти, нашем опыте в смрадных девяностых.

Приватизация государственной собственности – а точнее разграбление державы – подготавливалась не при Ельцине, а значительно раньше, уже в 1986 году. Это не мои дилетантские домыслы, а факты, обнародованные в умной, дельной, жесткой книге социолога Ольги Крыштановской "Анатомия российской элиты", вышедшей в 2005 году в издательстве «Захаров». Там

названы семь этапов становления бизнес-элиты в современной России, и основное, чем эти этапы скреплялись – недопущение со стороны, извне никого. Крыштановская так подытоживает свое исследование: "Богатым в России позволяет быть власть, которая в политическом обществе использует разрешение богатеть как свой ресурс, как привилегию, которой можно награждать достойных. Тех же, кто позволил себе разбогатеть, не заручившись поддержкой власть имущих, ждут репрессии и разорение". Вот и все, мыльный пузырь ельцинско-путинской демократии лопнул.

Большинство, как обычно, прозевало момент дележки втихую, в междусобойчике, когда отбирались олигархи из комсомольцев, приученных теми, кто правил страной при номинальном еще социализме. Сверхприбыли им дали, спустили сверху, и никто случайный в тот тесно спаянный круг не проник. Миф, что миллиардные состояния сколотили самые даровитые, смелые, оборотистые. Их даже просто сообразительными нет оснований называть. Марионетки, чьи дерганья определялись прожженными циниками, остающимися за кадром, вне сцены. Марионетками они и посейчас остаются, усвоив, что задарма, в одночасье даденное, можно так же в одночасье и отнять. На самом деле никакая они не элита, а назначенцы. Вот почему им на страну, на народ наплевать. Хапнуть и сбежать – вот вся их стратегия. И как бы не выряжались, в какие бы не заселялись замки, были, есть и пребудут беспринципным быдлом, не способным не то что сочувствовать, а даже увидеть, заметить сограждан, дошедших до края по их вине.

Молодые, а на глазах размордели, заплыли, не могут насытиться, что опять же есть проявление плебейства, низменной голыдьбы. Бездонность утробы – наказание хамов, возомнивших себя избранниками. Тогда как избранность вовсе не выигрыш в лотерею, а судьба, исподволь вызревающая, постепенно ведущая к, так называемой, удаче, успеху, и судьбу, то, что ею движет, не обмануть.

От качества элитарного слоя зависит все общество. Была ли элита в СССР? Была, несомненно. И к номенклатуре такие люди отношения не имели. Номенклатура, как и олигархи теперешние, назначалась и увольнялась, исчезая с концами. Но кто нынче помнит фамилии некогда всесильных министров, первых секретарей ЦК республик "великого, нерушимого", членов политбюро? А вот те, кто творил музыку, живопись, литературу, свершал открытия в науке – и ушедшие, и существовавшие тогда рядом с нами, – влияли и продолжают на нас влиять.

Как бы советская власть ни давила, ни притесняла,

оставались сферы, ниши, где дышалось свободно, легко, счастливо, можно сказать. Такая элита – да, творческая интеллигенция – определяла ценностную шкалу, нравственные критерии и ту атмосферу, благодаря которой советские граждане не превратились в скотов.

Я, скажем, училась в музыкальной, действительно элитарной, с жестким отбором, школе. Но не социальный статус и уж не деньги родителей решали, кого туда примут, а кого отчислят из любого класса: фильтрование проводилось ежегодно и справедливо, надо признать. Кстати, наиболее одаренные, ставшие лауреатами международных конкурсов, звездами с мировой известностью, поселялись частенько в школьном общежитии, ведь таланты для обучения в той школе собирались со всей страны.

А кто во что одевался, у кого имелись или отсутствовали карманные деньги, из какой кто семьи, абсолютно не имело значения. Главное – дар, и тут никого не обманешь, не сжульничаешь: дар либо есть, либо нет. Все мы, учащиеся, знали, уважали, восхищались, без зависти – завидовать-то тут бесполезно – даровитыми сверстниками, чье будущее угадывалось практически без осечек: блеск, сияние, слава, овации в переполненных их почитателями залах. А в нас, бывших одноклассниках, ощущение сопричастности к их победам, что тоже награда, если ценностная шкала не спутана, не замутнена.

И в литературной молодежной среде, как потом убедилась, действовали те же ориентиры, что и в музыкальной. Проныры, подхалимы, карьеристы встречались, конечно, но в конкуренции по гамбургскому счету не участвовали, сами же устранялись. Признанию у коллег ни стесненность в деньгах, ни трудности с публикациями не мешали. Репутация, подлинная, создавалась вне официальной, начальственной обласканности.

Для меня, в те годы молодой, не составляло дилеммы, присоединиться ли к компании, ужинавшей в Дубовом зале, ресторане писательского клуба, или кофе выпить за пластиковым столом в буфете с Володей Маканиным, чьи тексты и тогда, и теперь считаю первоклассными. Никаких комплексов, что моя подружка, поэтесса Лариса Тараканова, подсядет к нам, надев точно такие же туфли, что на мне. Мы ведь с ней вместе, плечо к плечу, отстояли за ними очередь в ГУМе. А уж какой на Володе пиджак, башмаки, когда он в последний раз в парикмахерской побывал – какое мне дело! Пожалуй, ни я, ни он, и в лица-то друг друга не всматривались. Беседовали, общались. Блаженство! Ни мне от него, ни ему от меня, больше не требовалось ничего.

У нас, моего поколения, были свои герои, кумиры, и в эпоху

так называемого застоя, власть, хочешь-не хочешь, вынуждена была с этим считаться, подлаживаться, приспосабливаться к настроениям в обществе, остерегаясь, как прежде, водружать мученические венцы, только способствующие, как выяснилось, популярности, и сплачивающие, смыкающие ряды вокруг страдальца.

И вот, уцелевшее при советском строе рухнуло с появлениям скороспелых миллиардеров-выдвиженцев. Не сразу. Соотечественники поначалу приняли их не за тех, кем они являлись. Во-первых, их посчитали вестниками свободы, столь вожделенной для населения имперской державы. Во-вторых, в их стремительной успешности, по привычке в россиянах укорененной, видели, старались увидеть неординарность, даровитость. Как же иначе, если они вдруг, внезапно прорвались, выбились в первые ряды?

То, что никаким прорывом и не пахло, не допускалось, не приходило в голову. Грандиозный блеф удался при наивности, инфантильности большинства советских граждан. Мнилось, что побеждают самые энергичные, инициативные – вот что заворожило. Спохватились, да поздно: места заняты. Свободных мест, собственно, и не предполагалось изначально. Их распределили в соответствии с ограниченным, минимальным числом тех, кого выбрали, вознеся к баснословному, сказочному богатству.

Прочих наживой, будто бы легкой, доступной, раздразнив, оставили грызть друг дружку внизу, в грязи, помойке, обломках, оставшихся после демонтированного социализма. Упрямствующих, упорствующих в погоне за химерой удачи, обломившихся непонятно с чего, как нажитых колоссальных состояний, рэкетом обложили, подпустив криминал. Ну а тех, кто отродясь был лишен импульса к бизнесу, предпринимательству, тем более по-новороссийски, вовсе списали со счета. Им не нашлось применения, никакого, нигде. Для обслуживания кучки богатеев много-то народа не надобно. Умение же угождать, без брезгливости, без стеснения вылизывать хозяйскую руку, не всем свойственно. Кто-то, даже перед смертельной угрозой, ну просто не может превозмочь сопротивление своего несговорчивого нутра. Они, значит, балласт. Сократить вдвое, втрое? Способы разнообразны. Не лечить, не учить, споить, приучить к наркотикам – глянь, и вымерла нация. И ведь вправду вымирает.

Вымирает, захлебываясь в блевотине пошлости, вульгарности нуворишеских вкусов. Их спрос нынче диктует все, везде: на сцене, экране, в концертных залах, попсе отданных, в книжной продукции, захлестнутой многотиражной детективно-бульварной

дешевкой. Тоже способ убийства, растления, изничтожения воли народной, готовности к борьбе, даже на примитивном, инстинктивном уровне, за свое и потомства выживание. Очередной эксперимент в стране, где угораздило родиться, может оказаться последним.

Сейчас вижу недоуменно-опасливый взгляд Сережи Шаховского. На моего мужа, на меня, на тех, кто пригласили нас в частный, из первых ласточек, ресторан, расщедрившихся, чтобы нас ублажать царским прямо-таки пиршеством. А зачем, почему, с какой стати? Да-да, за прекрасные глаза… И расплывается, исчезает, по мере съеденного, выпитого, грань реального и желаемого.

Хотя все на самом-то деле просто. Андрей возглавляет Российский фонд милосердия и здоровья. Фонды, якобы благотворительные, для того и создавались, плодились, опять же сверху, что и «талантливые» миллиардеры, как отличная «крыша» для отмывания «грязных» денег. К чему, впрочем, кавычки? И крыша, и грязные деньги, и их отмывание давно, с начала все тех же девяностых, вошли в лексикон россиян. Схема уже вовсю работала, но подоплека все же как-то маскировалась. Не говорилось впрямую: "На инвалидов, сирот, стариков наплевать, пусти в правление фонда нашего человека, он займется финансами, а ты будешь с семьей на Лазурном берегу отдыхать, недвижимость, скажем, в Испании прикупишь, и чем будешь послушнее, тем благополучней. Но вот если рыпнешься, поднимешь хвост, пеняй на себя. А пока, мол, набивай пузо халявой. Коньячку подлить?"

Вот тут Сережа, наш ангел-хранитель, придерживает меня за кисть руки, протянутою за рюмкой: "Надя прошу, не надо, больше не надо, ни тебе, ни Андрею. Давайте встанем сейчас и уйдем".

И мы вняли, ушли. Какая удача! Оказывается, не всегда удачу нужно хватать за хвост, важнее бывает иной раз повернуться к ней спиной, мимо пройти, не оглядываясь. Удача – остаться самим собой. И действительно наплевать, что другие сочтут тебя дуралеем. Кто дуралей, будущее покажет.

КОГДА КУМИРЫ СТАРЕЮТ, ИЛИ ГИПС ПОД МРАМОР

На днях я говорила с человеком, который, вне зависимости от того, кто как к нему относится, не только, безусловно, вошел в историю отечественной литературы, но и является фигурой исторической. Хотя, еще раз уточняю, и тут воспринимать его можно по-разному. Я ему позвонила, прочитав в газете статью, пакостную и по сути, и по форме. Подоплека мгновенно угадывалась: вызвать к себе внимание, упоминая фамилии, всем известные, что уже гарантировало читательский интерес. Трюк извечный: хоть клеветой, хоть как, навязаться в компанию, круг избранных, где на самом-то деле «вас», по выражению Ахматовой, и "не стояло". Поэтому ничьи имена называть не стану. Не хочу удовлетворять амбиции злопыхателя, чья цель – именно скандал, свалка, драчка, и чем больше участников, тем ему слаще: затея удалась! Вон сколько народу собралось, когда на слона набросилась моська.

Растерянность слона тоже случай классический: удивление – за что? Поэтому, видимо, и боль, укусу не соответствующая.

Не жалею, что позвонила, хотя утешений не нашла. На мое банальное – пустяк, не реагируйте, – он правильно ответил: не во мне только дело, а в безнаказанности вообще и в общем же равнодушии. Тут я согласна. Но, не желая, соль сыпанула на рану, сказав, что нынче не пушкинские времена, и чтобы защищать свою репутацию на поединке, под пулями, личная смелость еще не все решает, а надобны и соответствующие, так сказать, обстоятельства: общественная атмосфера, окружение, единомышленники, идеалы, в свете которых репутация выверяется. И проговорилась: сейчас ничего этого нет.

Прозвучало как бы упреком, и он, верно, это почувствовал, как и я, с запозданием. Порыв искренний – поддержку выразить, солидарность, вдруг во мне же наткнулся на преграду, сопротивление. В таком смутном ощущении наш разговор и закончился.

Мой собеседник старше меня лет на пятнадцать, при достижении определенного возраста разница небольшая, но принадлежим мы к разным поколениям. Что тут решает: события, взгляды, вкусы? Но, кроме того, вероятно, и от нас вроде бы независящее, подсознательное, что, помимо личного опыта, управляет нами – пережитое другими, до нас.

Некогда, в разгар гласности, я написала и опубликовала

статью "Старые псы и молодые волки" в защиту «шестидесятников» с экскурсом в историю, параллелями и простеньким выводом, что винить предшественников во всех бедах – одна из немногих традиций, в отечестве соблюдаемых, характерная для нашего менталитета. Выросшим в унижении милосердие не свойственно. Когда старшие, в семье ли, в обществе ли, давят на молодых, те месть вынашивают и, своего часа дождавшись, плюют в лицо уже дряхлым, беспомощным, даже покойникам, совсем уже безответным.

По причине, допустим, дурного характера или же шаткости идейных позиций, у меня, когда начинаю "за здравие", сбой нередко случается, непреднамеренный, и заканчиваю "за упокой". И тогда, в той, статье, обронила, что «шестидесятников» судят нынче по той же схеме, как они судили поколения тридцатых, сороковых. Огульно, исключение делая лишь для тех, в чьем мученическом венце нельзя усомниться. Всех прочих обвиняя – за то, что выжили, уцелели?

Между тем они сами в жертвенном образе себя заявлять явно не собирались. Совершенно по типу не подходили. И слава Богу! Это как раз их заслуга: в затравленном, парализованном страхе обществе кометой, фейерверком вдруг взорвалась, возникла группа, пусть малочисленная, отчаянно смелых, горластых, неуемных, любые препоны преодолевающих. Высказываемые подозрения, что-де их риск был не столь безогляден, пустяшны, мелкотравчаты. А если да – и что? В ЦК КПСС сидели в ту пору не только держиморды, но и светлые головы, классные, выражаясь по-современному, имиджмейкеры. Чтобы страна очнулась, необходим был десант, своей яркостью пропоровший застылую серость казармы. Тут уже не до сдержанности по канонам строгого вкуса, как в поведении, так и в обличии. Кого-то они раздражали, и не только чиновную рать. Но задача ведь ставилась не в расчете на узкий, взыскательный круг, а на охват именно массовый. В толпе, заполнявшей площади, и пестрый до ряби в глазах свитер, и рыжие волосы, и рост высокий, сценичностью, броскостью замечательно дополняли друг друга, составляли ансамбль, западающий в сознание миллионов.

МолодцыЛюдям, истосковавшимся в тюремном режиме, требовались герои, и они появились, соответствуя в точности ожидаемому.

Завистники, помолчите: роль на подмостках истории по блату не достается. Конкурс огромный, а, кроме того, постоянно на публике находиться, под прожекторами, высвечивающими все закоулки души, не каждый не только способен, но и охоч. Тех героев сплетни преследовали всегда. Собственно, они

добровольно себя отдали на пожирание молвы. Но и это являлось условием возложенной на них миссии или, скажем, роли. Критиковать оперу по законам жанра трагедии и глупо, и невежественно. А уж просто гнусно обнародовать подноготное, выдавая осведомленность за приобщенность к неким «тайнам», тогда как разоблачаемый никогда ничего о себе не скрывал.

Их общее кредо – все на вынос, печали, радости, восторги влюбленности, жалость к брошенным женам. С некоторым перебором? Но по сравнению с недавним мертвящим ханжеством – свежий ветер. Как и пиджак цвета "сливочного мороженого", торпедой врезавшийся в сомкнутый строй одинаково мрачных, как склепы, пальто. Моя старшая сестра, их сверстница, как-то, ликуя, сообщила, встретив одного из них: "Ну, весь клетчатый, кепка, костюм, носки, галстук! Такой заграничный!"

И тут они были первыми, их клоунские – оттуда – наряды казались праздником. И если бы не ЦК, мы бы сами, советские граждане, их туда бы послали от нас представительствовать. Они очень выгодно отличались от заторможенных, зачем-то оживших манекенов, составляющих официальные делегации.

Разумеется, и «шестидесятники», и выделившаяся из их недр группа, отнюдь не были однородны. Но я говорю не о лицах – явлении. И в годы наибольшего успеха публика, общество воспринимали их как целостность. Ропот недоброжелателей, что-де слава превзошла по масштабам их природные дарования, несправедлив. Нужен был мостик через бездну беспамятства. Если так долго цепенела душа, если ее оглушали бравурными маршами, мотив простенький, под пастушью свирель, снимал злые чары. Да, не Моцарт. Но тогда незрелое общество, в подростковой стадии, хотело общаться на равных со сверстниками, пусть инфантильными, а все ж лучше, чем ворчливые наставления слышать от потрепанных жизнью взрослых.

Так же несправедливо их обвинять, что дерзости, недопустимые для других, им с рук сходили. И в столах рукописи многолетиями не оседали, даже в «застойные» времена. Нашлись влиятельные защитники, не давшие смельчаков растерзать – и их, и наше везение. Хотя и сами кумиры ошибку делают, сейчас вспоминая свои беды, невзгоды. Бед, невзгод хватало у всех. Их же имидж – победное сияние. У большинства робость, опаска застряли в генах, и, чтобы их одолеть, необходим был наглядный пример озорства, как раз остающегося безнаказанными.

Мы им попустительствовали, они так себя и вели, шумно отвечая нашим чаяниями, нашим комплексам. Все их огрехи, как и достижения, превращались мгновенно во всеобщее достояние.

Правда, нюанс: они, поэты, очень талантливые, существовали как актеры, любимцы зрителей. Что ж, выходит, они взвалили на себя двойную нагрузку. Следует посочувствовать. Теперь, тем более: актеры, к тому же в амплуа молодых, скорее сходят со сцены, чем писатели.

А они задержались, и сейчас еще там. Марафонцы. Впрочем, люди знающие говорят: эстрада, аплодисменты, запах кулис – яд, наркотик своего рода. Опять же злорадствовать нехорошо: тут действительно драма. Неумение вовремя уйти, скрыться от "шума городского", неготовность к старению. Но только ли их личная это слабость? А если они – заложники требований, предъявленных в свое время обществом?

Их страх перед старостью – не от того ли, что пришлось громить, клеймить стариков, как считалось, реакционеров, освобождая дорогу светлому будущему? Азартная велась игра – опрокидывать все, прежде чтимое, с обратным, уничижительным, знаком. Вспоминаю популярный, «перестроечный» «Огонек» под редакцией Коротича, где наряду с отличными материалами, разрывающими пелену лжи, выстрелами в упор укладывались те, кто и без того еле держался, чья вина в основном определялась датой рождения, кто впитал атмосферу эпохи, конечно, зловещей, но чью драму, чью душу, не взглянув, не полюбопытствовав, поспешили растоптать.

А потом оказалось, что если стальной стержень извне в соотечественников не вбит, они распадаются на куски. Даже лучшие среди них мельчают, утрачивают ориентиры, их споры похожи на склоку, каждый тянет одеяло на себя, и никто никого не уважает.

Людям творческим всегда тяжелее всех достается. Они – лакмусовая бумажка: при неблагополучии, духовном, социальном, черты уродства проступают с особой наглядностью именно в них. Так было, так есть и сейчас. Условия, обстоятельства, атмосфера коренным образом изменились, а сущность в людях все та же, весьма неприглядная, и полностью уже обнажившаяся, когда рухнул фасад.

Я не сказала своему собеседнику, почему, мне кажется, не стоит ему отвечать на провокацию: это вчерашний день, и никого уже не волнует. Было – не было? Куда важнее то, что происходит сейчас.

В своих мемуарах наши кумиры, подытоживая пройденное, свидетельствуют, что всю жизнь боролись с большевистским режимом, себя не щадя. Режим уничтожен, они победили, и, надо думать, теперь пришли к власти их соратники, единомышленники?

Нет? Опять – нет? Оттеснили, держат как скоморохов? В глотке, когда-то луженой, осели связки, и силы остались только пантомиму изображать?

Если и вас обманули, расскажите, как, почему это случилось? На баррикады лезть никто не призывает, тем более возраст у вас очень даже почтенный. (Сама поразилась, сверив их даты рождений по энциклопедическому словарю.) Достаточно горестного вздоха, мол, намерения бывают одни, а результаты иные. И если подобная ситуация вновь повторилась в отчизне – это серьезнее личных обид.

Но наши кумиры предпочитают украшать своим присутствием престижные сборища, телеэкраны, радуя поклонников моложавостью, пиджаками цвета "сливочного мороженого". А так же грезам предаются, как тесно они общались с представителями западного олимпа. Их общая, самая близкая подруга – Жаклин Кеннеди, которая, так это выглядит в их мемуарах, дарила им весь свой досуг.

Не понимают, что такого рода активность губит их собственную репутацию? Да и мы, их современники, предстаем глупцами, принявшими гипс за мрамор. Хотя наша тут, считай, историческая ошибка – ерунда по сравнению с настоящей бедой. Нация россиян с каждым годом тает, как запаленная с двух концов свеча – старики погибают от нищеты, молодые от наркотиков, СПИДа, криминала – и в этой агонии кумиры вообще уже не нужны.

СЕРАЯ ЮБКА, ЧЕРНЫЙ СВИТЕРОК

Прежде меня беспокоило, в чем дело, почему ко мне так и липнут злобно-завистливые взгляды? Ну с детства, и даже со стороны таких же, как и я, малолеток. Тогда винила во всем ядовито-зеленые, домашней вязки рейтузы, в которые обряжала меня мама, выпуская гулять во двор. Таких рейтуз не было ни у кого – их вообще не должно было быть в природе, уродливых, с напусками на пузе, бедрах, зато, мама говорила, тепло. Да, тепло, но сверстники меня избегали, издевались, хотя я по крайней мере знала причину: рейтузы. А вот потом, чем становилась старше, тем труднее оказывалось понять, почему, без всякого, казалось, повода вызываю осуждение, слухи, сплетни.

В нашей школе при консерватории учились дети Гилельса, Когана, Ростроповича с Вишневской, которых привозили на «Мерседесах», но на это не обращали внимание, на них самих, впрочем, тоже. А когда мне уже в старших классах перешили шубу старшей сестры из сурка, общественность – о чем, я, кстати, узнала последней – возмутилась, что Кожевникова вырядилась в норковое манто.

А ведь мне казалось, что ничем особо не выделяюсь, ни успехами в чем-либо, ни внешностью. Воспринимала себя неказистой, неловкой, застенчивой. Между тем педагоги жаловались, что взгляд у меня дерзкий, ухмылка пренебрежительная, и Женя Алиханова, скрипачка, с которой мы все десять школьных лет просидели за одной партой, а теперь в Колорадо домами соседствуем, когда учителя меня распекали, что выслушивать следовало стоя, шептала, дергая меня за край школьного фартука: Надька, задвинь челюсть, слышишь, задвинь сейчас же, а то ущипну.

Между тем я вроде как следовала руководствам мамы, внушающей, что если другим что-то можно, то мне нельзя. Что конкретно – не разъяснялось, как и обстоятельства, из-за которых я обязана была принять на меня именно наложенные ограничения. Принять – и все. И не рассуждать. Воспитывали меня и сестер скорее либерально, но в одном мама держалась неумолимо: не высовываться, не привлекать к себе излишнего внимания, быть постоянно настороже, чтобы кривотолков избежать. Ну конечно, а то у нее самой получалось! Из школьного вестибюля запах ее духов разносился повсюду. Та же Женька сообщала: твоя мама приехала, чуешь? Я не чуяла, но мамы стеснялась. У всех родители как родители, а моя точно разряженная новогодняя елка, всегда в центре внимания. В

булочной, в аптеке, в Большом театре, на концертах в консерватории, где бы ни появилась, на нее оборачиваются. То, что она просто красавица, до меня не доходило.

Но мне повезло, я уродилась не в нее, а в отца, что утешало. Девочки-сверстницы прихорашивались, я ни-ни, никаких женских ухищрений. Очки, походка с загребом, намеренная сутулость. Защита моей нежной души. Вот в ценности души уверена была стопроцентно. Чаша Грааля, ни дай Бог расплескать. Вроде и робкая, но ничего не боялась. По дурости. После поздних уроков в консерватории на автобусе номер шесть, от улицы Герцена в Лаврушинский переулок, возвращалась с папиной финкой в кармане. Что думала? А ничего не думала. Москва тогда была городом, криминалу, как нынче, не сданным. И в темную подворотню дома, где прошло мое детство, входила без трепета. Жуть охватывала в родительской квартире с длиннющими, мрачными коридорами и запахом как в подземелье.

Была ли я одинокой? Так, по-моему, все дети одиноки, но либо сознают это, либо нет. Я скорее нет. Шумность, активность, болтливость отвлекали от того, что сидело занозой в глубине. Недосуг в себе разобраться, ни в детстве, ни в юности, отсюда вроде как оптимизм. С годами я не изменилась, а ближе сама с собой познакомилась. Потребность же в общении с другими угасла, вместе с зависимостью от оценок окружающих.

В молодости очень в их поддержке нуждалась и обижалась непониманием. Закончив институт, стала часто и подолгу ездить в командировки с асами-фотокорреспондентами, Саней Награльяном, Левой Шерстенниковым, с которыми сдружилась, и удивило их признание, что от меня ожидались капризы, хныканья, и как было хорошо убедиться в обратном. Но ожидались с какой стати, откуда возникло такое обо мне мнение? И почему я должна преодолевать преграду априорного недоброжелательства, предшествующего моему появлению где-либо? Хотя я лично враждебности к себе не ощущала, пока меня не информировали доброжелатели.

Приезжая в отпуск домой из Женевы, где муж в международной организации работал, знала, что заграничные шмотки при дефиците всего на родине могут соотечественников раздражать. Поэтому, прежде чем что-то надеть, тщательно выбирала каждую тряпку, чтобы особенно у коллег отторжение не вызвать. В ЦДЛ, писательский клуб, направляясь, определила себе униформу: серая юбка, черный свитерок.

В то время среди пишущих большинство составляли мужчины, женская проза донцовых-марининых дремала еще в их кухнях. И я упивалась братством, товариществом на равных, как

мнилось. Считала, что способность долго дружить важнее, чем кратко любить. И вот как-то, в той самой серой юбке, несвежем уже свитерке, сижу за столиком с приятелем, в так называемом Пестром зале, где не столько ели, сколько пили, а, главное, разговаривали, как говорится, по душам. Собственно, ради того на родину стремилась, чтобы и самой излиться, и другим дать высказаться при взаимном доверии.

Вдруг приятель очень серьезно на меня смотрит и произносит: "Надя, я как друг должен тебя предупредить. Не наряжайся с таким шиком, вызывающе, тебе это не пристало и враги лишние не нужны".

Я онемела. Как, зачем же тогда старалась, ходила в одном и том же свитере, если зависть возгорается все равно, в независимости ни отчего? И что они, слепые? Не приняли, не оценили моей аскетической скромности, усердия за серую мышку сойти. Тогда что же – все равно.

Но все превзошел эпизод в Краснопресненских банях, где, как известно, все голые, любая побрякушка на теле в парной жжет. Сижу на полке и слышу реплику: "Мань, скажи той, что вся из себя, пусть подвинется, а то расселась, видите ли".

Это ко мне? Да не может быть! Оглядываюсь – кто там расселся? – и встречаю испепеляющий ненавистью взгляд. Батюшки, за что? Да ни за что. А злоба лютая, беспричинная, немотивированная. Или я действительно другая? А, возможно, не я, а они другие?

В Европе, на Западе, люди приметливы, излюбленное развлечение – сидеть, попивая винцо в кафе, и на прохожих глазеть. Откровенно, но без осуждения, обособленности ни своей, ни чьей не нарушая. Ну что ли общая, всеми принятая установка, от образования, социального статуса независящая. Но и степень цивилизованности тоже, пусть на элементарном, бытовом уровне.

Будучи в Африке, вспомнила, узнала в упор сверлящий взгляд своих соотечественников. Хотя тут, как с зелеными рейтузами, объяснение все же находилось: я белая среди черного большинства. А вот почему на родине так неуютно себя чувствовала, будто провинилась в чем-то?

Впрочем, получалось, что провинились все, все готовы к отпору, к агрессии, к хамству на хамство. Все кидались друг на друга, одновременно друг к дружке жавшись, иначе, в одиночку не уцелеть. Считается, что мы чуть ли не самый отзывчивый в мире народ, а так ли это? От подобной отзывчивости разве не устаешь? Я, например, устала.

В Америке, где сейчас живу, редки пики в человеческих взаимоотношениях, и по высоте благородства,

самоотверженности, и по изощренной, предательской низости. Безразличие? Возможно. Капитализм – не рай, вымечтанный коммунистическими вождями, ради чего половину страны за колючую проволоку загнали. Тут трудятся, выворачиваясь наизнанку, и на эмоции трепетные, изысканные не остается сил. Про это смотрят кино и даже сопереживают. В кинозалах иной раз раздаются всхлипы, но расходоваться на домашний театр, с воплями, заламыванием рук, мало охочих.

У нас в околотке соседи и не соседи здороваются при встрече. Постепенно опасение исчезло, что моя дурашливая улыбка провиснет в пустоте. Нет, ее обязательно подхватят, как мяч на теннисном корте умелые игроки. Им будет неловко, если я ответного приветствия не дождусь. Мне неловко, если вдруг задумаюсь и на сигнал в тридцать два зуба вовремя не отреагирую. Лицемерие? Более того, натуральный эгоизм. Не хотят ни себе, ни другим настроение портить. Злобный выплеск, как бумеранг, возвращается к тебе же. Все очень просто, примитивно. Почему же так трудно нашим людям простым правилам общежития, в цивилизованных странах принятых, следовать?

Колорадский климат известен мгновенными перепадами, сегодня ходишь в шортах, завтра снег выпал по колено, и мороз щиплет нос. И вот я решилась в один из таких денечков, минус тридцать по Цельсию, напялить, выгуливая собаку, песцовую шубу до пят. Думала, уж сполна получу от разгневанных обывателей, для которых шуба – позор, посягательство на святое, природу, убийство братьев меньших. Бреду по снегу, ожидая негодования, осуждения возмущенной общественности.

И ничего. Как всегда улыбки приветствия. Осенило: они не видят, им все равно, во что я одета, да хоть с ведром на голове, хоть вообще без ничего. И почувствовала колоссальное облегчение, будто от тяжкого груза избавившись. Свобода! Свобода и в том, что никто на тебя не пялится, никому до тебя дела нет. Помощь понадобится – откликнутся, а без зова не станут лезть. Америка, поздно я с тобой встретилась. Но зато смогла оценить.

ГАРАНТ ПРИСУТСТВИЯ

Мой семилетней давности приезд на родину носил чисто деловой характер: оформление документов требовало нашего с мужем физического присутствия, и мы вылетели из Денвера, через Франкфурт, в Москву.

Ничто теперь не напоминало прежние годы, когда в Шереметьево меня встречал отец, и, завидев его в толпе у таможенного контроля, я не могла сдержать рвущееся из нутра нетерпеливо-ликующее поскуливание, как у нашего щенка скотч-терьера в предвкушении прогулки. И безликие новостройки, и чахлый, в приближении к Переделкино, лесок, и отцовская дача, неказистая, обветшавшая, утратившая уют после маминой смерти, воспринимались с радостным узнаванием. Более того, именно убогая неприглядность окружающего трогательной казалась. Через призму привязанности к отцу, в разлуке с ним, ожидании наших свиданий, удерживалось тогда несомненное: тяга к родному очагу, месту рождения.

Мы рассчитывали уложиться с делами в десятидневный срок и, минуя столицу, где уже не имели жилья, по кольцевой прибыли в переделкинский дом творчества писателей. Сочли удобней, ни у кого не одалживаясь, там остановиться, на всем готовом, трехразовом, не важно какого качества, питании, тем более, что мне как члену союза писателей на путевки полагалась скидка, и предложили даже номер-люкс. В «люксе», правда, унитаз не работал, пришлось сантехника призывать, но опять же не важно, мы ведь не для отдыха в комфорте сюда приехали. Диван с отваливающейся спинкой муж починил сам.

Медсестра Валя, уборщица Таня, секретарша директора, официантки в столовой здоровались со мной так, будто я отсутствовала не больше недели, и у меня самой возникло такое ощущение. Москва нуворишей с супермаркетами, дорогущими бутиками, ресторанами, казино ничего мне из прошлого не навевала – чужой город, и я там чужая, а вот Переделкино, где прошло детство, с реликтовым лесом, усадьбой славянофилов Самариных, церквушкой времен Ивана Грозного у кладбища, хотелось надеяться, сохранится прежним. И сохранится – в моей памяти.

Среди постояльцев дома творчества никого из знакомых не оказалось. И в оба корпуса, и в дощатые дачки на литфондовской территории заселились представители среднего, а точнее, мелкого бизнеса, забив гараж под навесом и подъездные пути подержанными иномарками. Писателей же как волной смыло.

Хотя чему удивляться? В стране, в обществе сдвинулись пласты, одних на поверхность вынесло, других под обломками подмяло, расплющило, как писателей, так и читателей. И тех и других слишком много, видимо, расплодилось. Если державу сочли великоватой, так и население почему бы не сократить. Логично, правда?

В день приезда, купив у старушки на станции – Переделкино! Следующая станция Мичуринец! – букетики ландышей вместе с корзинкой, в которой она их продавала, пошли на кладбище. И вот там я запаниковала. Муж, с преувеличенной твердостью: найдем, обязательно найдем! Но как?! Когда хоронили маму, ее могила на спуске пригорка у церкви только начала новый ряд. Папа спустя семь лет лег с ней рядом, и ряд тот же еще не замкнулся. Так где же тропинка, по которой я столько раз в дождь, в снег пробиралась почти вслепую? Что за мор напал на народ, пусть не образцовый, правильного образа жизни не придерживающийся, но чтобы так косить, рядами косить… Это даже не кладбище, а поле битвы после вражеского будто нашествия. Проблуждав, своих мы нашли. Родителей, старшую мою сестру Ирину, а потома я схватывала, считывала с надгробий имена: значит, и этот, и та, и те… Вдруг мелькнуло: а я-то сама как уцелела? А что уцелела, уверена?

За ужином выяснилось, что писатель, один, все же нашелся. Официантка Галя, с которой, как она не без кокетства заявила, мы вместе лепили в песочнице куличики, – не помню, но допустим, хотя моя ровесница, расплывшаяся, с заштукатуренными морщинами, по первому взгляду, признаться, устрашила, – сказала, что посадит нас за стол с популярным поэтом-песенником, в доме творчества застрявшем после инсульта. Добавила: ну чтобы хоть было с кем поговорить. Нашествие мелкого бизнеса у обслуживающего персонала энтузиазма, видимо, не вызывало.

Муж предложил пройтись, взглянуть на нашу, то есть уже бывшую, дачу, но я отказалась. Прогулка его затянулась. Объяснил, почему. По разбитой дороге, в отсутствии тротуаров, – бульдозеры, грузовики со стройматериалами, а также джипы, «Мерседесы», неслись на такой скорости, что приходилось в кюветы, канавы запрыгивать, чтобы не сшибли. А с улицы Лермонтова к лесу теперь напрямик, сообщил, не пройти, высоченный забор, коттеджи возводят, вроде как от Газпрома. Я знала, не новость, но в переменах таких собственными глазами удостоверяться не считала нужным. Зачем? Все решено, обговорено, остались формальности, и нечего попусту себя растравлять. Эта страница жизни прочитана, переходим к

оставшимся. Но сразу перейти не получилось.

Слух о моем приезде, а точнее, окончательном отъезде взволновал переделкинскую общественность сильнее, чем я могла, за океан переселившись, предположить. Забылось, с каким жадным, неутоляемым интересом на родине впитываются, передаются новости, для посторонних в сущности малозначащие, но принято почему-то быть в курсе, в осведомленности от других не отставать. Своего рода престиж: как, неужели не слыхали… При встрече, по телефону передается свежая информация, а тот, кого обсуждают, – дурак дураком, в полном неведении.

О нашем визите я оповестила лишь двух ближайших подруг, да еще нескольких коллег-приятелей. Они поспешили нас навестить. В столовой Галя-официантка раздвинула стол, выставила дополнительные приборы, бокалы, нашлась даже белая скатерть. И начался пир, многодневный, с разрастающимся день ото дня количеством участников.

Подобной выносливости ни я, ни муж от самих себя уже не ожидали. Стало традицией и Новый год, и другие праздники отмечать семейно: мы и наша дочь. Обстоятельства, разбросавшие нас по разным странам, научили ценить, дорожить общением друг с другом, ни на что, ни на кого не отвлекаясь. От шумных, людных застолий отучились. И вдруг оказались в бурлящем потоке чрезмерного внимания и возлияния.

Бдения за полночь в доме творчества чередовались с приглашениями на дачи, террасы, беседки, "вишневые сады" наследников, чьи отцы в недавнем прошлом составляли привилегированный могучий клан советской литературы. Литература такая, многотиражная, оплаченная щедрыми гонорарами, балансирующая на грани запретного и дозволенного – покровительстве государства, власти и пренебрежении, ненависти к ним, рухнула вместе с державой, где кнут и пряник являлись основополагающим принципом, методом воздействия на население. Правда, избавившись от кнута, пряника тоже лишились. Что же осталось? Да вот облинявшая декорация дачных построек, прежде, при суровом, своеволий, капризов не допускающем советском строе, казавшимися роскошными, но в сравнении с тем, что в лесу, безжалостно вырубаемом, возводилось, теперь глядевшимися лачугами, обреченными вот-вот на снос.

Неизбежным угасанием, запустением сквозило отовсюду: от осевших, с надсадным скрипом отворяемых калиток, ставней, криво провисших на ослабших, ржавых петлях, щелястого крыльца, продавленных антикварных диванов – то есть былого, бывшего, что нас, в очередном застолье собравшихся, еще как-то

связывало. Или казалось, что связывало.

Прежде, ни в детстве, ни в юности, с обитателями переделкинских дач, моими ровесниками, у меня спайки, сплоченности не возникало. Сосуществовали мы рядом, но параллельно, не соприкасаясь, еще, возможно, и потому, что я училась в музыкальной школе при консерватории, где постоянная, всех со всеми конкуренция не оставляла досуга ни на что. Я не участвовала ни в играх, ни в развлечениях, вечеринках, романах на дачном, летнем приволье, занятая исключительно долбежкой по клавишам. Рояль, требующий аскетического служения, обделил мою молодость веселой беспечностью, свойственной возрасту, но и кое-что воспитал, важное, думаю, не только в профессии, к которой тогда готовилась. Не став пианисткой, я научилась в обособленности, одновременно и вынужденной, и добровольной, ощущать себя органично, ни об ущербности, кому-то, верно, во мне заметной, не догадываясь, ни о преимуществах, что обособленность обещала, хотя и смутно.

Но неожиданно бурное братание, дружно организуемые проводы в канун моего окончательного отбытия из переделкинского круга, заполнили как бы брешь взаимного, и с их, и с моей стороны, многолетнего, привычного отчуждения, обнаружив глубоко запрятанное: неужели, несмотря ни на что, родство?

Хотя все-таки, предаваясь блаженству воскрешаемого прошлого, от разговоров о настоящем я воздерживалась. Так на перроне вокзала, когда провожающих и отъезжающих, пусть даже ненадолго, допустим, в отпуск, стена, маскируемая оживлением, разделяет. С детства тоску эту предотъездную знала, накатывающую одновременно и в ожидании нового, неизведанного, и в сожалении, до спазм в глотке, об оставленном. Состояние раздвоения, мне свойственное, тем еще теперь усугублялось, что я ведь не только уезжала, но и возвращалась, причем домой. Как так, а здесь я где? А здесь в гостях. В гостях на родине.

Но уж точно сразило, когда в дверь нашего «люкса» кто-то постучался, и на пороге Борька возник, мой друг-одноклассник, некогда жгуче рыжий очкарик, маленький, щупленький, что не мешало ему сердцеедом прослыть. Именно прослыть, мне-то было доподлинно известно, оказавшись не объектом его обхаживаний, а наперстницей, сообщницей, в его пятнадцать лет самой главной тайне: Борька боялся девочек, но страх свой перемогал. А вот сцены, любой, и в школьном зале, и в консерваторском, Большом, ничуть. Это, мне не доступное, не постижимое, в нем восхищало. А его ко мне уж не знаю, что привлекло. Способность, возможно,

хранить чужие секреты, беспечно разбалтывая собственные.

Так называемый новый, на самом деле тоже старый, давно построенный и теперь неопрятно облупленный корпус дома творчества, куда нас заселили, огласился непотребными для утонченного слуха представителей мелкого бизнеса взвизгами. Ну, действительно, неприличие какое, двое, отнюдь не первой молодости, вцепились друг в друга, вопя истошно, нечленораздельно, с рефреном: "Ты, неужели ты?!"

И правда, ну как Борька мог здесь оказаться, как, от кого узнал о моем тут постое, живя в Италии, неподалеку от Болоньи? Иной раз мы перезванивались, а когда я с Андреем во Флоренции оказалась, он и там нас навестил. Подумаешь, в Европе какие расстояния, сел в машину, без проблем. Но здесь, в России, нашей встречи ничто не предвещало, мистика прямо. Хотя, выяснилось, все просто. Борька приехал сюда на гастроли, к нему в артистическую явилась Аня, с которой я же его в студенческие еще годы познакомила, нынче живущая на три страны, в Германии, Израиле и России, мотаясь туда-сюда к своим детям от разных браков, и сообщила о моем в родные пенаты приезде. Опять же просто, разве нет?

Ведь и со своей, с детства, подругой Женей, скрипачкой, соседкой по парте все школьные годы, я и нынче соседствую, уже в Колорадо. Из-за того, что Женя в Колорадо осела, мы и выбрали этот штат. И Ленка, наша соученица, но из параллельного класса, вылущилась по той же схеме из Принстона. Нормально, что мы везде находим друг друга, и магия совместно прожитого, тем более в юности, самом важном, определяющем человека, его становление этапе, и теперь не обесценилась для нас. Удивительнее иное, что и моих одноклассников, и сокурсников, в таком количестве, – всех я, разумеется, не перечисляю, – вынесло за пределы страны. По причинам, мотивировкам различным, но в чем-то сходным: мы приняли этот жребий, вызов – начать все сначала, без всякой страховки, поддержки, связей, нажитых дома. Ну не безумие ли?

Борьке мы рассказали, что по приезде в Америку, Андрей, пока искал работу, что называется, по специальности, – а мог бы и не найти – нанялся продавцом в обувной отдел магазина-гиганта Nordstrom, а потом встал за прилавок с брильянтами ювелирной компании Shane. И Борька, виртуоз, лауреат международных премий, в Италии преподающий в обычной музыкальной школе, хотя и называемой пышно академией, обнял Андрея: какой ты молодец! Да, согласна, хотя практически любая судьба эмигранта с пряников не начинается. Знаю человека – владельца шикарного ювелирного магазина в центре Манхэттена

на Мэдисон, 25 лет назад таскавшего на себе туши в мясной лавке Квинса. Американский менталитет тем еще отличается от европейского, что если там титулами, родовитостью, аристократизмом предков кичатся, то здесь – трудностями, предшествующими успеху. И в семьях детьми, внуками, правнуками помнится, уважается первопроходец, прибывший сюда, за океан, что называется, без порток.

Такой пафос смелого, отчаянно, сказала бы, смелого самоутверждения, сближает социальные слои американского общества, разумеется, классового, разумеется, очень несхожего как в материальных возможностях, так и в уровне удовлетворяемых потребностей, но непреодолимых перегородок, традиционно в европейских странах укоренившихся, здесь нет. Чувство достоинства здесь никакая не привилегия, а общедоступное и, может быть, главное достояние любого американского гражданина, от посягательств и лично, и законодательством защищаемое.

Вот в чем, возможно, секрет американской корректности, обоюдной вежливости, меня, в других условиях воспитанной, все еще умиляющей. Зачем вникать в подоплеку, почему мне улыбаются продавцы, кассиры, хозяева бизнесов, обслуга? А просто встречные? А другие водители, без истерических сигналов, терпеливо ожидающие, когда я, зазевавшись, проеду на зеленый, и на перекрестках дорогу уступающие, а уж в качестве пешехода я вовсе как священная корова в Индии: иди-иди, пожалуйста, подальше от греха… Из нутра, к хамству тотальному приученного, а все же, как выясняется, ранимого, возникает тепло, признательность – да ни за что. За атмосферу, которой все дышат. Несущественное вроде бы, ни на что не влияющее – капитализм, беспощадная конкуренция – а почему-то утешает, потребно душе, чтобы без повода, без смысла, а так, по инерции, ее не оскорбляли, не тыкали, как кутенка, напустившего со страху лужу.

Еще мне в Америке нравится, очень нравится отношение к животным, и к диким, и к домашним. У нас, например, в околотке прижилась лиса. Встречала ее не раз, трусящую через дорогу, с неспешной, надменной царственностью, хвостом роскошным помахивая, так машины шеренгой выстраивались, пока она на обочину наконец не вступит. А сонмы гусей, слетающихся из Канады на зимовку к нам в Колорадо? Опять же, никто их, обнаглевших, гигантских, как птеродактили, не вспугнет. Природа – святое, божественное. Что ли ученики-последователи Спинозы, упорно века назад доказывающего божественный промысел во всем, что нас, людей, окружает, собрались здесь, со

мной теперь рядом? Неужели только пересекши океан, я нашла свое, от рождения близкое, внятное?

Здесь принято, похвально брать собак, кошек из шелтеров, то есть брошенных, как правило, беспородных. И холить их, лелеять. А в Москве, на нефтяных долларах распухшей, в данный момент, по приблизительным подсчетам, более 20 тысяч бродячих, одичавших сбившихся в стаи псов. И не только дворняжек, но и породистых, хозяевами выгнанных. Кто же на самом-то деле одичал? Считаю, люди. И причины искать им надо в себе. В условиях собственного существования, с которыми они в очередной раз раболепно, по-скотски смирились.

На посиделках в одной из переделкинских дач Петя, театральный режиссер, сын известного, в эпоху, навсегда в никуда канувшую, драматурга, произнес, как бы ни к кому не обращаясь:"Ну а что бы я, например, делал в Нью-Йорке? В таксисты что ли идти?" Я отреагировала: "У таксистов тоже сильная конкуренция, не так просто устроиться, тем более в Нью-Йорке". Повисла пауза, но, внимания на такой сигнал не обратив, продолжила про Андрея, устроившегося продавцом в магазин, обувной, а потом ювелирный. И полное ошеломление. Марина, жена Пети, аж вскрикнула: "Андрюшенька, бедненький, какое унижение!"

Унижение? А видеть, как на ваших глазах вырубают лес, и не посметь даже пикнуть, разве не унижение? Не унижение получать за режиссерскую, актерскую, журналистскую или еще какую-либо работу такие крохи, что предпочтительнее вовсе ничего не делать, существуя на ренту от сдаваемых в аренду либо московских квартир, либо вот этих дач? Не унижение от страха дрожать, что кто-нибудь настучит в налоговую службу, ведь ренту вы получаете наликом и никаких налогов с нее не платите? Не унижение жить в стране, где вас снова обдурили с бесцеремонной наглостью, не сомневаясь, что вы все сглотнете, потому что рабы, и осознать даже не способны собственного унижения?

Унижение? А вы полагали, что нас в Америке ждали, раскрыв объятия и скатерть-самобранку расстелив? И мы так ловко все рассчитали, спланировали, приехав из Женевы в девяностом, начав сразу же заново, капитально благоустраивать половину отцом мне завещанной дачи, построив кирпичный, на двух уровнях гараж, отдельный домик для гостей, растратив и деньги, и силы. А потом, исключительно по подсказе не иначе как дьявольской, вражеской, от прочих, честных сограждан сокрытой, через три года с двумя чемоданами снова в Женеву на шестимесячный контракт отбыли, а дочку шестнадцатилетнюю, одну, отправили учиться в Нью-Йорк?

Ну даМы для того завезли из Швейцарии черт-те знает сколько всякой всячины, от сантехники до мешков с семенами газона, – доставка багажа международной организацией, где Андрей работал, по контракту оплачивалась, – чтобы все это бросить, оставить в подвале гнить, разворовываться?

Нет, ошибаетесь, мы не пифии, Мы – простофили. Мы собирались тут укорениться, основательно, добротно. Но и самый высокий забор от того, что его окружало, подступало к калитке, не спасал. Андрей с той поляны, где теперь новорусские коттеджи понастроены, регулярно, еженедельно собирал и увозил на тачке битые бутылки, консервные банки и прочие радости, оставляемые после пикников соотечественниками, так вот резвящихся на лоне природы. И нам их было не переделать, и им нас. Борьба на износ, кто раньше сдастся. Сдались мы.

Давно, еще в Женеве, Шимон Маркиш, профессор кафедры славистики Женевского университета, отца которого, поэта Переца Маркиша, расстреляли при Сталине вместе с другими, обвиняемыми в сионизме писателями, в ответ на мои беспокойства по поводу дачи, тогда ощущаемой, воспринимаемой живым, оставленным без надзора существом, сказал, с раздражением при его деликатности неожиданным: "Да что вы, Надя, себя изводите попусту, понапрасну? Дом человека там, где он живет. Продайте дачу и успокойтесь, замерзли ли у вас там трубы, лопнули ли, снесло ли ураганом крышу, не ваша забота. Продайте. Дом не фетиш, а просто жилье, содержавшееся в порядке теми, кто в нем находится. Все, и ничего более".

Я тогда удивилась, возмутилась: продать дачу, родовое гнездо?! Да не родовое – стать родовым не успело, не потянуло, тем моя родина и характерна, что преемственность там во всем, и в материальном, и в духовном, перерубается из колена в колено. Немногим удавалось в привычном, дотлевая, доживать. Но тлеть, рыпнуться не смея, парализованными вечным страхом, в гены проникшим, это что, это как, это жизнь?

Нужны конкретные, личные мотивы? Они давно уже лейтмотивы, в поколениях накапливаемые, но для большинства так и нереализуемые. Что держит? Да многое, конечно. Деда моего, в ссылку при царе отправленного, к меньшевикам, Сталиным разгромленным, принадлежавшего, удержало. Отца удержало. Мне ли их осуждать? Но есть и еще объяснение: в нации дремлющее и при казарменном социализме закрепившееся безропотное, под давлением, смирение. Существование в зоопарке, в клетке, с регулярной кормежкой-баландой, даже у свободолюбивых хищниках инстинкты, природой заложенные, притупляет. При побеге из зоопарка, пока служители-надзиратели

нарушителя ловят, из клеток общий, согласный вопль: "Поймайте, верните, спасите! Ведь он, она, они там погибнут!" Те, кто в клетках, руководствуются наилучшими побуждениями. В искренности такой и тех, кто устраивал мне, нам с мужем, отходную в Переделкино, не сомневаюсь. Но искренность не всегда однозначна. Они так считали, им так внушили, не догадываясь, что нас с ними разделяет. А объяснить это словесно нельзя.

Пока дача стояла, за мной числясь, проходящие мимо, возможно, роняли: "Кожевникова еще за границей? Вернется, никуда не денется". Их, что ли, утешало, что и я никуда не денусь. Как и они.

Дача служила будто гарантом моего, пусть незримого, среди них присутствия и, что важнее, правильности их позиции – принятия, покорного сживания с тем, с чем на самом деле сживаться нельзя.

Во мне-то, как я есть, они не нуждались нисколько. Меня олицетворяла именно дача – баланс, необходимый в их мироощущении, пассивном, инертном, с пугливостью отвергающем любой риск.

Патриотизм? Да увольте. Они не в стране жили, не в стране остались, а за своими заборами, в ветшающих, не ими, а родителями их возведенных одноэтажных или двухэтажных постройках. В условиях и при возможностях, в пух и прах разлетевшихся под напором очередной новизны. Очередной, в России бесперебойно поставляемой, алчной, беспринципной голытьбы.

Когда только-только на поверхность всплывший слой опять срезается, ну что, кто в итоге остается? Пример. С малолетства, в переделкинский лес мы с отцом отправлялись по грибы. В основном сыроежки, опята, если белые попадались – экстаз. Папа раскрывал перочинный нож и на коленях со всеми предосторожностями срезал ножку. Не дай бог, потревожить, нарушить грибницу. Я, добычу найдя, его окликала, себе, в азарте, не доверяя. И удовольствие доставляло тщательность, трепетность движений его рук, особенно левой, ранением на войне поврежденной, с раздолбленными осколками пули косточками. Страна. Я бы хотела видеть ее вот такой, бережно, свято охраняемой. Но, извините, не вижу.

От переделкинских, напоследок, наших прощаний, со всем, со всеми, фотография осталась. Сижу в застолье на даче у кого-то, пригорюнившись, закручинившись, как пожилая Аленушка у пруда, где, в интерпретации патриотического Васнецова, утоп ее любимый братик Иванушка. И утоп. В сказке только воскрес. Но в

сказке лишь.

И знаю, помню, о чем думала тогда: домой хочу. Домой. Ну пусть, как Шимон Маркиш выразился, просто в свое жилье, которое надо и можно содержать в порядке.

ФОКСТРОТ

Этот мебельный, из карельской березы гарнитур назывался «кавалерка». В него входили приземистый платяной шкаф, секретер с полкой для книг наверху, стол, вроде письменный, но зачем-то к нему прилагались четыре стула, а самым главным, важным являлся диван, начиненный потайными ящичками и с боков, и понизу, и в изголовье из массивной тумбы – вот было наслаждение их изучать!

Гарнитур мама приобрела в самом начале их с отцом брака, его вкусы, привычки еще должным образом не успев изучить, не успев отвыкнуть от обстановки в квартире Дома на набережной, где жила со своим первым мужем, летчиком, за покорение северного полюса получившего звание Героя Советского Союза. Мама оттуда ушла с ребенком, моей старшей сестрой, взяв беличью шубу с пелериной, муфтой и капором, которые не носила, так как папа вещи подобного рода, насмешливо щурясь, называл «генеральскими» – до такого чина дорос бывший мамин муж.

Гарнитур из карельской березы тоже выглядел «генеральским», и в комиссионку, где мама его купила, попал, видимо, среди прочей трофейной добычи, вывозимой эшелонами из разгромленной, разграбленной Германии. Папа с мамой поженились в сорок пятом, в канун победных в стране торжеств и нахлынувшего трофейного импорта, мейсеновских сервизов, хрустальных ваз, настенных часов, кожаных пальто и прочей роскоши, в советском быту непривычной.

Папа, дойдя до Берлина, привез патефон в плоском сером футляре с набором пластинок, фокстротов в основном. Но патефон оказался испорченным, папе некогда было исправность его проверять, вообще в сфере житейской он хваткой не отличался. Как-то, явившись с фронта, примчался на свидание к маме на заляпанном «газике», и когда она увидела, чем он протирает ветровое стекло, выхватила это у него из рук – бальное, бархатное, с изумительной вышивкой платье, как выяснилось, из гардероба владельцев компании «Мерседес», в поместье которых папа побывал на постое. Его коллеги, военкоры, лучше сориентировались и по-умному распорядились набитым машинами гаражом, а папа схватил первую попавшуюся тряпку, полагая, что с толком на военных дорогах ее употреблял: отлично грязь впитывала. И удивился, смутился ликованием мамы, тряпку примерившую, пришедшуюся ей в самую пору, при том, что размеры мамины со стандартами не совпадали: узкий таз и

пышный, во всех смыслах выдающийся, бюст. Хочешь-не хочешь, вид получался царственным, вне зависимости ни от чего, что ни надень. Но надеть мама могла только пошитое у портних. Такая зависимость ее в молодости и до старости, помню, удручала. А тут надо же, у жены владельца автомобильной империи параметры точь-в-точь с ее совпали! Чудак наш папа, сграбастал бы для нее охапку таких нарядов. Но их роман только-только начинался, ни он, ни она пока не подозревали, во что он выльется – в пожизненную, до гроба, связку. Хотя изначально совпадения не обнаруживалось ни в чем: ни в характерах, ни в интересах, ни в среде, ни в предшествующем опыте. Антиподы. И ведь умудрились же, честь обоим и хвала, из зова плоти создать нерасторжимый союз, на фундаменте которого воздвиглись дом, семья, разросшаяся и пестрая как цыганский табор.

Я свидетель: мама нравилась отцу всегда, любой, мудрой, взбалмошной, ослепительной, невзрачной. Не имело значения. Нравилась! С того, верно, момента, когда он, закоренелый, считалось, холостяк, рухнул от напора безоглядной, бесстрашной, бескорыстной женской страсти. То есть маме удалось то, что до нее никому. После претензий того же рода многих, он откликнулся однажды и навсегда, верность, преданность сосредоточив исключительно на нашей маме. На могилу ее на переделкинском кладбище шел, будто я тянула его, упирающегося, на поводке. Не нужно это ему – соблюдение правил, ритуалов с цветами, замиранием у памятника. Мне, собственно, тоже, но надо, как думала, ради него. А он терпел, страдал в одиночестве, и наше, детей, мельтешение одиночество его, пожалуй, усугубляло. Мама для него была живой: застилая утром его постель, я замечала, что слева, ближе к окну, ни подушка, ни простыня не измяты. Место оставлено для нее: вдруг придет? И, может быть, приходила…

Для меня, дочери, он воплощал идеал мужской красоты, в малолетстве пыталась, как он косолапить, и мама таскала меня по врачам, недоумевающими с какой стати с ногами без изъяна у девочки обезьянья стойка: колени подогнуты, носки внутрь. Папа в юности боксом занимался, а я имитировала все его повадки, добиваясь, помимо внешнего, врожденного сходства, полного, абсолютного слияния, природе, полу вопреки. Мнилось, что он ждал не меня, а сына. Долгом считала разочарование его, наследника лишившегося, смягчить. И преуспела, почти преуспела, вдруг, на излете уже его жизни догадавшись, что он вовсе в ином нуждался. Мы с ним настолько совпадали, что не оставалось зазора для таинства – источника волшебства, загадок, необходимых в любви. Моя прямолинейность, правдивость до

примитивности, грубости, такого, как он, отторгали. Его, стопроцентного мужчину, противоположность влекла. Я же, упрямая, задиристая, бескомпромиссная, постоянно лезущая на рожон, воплощала, видимо, недостатки, его натуре присущие, с которыми он в себе боролся. А, возможно, олицетворяла то, что он хотел забыть…

"Кавалерка" та самая, из карельской березы, в результате блужданий без применения, по родительской в Лаврушинском переулке квартире, перекочевала, зажалась в комнате-пенале, где я подростком обосновалась. В так называемой детской мы с младшей сестрой не ужились, то бишь я с ней не ужилась. Отвоевала собственную территорию, пусть тесную, с узким окном в неприглядный, с мусорными баками, двор-колодец, но зато с обозримой оттуда верхушкой колокольни церкви, куда меня няньки под видом прогулки приводили, где я томилась смутным, неведомым, и лишь хоровое пение возвращало к себе, к согласию с собой, и тогда, без нянькиных понуканий, сама становилась на колени.

"Крестить бы ребеночка, вишь, душа просит", – товарки няньку увещевали. Она им: "Боязно, узнают, от места откажут, ежели ну по секрету… Наденька, папе-маме не скажешь?" Я: "Конечно, скажу!" Нянька: "Ну видите, какая спорченная". Я, твердо: "Маруся! Врать нехорошо!"

Да, изъян, мой изъян. Не умела, не хотела и не научилась утруждать себя ложью, притворством. А ведь тут искусство, сродни творчеству. Есть выражение – вдохновенный враль – завидую – таким как раз верят, а правда сомнения вызывает, знаю, но ничего поделать с собой не могу.

В унаследованном мною гарнитуре я, конечно, все облазила, изучила, но как-то, чтобы открыть форточку, влезла на тумбу в изголовье дивана, и вдруг в ней отошла, сдвинулась панель, открылся лаз, куда я нырнула.

Оттуда, из пыльных глубин, извлекла письма, пачки писем, не сразу сообразив, кому они адресованы. Ему! Соблазнителю, неверному, растоптавшему их доверчивость, но неужели настолько бессердечному, чтобы их, брошенных, ну просто хотя бы не пожалеть…

К письмам прилагались фотографии. Брюнеток-шатенок-блондинок, в широком ассортименте, на любой вкус, Одна запомнилась: прямой пробор, томной взор, на узкие оголенные плечики накинуто что-то из клочковатого меха: боа, что ли? Ну потеха, во что они тогда выряжались, красотки эпохи индустриализации. На обороте надпись химическим карандашом: "Любимому и единственному. Люся".

Потом то же самое фото увижу на обложке мемуаров Ольги Ивинской (музы Бориса Пастернака) "В плену у времени". Она там упомянула и моего отца, ее бывшего сокурсника, – о большем ни слова, – к которому обратилась как главному редактору журнала «Знамя» с рукописью романа "Доктор Живаго". Отец опубликовал цикл стихов, пронизывающий прозаический текст, на что никто из прочих редакторов не решился. И получил выговор от ЦК КПСС. При его осторожности вряд ли тут риска не сознавал. Облако назревающего скандала окутывало роман, в "Новом мире" Пастернаку отказали, и вдруг Кожевников, ортодокс, обнаружил смелость, от него не ожидаемую и некоторых задевающую. У нас, и не только у нас, выход из образа, так сказать, не поощряется, осуждается, при чем с обеих сторон. И власть недовольна, и либералы-демократы. Отец, с его опытом лавирования между этими и теми, полагаю, последствия предвидел, и все же – факт – гениальный цикл Пастернака обнародовал первым он.

Да, он действительно перед настоящей литературой преклонялся, вначале, с азартом молодости, устремляясь к ее вершинам, образчикам, потом отступил, читал, перечитывал жадно, с наслаждением, созданное другими. Но и Люся-Ольга Ивинская встряла не случайно, роль свою отыграла, спустя много-много лет. Удержалось что-то, верно, в их с отцом отношениях, если не чувства, то отголоски прошлого, пробив броню наращенной бдительности моего отца.

Но мне пока что пятнадцать лет, взахлеб читаю чужие любовные послания-призывы, веселясь от всей своей дремучей, наглой души, незнакомой с муками расставания, отчаяния, необратимости, безвозвратности утраченного. Не любит? Тоже мне горе! Ушел? Да пропади! Чего стонать – да наплевать. И тут, на разлинованном, как в школьной тетрадке, листке, впервые мелькнуло имя адресата, выведенное с неуклюжей старательностью: Вадим…

ОгоЗначит, все эти вопли-стоны отцу моему предназначались? Экая неожиданность. Уж никак, ну совершенно не представляла его вот таким. Не может быть! Или может?

Воспитание я, мои сестры получали свободное, без тени ханжества, что было редкостью в то время. Сверстникам моим дома обычно затыкали рты. Субординация тем строже соблюдалась, чем выше, ответственнее их отцы занимали посты. Но самый главный пост в нашей семье занимала мама, папа ей вторил или же умолкал. Рознь, между родителями возникшую, ни разу, даже с моей предприимчивой любознательностью к сокрытому, не удавалось выявить. Только однажды, тогда…

Держать в секрете свою находку не собиралась. И вот

воскресный семейный обед, сгораю от нетерпения, еле дождавшись десерта. Предвкушая эффект, достаю приготовленную пачку, начинаю с упоением зачитывать, упиваясь вниманием слушающих, и ничего непривычного, настораживающего не ощущаю. Мне кажется, так интересно! Мне-то самой интересно, и не предполагаю даже, что возможна иная реакция.

Пауза. Гробовое молчание, выражения лиц непонятны, застывшие, замкнувшиеся, даже у младшей сестры, чье мнение мне безразлично, но и она, малолетка, встала в общий, от меня отрешившийся ряд.

Наконец папино, вроде бы равнодушное: "Откуда ты это взяла?" Я, с готовностью: "Из тумбы, в моей комнате!" Родители, кстати, вроде бы безобидно, поддразнивая, рассказывали, что первое слово, мною произнесенное, было не «мама», а вот именно это – «мое». Что именно? Да все. Нужное, ненужное, ухваченное, уносимою в свою – "мою"-берлогу. Книги, скажем, из общей семейной библиотеки оттаскивались на мою полку, в моей комнате, исчезая для доступа еще кого-либо бесследно. Не дошла пока до того, чтобы комнату свою запирать, но мысли уже были. Распахнутость, или разнузданность эмоциональная, сочетались, уживались во мне с ограждением тщательным собственного, личного от каких бы то ни было извне вторжений. И в голову не приходило, что оберегая свое, могу чье-то сокровенное топтать, осквернять.

Папа, с интонацией той же, отстраненной: "Зачем, кому понадобилось это хранить, ради чего, с какой целью?" Мама, вспыхнув мгновенно: "Ты меня, что ли, спрашиваешь? Я хранила? Понятия не имела, что ты и когда там рассовал!"

Атмосфера за столом накаляется, а я все еще недоумеваю: что, собственно, происходит, из-за чего? Какие-то женщины, теперь уже, верно, старухи, предъявляли претензии на моего – ладно, пусть нашего – отца, но когда это было, все уж забыто, истлело, и к прошлому ведь смешно, нелепо ревновать.

И ужас. Испытываю ужас, видя, как лица, прекрасные согласием друг с другом, искажает враждебность. А виновница тому я.

Папа, с не свойственной ему повелительностью: "Дай мне это!" Что же, отдаю. Понимаю, куда – на уничтожение. Но вот фото Люси-Ольги Ивинской успеваю запрятать под сидение стула. Зачем, с какой целью? Понравилась? Нисколько. Такой женский тип, якобы трогательный, якобы беззащитный, симпатии не вызывал – раздражал. Но причина-то ведь не в Люсе, причина в папе: его молодость, увлечения, надежды тогдашние хочу

сохранить – храню по сей день. Как и облик его, впервые увиденного танцующим под звуки фокстрота – мелодии его юности, совпавшей с безжалостной, кровожадной эпохой, а все-таки праздничной, ликующей от обещанного, пусть не сбывшегося.

Встреча Нового года в ЦДЛ, клубе писателей, тогда еще действительно для писателей, а не для размордевших, от миллионов распухших при ельцинской приватизации хамов-нуворишей. Корабль империи, нагруженный отнюдь не элитой, а выскочками, по сравнению, впрочем, с теперешним отребьем, уж чуть ли не аристократами кажущимися, плыл, оседая, но еще плыл. А меня, до того засыпающую на даче возле наряженной елки под бой курантов, родители в первый раз вывели, что называется, в свет.

Полумрак, зажжены свечи на столиках, наш рядом с камином – престижное, считается, месторасположение. На мне платье с блестками, чересчур взрослое, не по возрасту, с дурацким цветком у декольте, в котором я от неловкости, как во льду, стыну, до омерзения собой недовольная, неловкая, непривлекательная – так воспринимаю себя, следовательно, и другие меня.

Глупая юность, не способная искры сиюминутного счастья благодарно вобрать, удержать – юность, куксившаяся из-за того, что еще не дано, не завоевано, не взято в победном штурме. Куда ты торопишься, Надя? Будет, получится, но вот этого, что сейчас, лишишься. Мамы, папы, покоя, защиты в их тылу. Но неужели они, самые близкие, не сочувствуют мукам моей, отодравшейся от прежнего, детского, плоти? Нет, и не смотрят в мою сторону, собой заняты. Ни в ком поддержки, я из всех сил креплюсь.

И вдруг меня приглашают на танец, встаю, следую за отозвавшимся на мой безгласный вопль-зов. Фокстрот? Папа, зачем, за что выволакиваешь на прилюдный позор? Фокстрот! Да я твиста на вечеринках школьных не освоила. Но отказать не смею, понуро топчусь на площадке перед оркестром, методично наступая отцу на ноги.

А он-то сам у кого, когда выучился? В его пролетарской, как уверял, юности, уж какие фокстроты. Выходит, были, выпали. Недоесть, недоспать, галстук у приятеля одолжить, но не задор, не стать, не уверенность, что все доступно, успех, признание, дружба, любовь, победы везде, повсюду.

Ах, вот ты какой, все еще, значит, такой. Любуюсь тобой. Как ловко, мастерски ты меня ведешь, кружишь, не отпускаешь, направляешь, а я с удовольствием тебя слушаюсь. Вот так бы всегда, до последнего вздоха, у нас совпавшего, и твоего, и моего.

Решаюсь поднять от пола глаза. Как его красит улыбка, на моей памяти скупо отмеряемая, но когда-то щедрая, обольстительная, в плен берущая всех, и тех, кто на пути его по недоразумению затесался. Ему-то что? Пощады нет. Любовь – война, жизнь – война, справедливости ни в любви, ни в жизни не существует, и победителей не судят. Или судят? Если да, то они сами себя.

Там же, в ЦДЛ, в зале, где обычно показывают кино, на сцене в гробу лежит отец, я рядом сижу. Просижу сутки, годы, столетия – сижу и теперь, все еще сижу. Конечно, не я, мне бы не выдерживать, а та может, сможет все, что я силюсь забыть. Все бы хотели забыть то, что забыть нельзя. И напрасны, бесполезны утешения, будто рана затягивается, залечивается. Ерунда! Нутро кровит, должно ему кровить. В крови дочь рожу, как мама меня, как папу его мама, в крови мы уплываем, неведомо куда, в крови воскресаем – тех, кто нас любит, помнит.

Вдруг, как током, пронзает шепот: можно, не возражаете, я его поцелую, Вадима?

Кто она? Мы с ней не встречались никогда. Из тех, чьи письма я нашла?

Да, говорю, я вас к нему подведу. И пропадаю, исчезаю, не смею видеть прощание их, ее с ним. Но бормотание слышу: Вадим, Вадим…

Кожевников В.М. Годы жизни 1909—1984. Человек, так все в себе и сберегший, не раскрывшийся, не доверившийся никому.

ЛЮБОВЬ

Я выезжала из гаража. Муж смотрел, будто посторонний, пока я звонила в дверь к соседу, в чей забор только что врезалась своим новеньким, зелененьким "фордом".

Полиция не заставила себя ждать. Приехали аж четыре машины. В таком околотке, как наш, случаи подобного рода были редки. Чтобы среди бела дня бодать задом машины изгородь соседей? Тем более мне, у кого лужайка перед домом образцово вылизана, на крыльце горшки с цветами, и сама я в обозрении общественности то с лейкой, то со шлангом, то с секатором, а уж у кого какая жизнь изнутри, в это, слава богу, в Америке никто не вникает.

В последнее время у нас с ним изменились, осложнились отношения (разумеется, я имею в виду не мужа). Но он никогда прежде не был назойливым, а тут буквально ни на шаг не отходил, лежал у ног, пока я сидела за компьютером, заглядывал в ванную, если я там задерживалась, ходил повсюду следом, как приклеенный. Хотя, недавно еще сверхбдительный страж, возвращение мое или мужа домой упускал, проворонивал, сам своих промахов стыдился, запоздало спускаясь со второго этажа из спальни с растерянным, виноватым видом. Я замечала, что он не дослышивает, подслеповато озирается, когда его окликаю: подводило чутье – стержень его природы, характера.

Правда, этот его характер доставил нам немало беспокойств, иной раз влетал в копеечку, когда он, к примеру, вцепился в лодыжку велосипедиста, и еще повезло, что дело ограничилось оплатой прививок, хотя в Швейцарии, где это произошло, вполне могли и затаскать по судам.

Конечно, сами виноваты, не оценили возможностей его клыков, готовности в любой момент пустить их в ход, и что размер его с комнатную собачку обманчив, не соответствует бескомпромиссному бесстрашию натуры.

Оказалось, что спускать его с поводка нельзя. Когда он у нас появился еще в Переделкино, мы поначалу, как и с его предшественниками, гуляли с ним в лесу без привязи, не ограничивая свободы, полагая наивно, что он тут же явится по первому зову. Но не тут-то было. Он исчезал, о нас забывал, мы искали его, бежали, оглашая окрестность воплями: Микки, Микки! Особенно я неистовствовала от страха его потерять – рассудок мутился, его значимость в моей жизни превзошла ожидаемое. Ведь собаку-то мы завели для дочери, которую он, кстати, единственную слушал.

Я не была и не чувствовала себя его хозяйкой, это он мною владел, вертел как хотел. В щенячью пору извел постоянными хворями, то понос, то рвота. Ветеринарная клиника сделалась, можно сказать, вторым нашим домом. Переносились деловые встречи, отменялись гости, пропадали билеты в театр, на концерт: он совершенно меня допек – я все больше к нему привязывалась.

Помню, стояла уже в дверях, при полном параде, муж в машине ждал, куда-то мы собрались, в «престижное», как уже стали тогда выражаться, место, но мне понадобилось на него взглянуть, и я не сразу его нашла. С детства, то бишь с щенячества, он себя уважал, на кресле, диване отдыхал, неважно где, но непременно возвышаясь – местонахождение его на полу было тревожным сигналом. И тут я застала его в углу, куда он забился, как показалось, бездыханным.

Через десять минут с ним на руках я поднималась на заледенелое, заплеванное крыльцо сельской, пристанционной ветеринарной лечебницы, вошла в приемную, где, понятно, яблоку негде было упасть. Типичная советская очередь, закаменевшая в вечном ожидании чего-либо, состоящая в основном из теток, с распаренными до свекольности лицами, разве что не при сумках, авоськах, как обычно, а с птичьими клетками, кошками на коленях, псами, жмущимся к их ногам.

Ни о каком снисхождении от них, таких, не могло быть и речи. Да и мой принаряженный для выхода в «свет» облик к солидарности вовсе не располагал. Когда услышала: "Пусть пройдет, глядите, с лица спала, валидол у кого-нибудь есть?" – не поверила, что это ко мне относится. Врач, сестра тоже удивились, что меня без очереди пропустили. "Клизму надо поставить", – распорядилась молоденькая строгая ветеренарша. И: "Во двор с ним по-быстрому, а то у нас он тут все обделает".

И обделал бы. Всю меня обдристал и сразу ожил – я была счастлива.

Мы уехали с ним вместе в Европу, и, путешествуя, первый вопрос возникал, в какие отели пускают с животными. В машине его приходилось держать в ящике с зарешеченным окошком, который ходил ходуном, если мимо проносились мотоциклисты, велосипедисты. С не меньшей яростью воспринимал бегущих трусцой, катающихся на роликах, а когда видел собак, в истерику впадал от бешенства.

Это в нем было почти человеческое – нетерпимость к себе подобным. Добродушных, дружелюбных, пытающихся завязать с ним знакомство, встречал люто, я еле удерживала его на поводке. Баритональный тембр лая переходил в визг, барабанные

перепонки чуть ли не лопались, и так визжать он был способен часами. Соседи жаловались, нельзя не признать, справедливо. В Женеве, в соответствии со швейцарским менталитетом, мы получали угрожающие анонимки. В Америке вовсе явилась полиция, и мы заплатили штраф. Но все это не влияло на наши внутрисемейные отношения: ему все прощалось. Если бы в таком попустительстве росла дочь, неизвестно что бы стало и с ней, и с нами.

Впрочем, воспитатель из меня никакой, наша дочь просто такая уродилась, серьезная, собранная, надежная, и мы с ней не знали тех изматывающих родительские души тревог, когда ребенок непредсказуем. Зато уж все сполна испытали с Микки.

На моих руках шрамы от его зубов. Когда в глотку ему надо было вливать лекарства, и я пыталась его удержать, он, вырываясь, впивался в меня, как вепрь. И ни капли раскаяния. Однажды набросился на немецкую овчарку, я встряла между ними, и оба всадили в меня клыки. Не столько больно, сколько обидно – ладно бы раны от чужака, но и он, обожаемый, в драке осатанев, меня не пощадил. Я получила урок, что есть любовь – оказалось, кровь. Это мне было внове.

И он был первым, единственным, кто сам меня выбрал. Обычно это делала я, не столько из-за самоуверенности, сколько от нетерпеливости, проявляемой во всем, при любых обстоятельствах. Томиться в ожидании мука для меня, вот почему я кажусь смелой, решительной. Но Микки и тут меня обошел, опередил.

Ничем, никак в том помете сучки миттель-шнауцера он не отличался. Да и мы припозднились, уже разобрали тех, кто по внешнему виду больше надежд внушал. Комок влажной черной шерсти – окрас перец с солью проступил после – вместился в мою ладонь, когда я извлекла его из загона, и припал, прилип к груди, притворившись жалким, робким, нуждающимся в защите. Но свой характер обнаружил сразу, как только мы прибыли с ним домой.

К его появлению в комнатах были ликвидированы ковры, полы застелены газетами, но он метил прицельно туда, где газетные листы сдвинулись. И приготовленную для него в коридоре подстилку, место, так называемое, отверг в первую же ночь. Дополз до дверей нашей спальни, скуля, требуя его впустить. Несмотря на предупреждения опытных собачников, мы тогда же и сломались. Залез под кровать, но, научившись на нее запрыгивать, место свое определил, застолбил у нас в ногах.

А вот в еде оказался неприхотлив. Да и что мы могли ему предложить в начале-то девяностых, когда в продовольственных магазинах очередь страждущих сметала любой товар, добывание

пищи превратилось в проблему первоочередной важности. Рубль летел вниз, цены вверх, спасали продуктовые заказы, выдаваемые по месту службы, и дни выдачи зарплат затмились вторниками на работе мужа, у меня в газете пятницами, когда мы, осчастливленные, от гордости чуть не лопаясь, выкладывали обещающий пиршество трофей, состоящий из мороженой курицы, банки сардин, пакета дефицитной гречки.

Какие уж тут капризы. Но Микки рос, хотел постоянно есть, в глазах его появился алчный блеск и снова промашка в воспитании: я приучила его попрошайничать у стола, но разве выдержишь, когда морда уткнута в твои колени? Муж, дочка меня стыдили, порчу, мол, собаку, но я, давая обещания исправиться, сдержать их не могла. Моя твердость лишь видимость, вынужденная броня, как панцирь у черепахи, чтобы жалостливое нутро наружу не выплеснулось. Но ведь никто, кроме Микки, не догадался, что если меня попросить, не вынуждая, не домогаясь, а тихо, еще лучше бессловесно, намеком выказать свою просьбу, я не могу отказать. Микки это во мне рассек и вовсю пользовался.

Тогда же, в начале девяностых, мы исхитрились достать копченую рыбину и созвали друзей. Рыбину сопровождала картошка, зелень, но именно она, роскошная, разлеглась на блюде в центре стола – гвоздь программы. Встречали гостей, уверенные, что угощение удалось, но когда все собрались, открылась картина: взгромоздившись на обеденный стол, Микки, не спеша, доедал последний кусок рыбины. Взглянул на нас без тени смущения, а вот мы всполошились: ведь столько съел, отравиться может, помереть!

Иной раз казалось, что он нарочно нас испытывает, напрашиваясь на наказание, лихой, рисковый, не сознающий, как свойственно молодости, ни в чем никакой опасности. Мы приспосабливались к отчаянному его нраву, он нас себе подчинил.

Сопротивляться было бессмысленно. Захотел – мы все годы с ним вместе спали. Он занял место в сердце, а уж на кровати рядом – естественно.

И вдруг не смог туда запрыгнуть. Муж первый сообразил: встал, поднял, положил его в изножье постели, где он обычно размещался. Но не стеснительно, калачиком, а вальяжно раскинувшись. Чтобы его не обеспокоить я приучилась спать, подтянув колени почти к подбородку. Если вдруг во сне дергалась, он ворчал, рычал. Муж говорил, что я полностью перед ним распласталась, и мне нечего было возразить.

То, что он все понимает, сомнений не вызывало. Какие команды! И неправда, что четвероногим внятны лишь интонации,

он знал слова, много слов, словарный запас у него был побогаче, чем у меня в английском. Я с ним общалась без напряжения, подлаживания, упрощений, как бывало нередко с собеседниками из двуногих. Его уровень адаптации не требовал. Но осенило однажды: ему важно, чтобы и я так же хорошо понимала его.

Его не устраивал уже примитивный язык жестов, сигналов, раньше используемый, когда он в чем-то нуждался, о чем-то просил. Потребность возникла выразиться внятно, выразить речью, чтобы слиться со мной без всяких преград, поставленных якобы изначально природой. Прорваться за предел немоты, бессловесности – поставил себе целью и страдал, мучился в ее достижении.

Такие усилия не только в его глазах читались, но и улавливались в клекоте, исторгаемом из самых, казалось, глубин существа. Я этот клекот узнала, вспомнила. В детстве дружила с глухонемым от рождения мальчиком, понимающим по губам, но забывала иной раз, что когда он меня не видит, то и не слышит, и стыдом ошпаривало до испарины за свою тупость. Мальчик был не по-детски умен, красив и невероятно чуток – в награду, видимо, за ущербность. Я не умела за ним поспевать, и мы расстались.

В нашем доме в Америке обнаружился недостаток – много лестниц, довольно крутых. Прежде он, Микки, по ним взлетал, вниз кубарем скатывался, и вот теперь еле с трудом переползал со ступеньки на ступеньку. На прогулках не тянул меня за собой, а старался хотя бы не отставать, периодически останавливался, оглядывался, делая вид, что чем-то заинтересован. Немощь его унижала, била по самолюбию, а самолюбив он был жгуче. Я выжидала, пока он передохнет, но если вдруг появлялись другие собаки, сразу же приосанивался, выказывал былую прыть, на что уходили остатки сил. Потом мы еле плелись. Его чувства, его гордость, профессиональную, так сказать, честь, кураж я разделяла полностью – сама такая же.

Он стал мною или же я им. Терял аппетит, и у меня кусок застревал в горле. Валился снопиком на ковер, и у меня ноги подкашивались. Старел, и я старела вместе с ним.

Всматривалась. Его плотная, жесткая шерстка не отрастала уже так быстро, как раньше, после стрижки. И выражение глаз изменилось, азарт в них угас, затуманился опытом прожитого, бременем, горечью разочарований – итогом всегда печальным, кто бы и сколько бы не прожил.

Прежде, увидев в моих руках поводок – знак, предвещающий радость прогулки, – Микки, не сдержав ликование, царапал меня, покусывал. И вот пришлось его дозываться, извлекать из дремы, в

которую он погружался все глубже. А как-то, спустившись с порога крыльца, застыл, замер и больше ни шагу не ступил.

Ослепительный зимний день. Я пошла одна по обычному нашему с ним маршруту и повстречала юного сеттера, резвящегося в снегу, умиляя хозяев, таких же счастливых, какой некогда была я. Шуба давила, в горле спазм – одиночество среди праздника, упоенности мигом, минутным – тоже ведь это вкусила – спасибо, но теперь уже не участвовала. Чужая всем, кому еще весело, как кляча, загнанная, выжитая, опустошенная, добрела до дома. Горе – стыд. И единственное ему пристанище – в угол забиться, забыться. Там я и очнулась: Микки вылизывал мое лицо.

Ему никогда не нравились мои уходы, отъезды тем более. Чемоданы ненавидел, и тут я бессильна оказывалась ему объяснить, что расстаемся не навсегда. Навсегда! – у меня самой от этого слова мурашки. А в последнее время стерег каждый мой шаг, не сводил глаз. Я кожей ощущала нарастающий в нем ужас, что брошу его, он останется один, бесполезным став, ненужным.

Не раз уже пресекала его намерение проскользнуть за мной следом через входную дверь или через гаражные ворота. Моя слабина: до того, иначе как в зарешеченном ящике, ему ездить в машине не дозволялось, но чтобы поднять ему настроение, порадовать, воодушевить, разрешила как-то залезть в салон, усесться рядом – и, Господи, как же он жадно все впитывал! Смиренно, благодарно. Мимо пронесся мотоциклист, он даже не дернулся, не издал ни звука. И мне захотелось плакать. Когда-то завидовала владельцам послушных, спокойных собак, но мне разве такие нужны? – мне нужен он, только он, его неуемность, дерзновенность, неукротимое своеволие, неистовство, его ревность, его ко мне страстная любовь. Так, как он, меня никто не любил и не полюбит. Я тоже.

Наша с ним тайна – совместные поездки, в магазины или просто так. Пока я отсутствовала, делая покупки, он приникал к оконному стеклу, и от его дыхания, от влажного носа оставались пятна, которые я потом тщательно оттирала. Да нет, никого мы не опасались, ну муж бы узнал, и что? Кстати, именно муж, а не я, его кормил, просыпался спозаранку, накладывал в миску еду, что он, Микки, принимал как должное, не смешивая житейское, бытовое и чувства, сердечную привязанность. В отличии от большинства людей, оставался неподкупен, продаться за чечевичную похлебку для него исключалось.

Но любовь нуждается в сокрытии, свидетелей тяготится, стыдится, и у меня, положим, был опыт, но откуда он взялся у Микки?

Его неприязнь к соплеменникам имела, надо признать, корни.

В Переделкино не успели, да у него и возраст еще не вышел, а после начались мотания нашей семьи по разным странам, условия не подходили, чтобы он получил то, что положено, нормально, присуще всему живому. Спохватились, когда он уже не считал, не воспринимал себя собакой. В дополнение к рациону, породе его соответствующему, с удовольствием поглощал фрукты, овощи с нашего стала, вплоть до цитрусовых, не поморщившись, что для него, верно, тоже являлось приобщением к людскому миру. А уж в способности целиком отдаваться чувству, неизбывной, любовной тоске, всех нас, людей, превзошел. Когда обстоятельства вынудили отдать его на постой в очень хороший собачий пансион в окрестностях Женевы, с огромной территории, где помимо собак еще и лошади содержались, на воле, среди деревьев – я бы сама там с наслаждением паслась – мне позвонила хозяйка и сказала: необходимо его забрать, он ничего не ест, истаял. Я примчалась. Он, вышел, шатаясь, пошел ко мне, оглядел и поплелся обратно. Предала! И уж как я вымаливала у него прощение, прежде чем он позволил себя обнять. Но травма осталась, застряла. Люди не так памятливы, как те, кого мы по невежеству числим за низших, пренебрегаем уроками чести, благородства, которые они нам наглядно выказывают собственным примером.

…Как вышло, как случилось, что выехала, не нажав клавишу для опускания гаражных ворот? При включенной задней скорости, увидела, что он вышел, затрусил по проезжей части, целенаправленно, сосредоточенно, не оглядываясь, не реагируя на мои крики: Микки, Микки!

Нет, не я – он уходил, решил уйти, навсегда, меня наказав за все свои страхи, за зависимость от меня, за свою ко мне любовь. Ослепило – я все поняла. Машина двигалась задом, я выскочила оттуда, оставив распахнутой дверь, бросилась за ним, к нему. Забор соседа напротив завалился, зад «форда» расплющило, но я успела, спасла его, спасла себя. Он ко мне прижимался, был явно очень доволен, а вот мой муж, наблюдая за всем, по-видимому, нет.

Ну что же, за все приходиться платить. За любовь – троекратно.

ЗАПАХ РОДИНЫ

С наступлением весны у меня начинаются сезонные, ну если не работы, то заботы уж точно. Хотя наше Колорадо справедливо считается одним из красивейших штатов, с прославленными во всем мире курортами, у садоводов-любителей тут хлопот полный рот. Снег, во-первых, ошеломляющий к тому же неожиданностью: все враз может побелеть в разгар цветения плодовых, декоративных деревьев, что выглядит изысканно, но для владельцев земельных участков, перед домами совсем крошечных, с тыла чуть больше, довольно-таки огорчительно. Кусты сирени, жасмина никнут под снежными завалами, а порой и ломаются, и вымерзают. Стаяло, слава, богу, так другая напасть – длящаяся все летние месяцы угроза засухи, при строго регламентированном, ограниченном местными властями поливе. Спринклеры, установленные на лоскутьях газонов, включать позволено лишь два раза в неделю, нарушители караются штрафами. Но вот увлажнять насаждения из шлангов разрешено. Тут, кто хочет, усердствует на законном основании. Я из таких вот фанатов. Только проснусь, умоюсь, бегу отворачивать краны с нетерпением, наслаждением не меньшим, чем наши, собственноручно посаженные елки, сосенки, влагу впитывая, всем нутром насыщаясь, а особенно жадно тем, что зовется душой.

Душа, знаю, размешается в углублении, во впадине у горла. О ней забываешь, она вроде как спит, и вдруг, непонятно с чего, горло разбухает, шебуршение там возникает, царапание, будто просится, рвется кто-то наружу. С какой стати, вас звали? А нас не спрашивают. Душа эта самая, тоже знаю, существует вне осязаемого, реального, вне физических, телесных рамок. И власть свою твердо выказывает. Сновидения наши являются по ее, души, прихоти. Мы-то бы рады забыть, все забыть, а нате, получите, никуда не сбежите, от себя прежде всего.

Ну ладно, коли так, придется признать, что прошлое – единственное, что никто у нас не отнимет. И груза его тоже никто не облегчит.

Свидетельства, доказательства, наиболее ощутимые пройденного, прожитого – сближение сиюминутного с ушедшим, минувшим. Сдвоенное, параллельное, спрессованное в одном мгновении присутствие и там, и там овладевает нами с таким мощным напором, что одиночеству места не остается. Скажем, я здесь, в Колорадо, выдергиваю из газона сорняки, – перчатки в кармане шорт, но я, то ли в забывчивости, то ли в приступе некоего рода сладострастия, цепляю, тяну колючий, занозистый

стебель, боли не замечая – и, воображения нисколько не напрягая, оказываюсь, сидя на корточках, среди массы ярко-желтых одуванчиков, в полном восторге букет их них собираю, чтобы маме вручить.

Мама, считаю, польщенная, одуванчики принимает, но мешкает, прежде чем поставить их в вазу. Понимаю: мои одуванчики настолько прекрасны – гонцы, сообщившие первыми о приходе весны – что, конечно, надо подумать, какое найти им достойное вместилище. Но мама смотрит на меня как-то странно, почему-то грустно и нерешительно, что ей вовсе не свойственно. Мой букетик все еще лежит на столе, на глазах увядая, а мама все медлит, и во мне нарастает буйное что-то, дикое, мстительное, непримиримое ни с чем, ни с кем. Чей-то вопль, грохот, со стола что-то валится, разбивается, кто-то бежит, гонятся за кем-то, кого-то хватают и держат крепко. Кто-то пытается высвободиться, продолжая орать. Но пахнет мамой, моя морда притиснута к ее груди. Слышу: Надя, одуванчики в воду поставлены и сразу ожили, взгляни, и напрасно ты так, совершенно напрасно.

А ты, мама, можешь ожить? Мама, спасибо! Отчетливо вижу тебя в ярко-пестром сарафане, со врезавшимися в белое, пышное тело бретельками, склонившуюся к грядке с клубникой – усы сорта «виктория» дали соседи Гринберги – и ты, насквозь городская, увлечена этим, для тебя новым занятием, но скоро к нему охладеешь. Грядка исчезнет в зарослях крапивы: вот крапива на нашем участке отлично прижилась.

Участок, полученный папой в числе группы писателей-фронтовиков, сыр и темен от высоченных, столетних елей, вырубить которые не разрешается лесничеством. Время строгое, к начальству, любому, относятся с опасливым почтением. Для меня же практически все взрослые – начальники. Мама – главный. По иерархии за ней следует почтальон, развозящий на велосипеде газеты, в ожидании которых томится папа, выходит за калитку, возвращается разочарованный, снова выходит, всматриваясь вдаль нашей улицы Лермонтова. Уж коли папа так наглядно от почтальона зависит, тот, сомневаться незачем, большой начальник.

С почтальоном вровень находится милиционер, проверяющий есть ли прописка у домработницы Дуси: потому как Дуся пугается, а мама улыбается, и мне, и милиционеру ясно – прописки нет. Но он не сердится, уходит, сопровождаемый мамой, явно довольный. Вскоре, правда, снова придет, и все опять повторится.

Но всех важнее, строже лесничий, перед ним вправду родители робеют. У него ре-пу-та-ция, знаю, что это слово

означает: денег – не берет. И ели вырубать не дает. Разве что усыхающие, но тут его не обманешь. А ели, будто назло, и не собираются усыхать. Вот сосны, те солнце любят, а елей сырость, полутьма вполне устраивают. Вцепившись в почву на нашем участке, сомкнувшись кронами высоко-высоко, они сторожат нас как пленников в погребе, к свету не выпуская.

Получается, что ели нам даны как бы в наказание. Разбежавшись, спотыкаюсь об их мощные, выступающие наружу корни, падаю, разбиваю коленки. Пятна зеленки сопровождают мое детство, почти деревенское, одичалое в отсутствии сверстников, привозимых в дачный поселок только на лето, я же живу здесь постоянно, и в зиму, и в осень, и в раннюю, буро разбухшую, глинистую, с островками талого снега, весну. К лету готовлюсь загодя, играя сама с собой в мяч, упражняюсь его, отлетающего от дощатой стены нашей дачки, так называемого "финского домика", метко словить, чтобы всех потом поразить – ну когда дети сюда приедут, и заглянет может быть кто к нам в калитку или окликнет через забор, а я тут как тут, с тугим мячиком подмышкой, умелая, ловкая, распахнутая для любой, с кем угодно, дружбы.

Нет, я нисколько не чувствую себя одинокой, но жду, терпеливо жду поворотов в судьбе, иной раз, правда, не выдержав, сама им навстречу несусь стремглав. В лесу, что напротив нашей дачи, тоже темном, еловом, сыром, с редкими прорезами ослепляющих солнцем полян, бегаю наперегонки по зеленой, мне по щиколотку, густой траве с щенком-боксером, единственным моим всесезонным товарищем, но обгоняющем меня во взрослении, серьезности, жизненной умудренности. Он умрет, когда нам обоим исполнится четырнадцать лет. Все умрут, останусь лишь я да столетние, мрачные ели. Хотя и ели, те ели, видеть буду во снах, издалека, нас разделит океан, непреодолимый, как смерть близких.

А когда все еще только брезжило, зачиналось, как день в мутных, утренних сумерках, папа саженцы вдоль забора воткнул, яблони имея ввиду, а подсунули ему, как выяснилось, осины. Обидно, но их пожалели, не стали уничтожать, хотя суматошно при ветре шелестящий их ряд служил постоянным напоминанием об оплошности папиной, о бесхозяйственности вообще, свойственной нашей семье.

Осины тогда, в моем детстве, считались чем-то вроде бузины – позором дачников. Кто же мог представить, что я окажусь, внедрюсь там, где дерево именно этой породы считается символом края. Лучший колорадский лыжный курорт называется Аспен, то есть осиной. Зрелище – горы, осенью покрывающиеся

золоченой, сверкающей чешуей – вызывает восторг, как у паломника в долгом странствии прибредшего наконец к Храму.

Но это сейчас, а тогда, вблизи Москвы, большим, в полгектара участком на две трети завладела крапива, пребольно жалящая, к ней опасались приближаться, смирились с ее агрессивностью, довольствуясь площадкой перед крыльцом да тропинкой, обсаженной флоксами, к гамаку ведущей. Мама иногда в гамаке возлежала с книжкой, но потом гамак сгнил, его забывали осенью снять, остались проржавелые кольца, в стволы елей вбитые, как напоминание о летней, праздничной безмятежности, грезах о былом, недавно еще доступном и оборвавшемся будто вдруг слезами, застрявшими в горле.

Зато уцелела чудом, размахнулась в необъятную ширь, черемуха, примкнувшая к окну маминой комнаты, пахнувшая с такой одуряющей силой, что весна представлялась вечной, неизбывной, как молодость, как жизнь, как любовь.

Запах – основная смычка, удерживающая разлетевшуюся в клочья жизнь. И жизни нет тоже, если за поворотом ее ничего уже не маячит. Тупик, но и упершись в него, ожидание, как ни странно, не исчезает. Ожидание сродни запаху по навязчивой неистребимости, ускользающей неопределимости и особенной властности, требующей полного подчинения и наказывающей непослушных.

Для меня ожидание всегда являлось костью, жесткой, голой, без следов мякоти, в схватке с которой щенки испробуют прорезающиеся зубы, миску с кормежкой вылизав подчистую, аппетит же не утолен, наоборот.

У меня аппетит возбуждало все. Утро, вожделенное после бессмысленно, бездейственно потраченного времени во сне, ночью. Будто кто-то вонзал в бока мои шпоры, и я, разве что ржание лошадиное не издав, с постели вскакивала, босая по дому блуждала, предлог выискивая, чтобы к маме или папе ворваться, достать их из дремы равнодушия, безучастия, люто ненавистных моей беспощадно активной натуре, моторности, сродни круговому мельканию полосатого, заведенного на полу игрушки-волчка. Что мне делать, ах, что же мне делать, бодрствующей одиноко, всеми, спящими, оставленной? Вот-вот закричу: пожар!

Кричу, но немо, в деталях несбывшееся пережив, и порку, хотя, увы, никогда меня не пороли, отняли и сладость стыда, и унижение беззащитного перед взрослой жестокостью ребенка. А то бы я так рыдала, с таким наслаждением сглатывала собственные сопли, с кровью смешанные из разбитой губы. Хотя нет, впечатлило бы больше, если экзекуцию пережить молча, не обронив ни слезинки. Жертва – вот роль, мне прельстительная.

Гордая, хотя и униженная, от побоев шатаясь, в лес, в ночь ухожу, путь обратный нарочно забыв. Непролазная чаща, совы ухают, стаи волков сжимают кольцо, а я одна-одинешенька.

Начинаю скулить, но – стоп. Как я смогу заблудиться в лесу, где своей себя ощущаю чуть ли не с первого же проблеска сознания? Лес – мой, как песочница во дворе у сверстников-горожан, зажатая джунглями многоэтажных домин, пьяницами обоссанная. Какие счеты? У них те запахи родные, у меня свои. Бредет лошадка по нашей улице, мимо леса, роняет катушки с ароматным парком, достигающим моих алчных ноздрей. Да что там, вся грудь моя нараспах, все мое существо внемлет дробной, ритмичной клади испражнений лошадкиных. Петя, хозяин лошадки, кричит: "Надя, посторонись, глупая, посторонись!" Но я-то уверена, Петя не сердится, кричит так, для порядка. И на самом-то деле он меня поощряет, прижавшуюся вплотную к лошадиному глазу, к правому, потом к левому, в поцелуе с причмоком. Лошадь терпит, а Петя снова кричит: "Пошла, ну пошла!" Я на обочину отступаю, провожаю долгим, влюбленным взглядом круп лошади, седока, телегу, с колыхающейся бочкой, где собрано, слито, наше, дачников, говно. Канализация когда еще будет! За баранку грузовика сядет дядя Костя с оторванной на войне ногой, и не в бочке уже, в цистерне то же самое будет плескаться, и так же, отступая к обочине, улыбнусь дяде Косте, как прежде Пете. Да, это папа сумел мне внушить: рабочий класс надо уважать.

И не то чтобы надо – потребность есть, и в капиталистической Америке она не ушла, даже определенней выкристаллизовалась. В понедельники по нашему околотку проезжает машина, выпрастывая мусорные баки, выставляемые жильцами на тротуар. В кабине машины не Петя, не дядя Костя, а вовсе другая, другой расы физиономия. Афроамериканец. Как-то мы улыбнулись друг другу – и все, сцепка произошла. Грузовик проезжает еще где-то, пока с собакой гуляю, но своего всегда, везде узнаю. Я его, он меня приветствует, высовываясь чуть ли не по пояс из высокой кабины. Он проехал, я продолжаю свой путь. Куда? А неважно. То ли вперед, то ли назад.

В свое непуганое никем, ничем детство. Там чуть позднее одуванчиков заячья капуста появлялась, и успевши налюбоваться на изнеженно-беленькие цветочки, я совала пучки ее в рот: хам и хрясь. Кисленько, приятно. А в пруду, неподалеку от дачи жили тритоны. С черной и с желтой спинкой. Которые с черной – крупнее. Я наблюдаю за ними, по колено стоя в стоячей холодной, с бархатной ряской, воде. Намерение вызрело: некоторых приручить, но для начала пусть ко мне привыкнут.

Ловлю в ладонь, разглядываю, отпускаю. Они на драконов похожи, на тарелках, на вышивках по шелку изображенных, что папа с мамой привезли из Китая. Ух столько всего навезли! Но зачем, почему так долго не приезжали? Месяцами, годами, веками. И вспоминали хоть изредка обо мне? Ведь я-то почти уже взрослая, как Джинка, товарищ мой, и зачем мне эти ватные, атласно-скользкие одеяла, зачем мне, девочке, штаны с прорезом, что китайчата носят? Зачем мне все это, зачем, если мамин вспухший живот опал, и кроме меня, единственной, еще кто-то объявился. Сестра? Почему меня не спросили? А я, может быть, против. То есть точно против. Мне и без нее, сестры, было хорошо. Как раз без нее-то и хорошо. Одной хорошо, а уж если рядом с кем-то, то чтобы все поровну, по справедливости, ну и с признанием чуть-чуть моего превосходства. Вот тогда я довольна. Мне нравится быть как все. И чуть-чуть иной все же.

А как же? Я ведь от щенка-боксера, Джинки, немножко, но отличаюсь. И от тритонов. И от обезьянки Тарзанчика, мартышки, с которым мама, еще беременная, из Китая явилась. Ему было все позволено. Вазы, люстры, прогневавшись непонятно на что, вдребезги разбивал, вцеплялся мне в волосы и истошно визжал, в длинных, тонких прядях запутавшись. Бросался бананами, недозрелыми, видите ли, в фургончике по заказам из «Елисеевского» доставляемых. Мне объяснили: тоска его гложет вдали от родины, острова Хайнань, откуда его взяли. Там он родился, в питомнике, где китайцы сородичей его содержали как лакомство. Сразу же обрубали хвосты, чтобы сбежать не могли. В джунглях без хвоста делать нечего, и соплеменники отринут. А с какой стати он тогда тосковал, на сочувствие напрашивался? Его ведь не съели и не собирались съесть. К чему буйствовать, когда тебя нежат, балуют. А потому что это инстинкт – тяга к родине, неизбывная, родители мне внушали. Но вряд ли предполагали, что решусь проверить их утверждение на личном опыте.

А еще, одновременно с Тарзанчиком, у нас жила лиса, обыкновенная лиса. Шкура так себе, хвост унылый, испуганная мордочка, но отъелась, залоснилось, и в сердчишке ее, верно, разгорелось желание благодетелям за их доброту отплатить. И она это делала добросовестно, обстоятельно, в меру своего лисьего понимания.

Лисе дали имя Марья, и каждое утро Марья выкладывала на крыльце нашей дачи тушки задушенных в соседних деревнях и в совхозе кур. Добытчицу выследили, вычислили адрес проживания, и тоже ежедневно стали наведываться к родителям за данью, беспрекословно выплачиваемую. Марья при сем присутствовала, без тени смущения, раскаяния.

А чего ей стыдиться? Она ведь выполняла свой профессиональный долг – курей, глупых, беспечных, хватать за горло и в нору приносить. Нора же ее была теперь здесь, на даче под номером девять по улице Лермонтова, где ее приютили и, казалось, признали.

Но вдруг Марья пропала, день нет, два нет, нет неделю. Где Марья? – потребовала я разъяснений у родителей. В семье у нас, если кто-то пытался соврать, выходило коряво, как у детей, так и у взрослых. Наверно, ушла, – я услышала, – для нее ведь жизнь с нами неволя, вот и сбежала куда-то, видимо, в лес.

Ах, сбежала! Ни с того, ни с сего сбежала?! Так я тоже от вас сбегу, тоже в лес.

Темноты дождавшись, выбежала за калитку и по проторенный тропинке к пруду. Прудов на самом деле имелось два. Один с островком на середине, где росли две березы, другой назывался бочаг, с обрубленными в непроглядную глубину краями. Утопиться что ли? Свежая, оригинальная мысль меня увлекла, но удержалась недолго. В лесу было так хорошо, лягушки в пруду квакали, тритоны взбулькивали, а из дачных садов пахло яблоневым цветением, сиренью, черемухой – май стоял – и в носу защипало от ликования, в обстоятельствах, мною переживаемых, вроде бы неуместного.

Так и будет, продолжится – внезапное выхватывания меня из реальности, огорчительной, обидной до слез, но почему, от чего непонятно рассеивающейся, превращающейся в мираж, пустяк, внимание не заслуживающий. Лежу, к примеру, в кровати, бесчувственная, как полено, вчерашним чем-то разбитая, удрученная, оглушенная – и пение птиц. На рассвете они особенно неистовствуют, прямо надсаживаются крохотными тельцами, пробуждая, исторгая в тех, кто их слышит, ответный, утробный, сопричастный их зову клич – жить!

Законам природы все живое подвластно, а в творчестве они отражается зеркально. Гении – это самые сильные, самые мощные звери, с наиболее выраженными животными инстинктами: ярости, смирения, восторга, смертельной тоски. Чем шире диапазон, тем дар пленительней, а для обладателя его опасней. Кто разумнее, осмотрительнее, способны вовремя отпрянуть, не дав сожрать себя пламени, прожигающему все кишки изнутри. Нужна виртуозная балансировка над бездной, где житейское и никакое, незнаемое, никем до конца неизведанное, противодействуя, корежат бедную, жалкую человеческую плоть. Лишь догадка, что то же самое испытывают все божьи твари, может дать ощущение общей гармонии, слитности солидарности братской букашки и дуба столетнего, земли и неба, жизни и

смерти, мига и вечности.

Когда мы только-только обосновались в Колорадо, я с подозрительностью, близкой к злорадству, выжидала их весны. Чем порадуете, а уж тем более удивите?

Удивили, хотя я не поверила поначалу. Неужели? А почему, собственно, нет? Этот запах, зазывный, ослепляющий предвкушением счастья, понятно, несбыточного, настиг меня и здесь. Черемуха! Зацвела, выплеснулась через изгороди всего нашего околотка. Я одурела. Родина, ты что ли и здесь, в таком далеке? Тогда что ты есть? Или ты – это мы? Достаешь всегда, всюду, и в прошлом, и в настоящем, и не призраком, а по-хозяйски нашей судьбой распоряжаясь.

Что же, нормально, хорошо – встреча и здесь моя с тобой. Убегать не подумаю. Зачем? Без тебя моя цельность в куски бы распалась. Спасибо, Родина. Твои территориальные очертания не имеют никакого значения. Я помню главное, и в тебе, и в себе.

Везут саночки двое, до того заболтались, что не заметили где и когда ребенка обронили. Лежу в снегу, вижу звезды. Абсолютно отчетливо, вот как сейчас. Сознаю где: возле горки, на просеке переделкинской. Крики, паника – я молчу. Экстазное состояние, только в таком возрасте доступное. Их ликование: нашли, обрели. Улыбаюсь: любите меня, любите! Как вы сейчас, не сможет никто. Вот он миг, ради которого стоит родиться. Получено все.

ОТЕЦ И СЫН

Наше знакомство состоялось, когда мне исполнилось четыре года, а дед после смерти бабушки Надежды, умершей за год до моего рождения, успел жениться, прожить в новом браке столько, чтобы жена новая Зоя, не помню отчества, на его площади прописалась, прописала и взрослого сына, дед же оказался ни при чем.

По сути бездомного, деда доставили в Переделкино, и все пожитки его составляли книги. Не библиотека – куда там! – разрозненные, кое-как сброшюрованные издания, перевязанные веревками по стопкам. Вот именно их, спустя годы, таможенники в Шереметьеве мне будут, как контрабанду, швырять. Плеханова, серийные, копеечной стоимости, выпуски из "Библиотечки марксиста". Дед их в Москву из сибирской ссылки привез. И вот разложил в комнатенке на даче, вроде как очень довольный.

Довольный всем и всегда – такая черта была в нем ключевой и запомнилась всего отчетливее. Никогда ни на что он не гневался, голоса не повышал, принял как данность и осуждение сына, не простившего измены памяти своей матери: инициатива в переселении деда к нам принадлежала моей маме.

Я долго считала, что именно этот конфликт лег в основу их с папой размолвки. Не ссорились, но практически не разговаривали. Причем, если папа когда и вскипал, дед стойко хранил невозмутимость. Дожил до девяноста одного, ослепнув, но «Полтаву» чесал наизусть. И не только "Полтаву".

Общение с ним могло дать куда больше, чем я взять пожелала. Никто ведь меня не вынуждал принимать чью-либо сторону в его разногласии с папой. Между тем, не задумываясь, да и не способная в те годы к подобным раздумьям, я признала папину правоту во всем – на том основании, что люблю его больше.

Дед и этот разрыв принял к сведению, не выказав никакого огорчения. Натыкаясь на меня в коридоре, удивлялся: Надя? Как выросла… Все та же улыбка, в неизменной приветливости граничащая с полной бесчувственностью. С революционным прошлым, тюрьмой, ссылкой, нрав деда как-то не стыковался. По моим представлениям он не стал бы бороться ни за что. Или я ошибалась?

Он был классический идеалист, что по-житейски выражалось в упрямстве, маскируемом как бы рассеянностью, отвлеченностью. Потребности свои личные свел до такого мизера, что, как разъясняла мама, позорил нашу семью и прежде всего

своего сына. Действительно, срывы, хоть и редко, случались, и папа ну чуть ли не со слезами умолял: "Смени костюм, вот тебе мой, а этот – в помойку!" В ответ, по контрасту, сдержанно, мирно: "Да ты, Дима, не нервничай…" Уж не издевался ли? Нащупав, чем сына уязвить, доставал тут его планомерно, методично. "Что люди скажут?!" – по маминой формулировке. И – в отместку, что ли? – с проворством, при его возрасте удивительном, успевал-таки припрятать протертые до дыр штаны. Старческое слабоумие проявлялось у него исключительно вот на этом участке. Читал по-немецки и по-французски, а по-английски со словарем.

Позорить же нашу семью он мог только в двух случаях: когда вывозили его за пенсией, которую он сразу же клал на сберкнижку, и в кремлевскую поликлинику, для профилактики, где обслуживался как член семьи.

Эти выходы в свет, от силы раз в месяц, сопровождались, а, точнее сказать, сказать предварялись буйными сценами. Сын за отцом гонялся, чтобы под душ его затащить, а уж мама и домработница Варя с чистым бельем подстерегали. Вот-вот уж настигли, и вдруг уворачивался с бесовской улыбкой: у себя запрется, и что тогда дверь вышибать?

Можно сказать, родители с обеих сторон представлены были родственниками, друг друга достойными. По маминой линией – откровенной дурехой бабусей, охорашивающейся постоянно, кокетливой, как институтка, а по папиной – дедом, сбрендившим в сторону прямо противоположную. Опорки, в которых он шаркал, изношены были до такой степени, что превратились уже в изделие, будто выполненное по заказу для персонажей из пьесы "На дне". Ван-Гог создал из подобной обувки шедевр, так и названный: "Башмаки".

Между тем, одетый как оборванец, дед лицом оставался не только благообразен, но утончен, аристократичен. Высоколобый, светлокожий, в очках с овальными стеклышками, тогда устаревшими, но после, спустя эдак лет семьдесят, снова вошедшими в моду. Усы, бородка, как ни странно, холеная. Когда насильно его впихивали в папин костюм, каким еще молодцом смотрелся! Сидя рядом с шофером в казенной «Волге» был просто неотразим.

Но помимо причуд у деда имелся и крупный, и уже непростительный недостаток: откровенное ничегонеделанье, неучастие ни в чем.

На пенсию вышел, ни дня не промедлив. Врач-дерматолог, с опытом ссыльно-сибирским, где сифилитики толпами к нему стояли, и он их вылечивал – верю! Есть доказательства. В

малолетстве у меня же самой случилась экзема. Сквозь забинтованные запястья желто, зловонно сочился гной. К каким только знаменитостям не таскали! Но очередной светила, вторя прочим, заключал: все это на нервной почве.

Каково это было слышать, оскорбления такие! В благополучии, холе, "нервная почва" – откуда?! Но язвы все больше воспалялись. Воображаю, как ужасалась моему будущему мама, суеверно, как ей было свойственно, казнясь: за что!

От отчаяния, наверно, обратились к деду. Он тогда уже в нелюдимость погрузился с головой. Целыми днями что-то читал, затворившись. Даже к столу общему не выходил. Домработница взывала: Михаил Петрович, откройте, обед несу! Дед, вроде как не дослышивая, переспрашивал: что-что? И отодвинуть задвижку-шпингалет не торопился.

Из кельи его несло затхлостью. Пяти-шестилетней удавалось еще на диване сбоку примащиваться, где он среди книг возлежал, но их становилось все больше, неприятный запах усиливался, да и надобность в моих посещениях постепенно отпала.

Хотя от напасти экземной именно он меня избавил. Процесс излечения стерся, но результат налицо: болячки те детские никогда больше не возобновлялись. Но и признательность деду растворилась, а удержался, напротив, укор: действительно, эгоист. Знания, способности, как скупой рыцарь, запрятал, отгородившись от всех.

К таким выводам я, правда, пришла, не без подсказки мамы. Ответственность за наше воспитание в ней не умолкала никогда. Любая мелочь в ее изложении получала нравоучительную окраску. Я всем советам ее внимала с раскрытым ртом и ставши взрослой, и уже выйдя замуж. Что вовсе не значит, что я им следовала, но выслушивала с наслаждением. И готова бы слушать теперь маму мою, иной раз наивную, склонную к упрощением, но и к прозрениям тоже. Округлив небольшие, с жемчужным блеском глаза, понизив голос для большей выразительности, она выговаривала: самое страшное, Надя, безразличие, ко всему, ко всем.

Дед в такую готовую схему укладывался. В последний раз мне пришлось с ним соприкоснуться, когда неуспехи мои в математике достигли черты уже роковой: пересдача грозила, чуть ли не второгодничество. Тут и припомнилось, что в Харьковском университете дед первый курс на математическом факультете проучился, откуда был вычищен за неблагонадежность. Восстановиться после позволили только на медицинском. Тогда уже, значит, к точным наукам допускались только проверенные.

Вот ведь какая темная штука – генетика. Дед, пусть и в

начале века, алгебре, геометрии ну и чему-то еще, мне не ведомому, обучаясь, получил внучку, которая и в арифметике ни в зуб ногой. Меня это нисколько не обескураживало: справившись кое-как с временной трудностью, твердо знала, что тут же, получив свою тройку, выкину ненужный мне мусор из головы. Чуть только потерпеть.

Дед объяснения начинал терпеливо, приветливо, но с фразы, о способностях к педагогике не свидетельствующей: ну это же, Надя, так просто…

Не претендуя на сообразительность в данной области, я, все же уязвленная, закипала, утрачивая начисто способность что-либо воспринимать. Дед глядел с удивлением. И по темпераменту мы сильно разнились. Ждал. Прищур сквозь очки, снисходительная улыбка, что уже буйство вызывало. Тетрадки, учебники летели со стола. Опять никакой реакции. Только взгляд уплывал в окно: там черемуха зацветала. О чем-то он думал, что к занятиям нашим никакого отношения не имело. Но об этом я уже не узнаю никогда.

А на четырнадцатилетие вдруг от него получила подарок: иллюстрированное, юбилейное издание «Нивы» под названием "Девятнадцатый век". Вручено оно было с торжественностью, деду не свойственной, да и не оправданной внешними данными лишенной обложки, обтрепавшейся книги. Как и бывает, потом оценилось. "Девятнадцатый век" обрел достойный коленкоровый переплет и в путешествия пустился повсюду, куда нашу семью ни заносило. Удача: вывезти удалось. Теперь он здесь, в США. Реликвия. Знал бы дед, знал бы хоть кто, что нас ждет, что там может случиться, в будущем.

Дед был еще жив, когда пьеса Сартра "Альтонские затворники" всколыхнула если не совпадением, то сходством. Тогда уже, пусть неосознанно, ключи подыскивались к загадке его отшельничества. Но отсутствовало еще очень важное: тот сердечный толчок, зовущий дознаться правды.

Мне было известно, что папа с родителями из сибирской глубинки в столицу прибыл к концу двадцатых. Припозднились (и сильно) к дележке пирога. Друзья их, Рыков, Бубнов, Куйбышев утвердились уже в кремлевских апартаментах, а новоявленным провинциалам досталась комната в коммуналке. Но в гости их звали, в те самые "белые коридоры", описанные Ходасевичем, где наличествовал и царский сервиз с золоченым двуглавым орлом на белом фоне, что вожди поделили по-братски: кому кофейные чашечки, а кому бульонные, и блюда, салатницы по семьям разбрелись, в кремлевском теперь общежитии соседствующими. И вот там, в присутствии юноши Вадима, произошел инцидент,

глубоко запавший, о котором я не раз в папином изложении слышала.

Поначалу все мило, чинно, хозяева угощают, гости благодарят. И вдруг моя бабушка, в честь которой меня и назвали, чашку хрупкую вверх дном опрокидывает, зрит клеймо с орлом и, в гневе из-за стола вскакивая, выдает примерно следующее: мы, мол, за это кровь проливали, чтобы вы потом… Решительно: уходим, Вадим, ноги моей больше… Ну, в общем, сюжет повестей Юрия Трифонова.

Папа, рассказывая, каждый раз умилялся. Но иной раз с комментариями, осторожно, вступала мама: "Понятно-де, конечно, но все же невежливо. И, слышишь, Надя, скандалов следует избегать, Хотя, разумеется, – мельком на папу взгляд – Надежда Георгиевна имела право".

Сама мама не имела. Никакого. Из ее родни в революции никто не участвовал. Отца, поляка, варшавянина, студента юридического факультета, в Первую мировую войну мобилизовали, он на фронте до маминого рождения погиб. Как можно догадаться, не на стороне красных.

Впрочем, и скандалистке-бабке следовало бы не вопить Кассандрой, а оглядеться повнимательнее. Папа об этом не рассказывал, но, судя по датам, переезду Кожевниковых в Москву предшествовал массовый отстрел меньшевиков в Сибири. А именно в этой партии состоял Михаил Петрович, мой дед.

Земля загорелась под ногами, вот и снялись, ринулись куда подальше. Москва, верно, увиделась как другая часть света: там и намеревались затеряться? Защиту найти у друзей, вышедших к той поре в большие начальники? Но промашка: никто никого уже защитить не мог. Бабке Надежде это бы углядеть, что поважнее сервизов: страх, достигший Кремля.

Вижу сцену, тоже вычлененную из папиного устного творчества: начало тридцатых, Вахтанговский театр, в ложе, рядом с юным рабфаковцем Вадимом, Рыков, старый семейный друг. Достает из портфеля бутерброды, угощает, знает, видит, что парень голоден. На сцене, может быть, «Турандот». Но главный, кровавый спектакль уже тоже готов к запуску: шахтинский процесс, потом Промпартии, и Рыков, Бухарин после будут задействованы. Наталка, дочь Рыкова, папина сверстница, подружка, вот-вот пустится по кругам ГУЛАГа. "Ешь, ешь, Вадим". – возможно, последнее, что он слышит от человека, чье имя долгие годы нельзя будет упоминать.

Никогда, ни при каких обстоятельствах папой не разъяснялось, как удалось их семье уцелеть, при том, что дед, уже обреченный как меньшевик, был к тому же среди организаторов

побега Сталина из Туруханского края. Есть исторический снимок: дед, правда, маячит в задних рядах, а на переднем смуглый усач в белой бекеше.

И бабка тоже, вполне в пару деду: оказавшись в одной камере с Инессой Арманд, сфотографировалась с ней вместе на память. В определенные годы подобные раритеты смысл получали конкретный: спасайся, кто может, и поскорей.

Но, конечно, они догадались, как им повезло, что не успели в столице высунуться. Коммуналка куда как надежней, чем Кремль, Гнездниковский, Дом на набережной на улице Серафимовича. Тихо-тихо, молчком, неприметно. Даже бабка, при своей бешености, затаилась.

В пятьдесят с гаком лет поступила на курсы, с дипломом диетсестры в профсоюзный дом отдыха устроилась. Дед при ней: венеролог кстати пришелся. Но главное, чтобы забыли, чтобы сыну не помешать.

В такой вот подсветке бурная папина деятельность, взлеты карьерные иначе уже увиделись. Хотя он мне и внушал, что победивший в стране пролетариат ему изначально родственен, братственен – теперь сомневаюсь. Полагаю, что пришлось ему в этом себя самого убеждать. Не без принуждения, извне напирающего. За его мускулистой, широкой спиной родители притаились. Вот с каким грузом он жил, не признаваясь никому.

Храню фотографию: в пальто кожаном, стянутом в талии, очень уверенный, очень гордый, без тени улыбки, как диктовалось модой – вот он, молодой герой. В те же самые годы, загнавшие в угол родителей, их сын старт взял, и пошел и пошел, все выше, выше.

А уже после сорока роман написал "Заре навстречу", ошибочно отнесенный к реалистическому жанру, на самом же деле романтическую сказку про то, каких бы хотелось ему иметь родителей и какую страну. В обоих случаях то, что он вообразил, с реальностью слабо соотносилось.

В "Заре навстречу" (название, кстати, учитывая, что случилось потом, не лишено саркастичности) среди персонажей есть некий Савич, меньшевик, отношение к которому автора, я бы сказала, пристрастно враждебное. И манеры его, усмешки, любезность, маскирующая эгоцентризм, расплывчатость и в характере, и в суждениях, чуждая кругу ссыльных революционеров, куда он по случайности затесался – все это в романе воссоздается так живо, ярко, что, видимо, человек такой был, жил.

И как-то меня осенило: он-то мой дед и есть! Он, а не Сапожков – то бишь Кожевников, – который тоже, быть может, существовал, но только не в качестве отца будущего писателя.

Про Михаила Петровича одна только фраза, безусловно, справедлива, с которой биографический роман и начат: "Что бы ни случилось, отец всегда держал себя с Тимой вежливо".

Что же касается остального, заботливости трогательной, тайного жара души, обнаруживаемого с обаятельной неумелостью в отношениях и с женой, и с сыном, скромного героизма, свойственного по утвержденному мифу "старым большевикам" – вот это, как мне представляется, автором было взято из собственных душевных ресурсов. Да и в образе матери, в романе названной Варей, я нашу маму узнаю, именно ей присущую женственность, лукавство, чарующе обволакивающие то стержневое, что без надобности ею не демонстрировалось.

Один только эпизод, подтверждающий, что бабка моя, Надежда Георгиевна, была другая. Вадим, военный корреспондент, возвращается с фронта и мчится, преданный сын, к родителям, вернувшимся уже из эвакуации (проведенной в Казани, среди писательской родни, куда, как известно, Марину Цветаеву не подпустили) и – неловкость: матушка от объятий отстраняется, обнаружив у сына вшей, и на ночь укладывает его в коридорчике, на сундуке.

Знаю от мамы: папа явился к ней в ту же ночь, в ту пору еще любовником, причем без выказываемого намерения жениться. И, видимо, то, как она его встретила, по контрасту с материнской «любовью», в нем, баловне-холостяке, что-то сместило. Но несмотря ни на что, до последнего часа, пока Надежда Георгиевна была жива, половину зарплаты, пайков, сын ей приносил. В "Заре навстречу" – куда уж тогдашним критикам угадать! – тема, семьи, любви, в детстве столь важной и не дополученной, и стала в романе главенствующей, получив компенсацию творческую. Из боли, из грусти, из отнятого прорастает этот мажор. Думаю, что когда папа в начале пятидесятых "Заре навстречу" писал, он был полноценно – после это будет все реже и реже – по-писательски счастлив.

А что же дед? Он ведь "Заре навстречу" читал. Но не умилился, и потому что такие порывы с возрастом вообще иссякают, и потому, вероятно, что в докторе Сапожкове себя не признал. Сын-писатель подменил как бы себе родителей, и дед, если бы был на такое способен, скорее мог бы обидеться. Что было, как было на самом деле, он-то уж знал.

И что в "старые большевики" его записали восторг вряд ли вызвало. Полагаю, что эта идея им была выкорчевана из сознания задолго до переезда семьи в Москву. Не даром ведь уклонился от регистрации, положенной членам партии: меньшевиком объявляться, конечно же, было самоубийственным, но и в

коммунисты не заступил, что в столице, на новом месте, да при друзьях-вождях легко бы сошло с рук. Он же, убыв, никуда никогда так и не прибыл, затерялся, след свой, революционно-ссыльный, оборвав, и – уцелел. Умно. Но до того в нем, видимо, многое накопилось, из-за чего он сговариваться с победителями не пожелал.

В Сибирь Октябрьская революция вступила позднее, но ее зверская физиономия наверняка совпадала с описываемым день изо дня Зинаидой Гиппиус в "Петербургских дневниках". Погромы, избиения противников всех оттенков, можно не сомневаться, там в тех же подробностях развернулись. И если для мальчика Димы-Тимы кровавая каша, с детством совпав, воспринималась буднично, то на глазах у таких, как его родители, перевернулся мир.

Собственно говоря, еще раз. Потому как в судьбе студента Михаила Кожевникова ни тюрьма, ни ссылка, как натурой, так и взглядами нисколько не предполагались. В молодежных брожениях он активного участия не принимал. Знаю доподлинно, со слов папы: дед первый раз в одиночку попал, не пожелав выдать тех, кто оставил у него материал для взрывчатки, вату и нитроглицерин, всего-то на ночь, но кто-то донес, и нагрянули с обыском. Не политика, а понятия, кодекс чести были причиной его мужественного молчания. Обыкновенный российский интеллигент, из тех, чья порода после Октябрьской изничтожилась и никогда больше не возродилась. В условиях советской действительности, основанной изначально на компромиссе, такой человеческий тип был исключен. Карьера, льготы, "тридцать сребреников" такими, как дед, инстинктивно, на подсознательном уровне отторгались. Ни переубедить, ни заставить – только убить. Но дед умудрился дожить до девяноста с лишком.

Окаменев, зацепенев, залегши на дно, в тине болотной. И, полагаю, он отчет себе отдавал, что ни сын и ни внуки от него ничего не унаследуют. Воля должна быть железная, чтобы жить, с готовностью исчезнуть бесследно, навсегда похороненным остаться в самом себе.

Советская власть его закопала живьем. И папе в сущности ничего другого не оставалось, как выдумать себе родителей. Те, от кого он произошел, погибли в революционном чаду среди побежденных. И потому только, что он от них оторвался, на свет появилась я.

ЗОЛУШКА

У Катаева в "Святом колодце" она явлена в образе молодой белокурой молочницы, промчавшей на мотороллере с сыном героя повествования, а после застигнутой с ним же рядом спящей, как отмечает автор, сном праведницы, разбросав на полу "красное платье, чулки без шва, на спинке стула висел черный девичий бюстгальтер с белыми пуговицами".

Тогда, в середине шестидесятых, классик советской литературы возник перед читателями в новом качестве стилиста-экспериментатора, от книги к книге все больше смелея, все решительнее своевольничая с прошлым, и эпизод с «молочницей» для литературной общественности, конечно же, заслонился другими, виртуозно вкрапленными в его тексты ребусами: «птицелов», «ключик», «синеглазый», «человек-дятел» возбуждали разгадыванием прототипов, что, впрочем, не составляло труда. То, что и «молочница» существовала в реальности, знали, верно, лишь в Переделкине, где "Святой колодец" писался, и откуда «молочница» была родом. Как и я.

Помню ее белобрысой, с туго стянутыми косицами. Помню страстное свое ожидание, маяту у калитки, волнение: придет, не придет? А завидев, как в подзорной трубе, наметившуюся в конце улицы фигурку, не умела сдержаться, бежала навстречу. Она была меня старше на год. Ей было шесть, мне пять. Ее взрослость мною воспринималась бесспорной и навсегда определенной дистанцией. Ко мне она шла уверенно, неспешно, я же кидалась, бесилась от радости, как щенок.

Она решала, во что нам играть. Ей полагалось быть принцессой, а мне то пажом, то служанкой, ее обряжающей к свиданию с тем, кому она гордо скажет: нет, я тебя не люблю!

Эти слова, то, как она их произносила, доводило меня до слез. И когда нас звали обедать, жуя котлету, шептала в том образе, что она мне внушила: ну, пожалуйста, умоляю, не покидай меня…

Ничего подобного я потом никогда не произносила. Мука зависимости, сладостной и влекущей, как омут, изжилась у дачной калитки, где мы с ней расставались. "Да не цепляйся, – я слышала, – доиграем завтра". И уходила, не оглядываясь.

Хотя мы жили совсем близко друг от друга, практически на одной улице, но как бы по разные стороны барьера, сообщению не препятствующего, но и неодолимого. Оттуда-сюда приносили свежий творог, ягоды, еще теплые яйца, впрочем, все реже, и в итоге и дачники, и местные жители вместе стали томиться в

очереди тесного вонючего магазина.

Но спайка между тем и другим миром еще оставалось прочной. Кто в ком больше нуждался – трудно сказать. Так называемый писательский городок состоял не только из дач, там базировалось и Литфондовское хозяйство со своей ремонтно-строительной конторой, автобазой и, конечно же, домом творчества, обслуживанием которого занималось местное население.

В той, скажем, подсобной среде имелись свои легендарные личности. Истопник дядя Вася был среди писателей и популярнее, и почитаемее, чем какой-нибудь лауреат каких-то там премий. Если котел вышел из строя, а мороз градусов под тридцать, тут взвоешь, а кроме как от дяди Васи спасения неоткуда ждать. Мой папа, к примеру, первым спешил пожать дяде Васе руку, что вовсе не наблюдалось при встречах с коллегами.

Краснодеревщика Сашу Коровкина могли развратить неумеренной лестью, но он на заманы не поддавался и жестко и, надо сказать, справедливо выстраивал драматургов, прозаиков, критиков в затылок друг к другу, нетерпеливых одергивая: "Не-е, вначале Арбузову обещал, вы будете за Леоновым, но нескоро, там беседку сооружаем. – Помолчав, солидно, – Узорчатую".

Медсестра Валя за многие годы в решето исколола все почти знаменитые задницы, и когда с ней, уже пожилой, Андрей Вознесенский опубликовал интервью, спокойная взвешенность ее интонаций контрастировала с заискиваниями – впрочем, понятными, – его, поэта.

Никин отец в той иерархии занимал особое место: лесничий. В бурном послевоенном строительстве столетние ели на участках владельцам мешали, но без санкции, данной лесничеством, их не решались валить.

Потом, спустя много лет, при ельцинской разудалой «демократии», ни о чем уже спрашивать не будут. Но отец Ники успел умереть до того. Помню, как в ожидании его к нам прихода, сидела, залипнув, на сыром от смолы пне, ожидая возмездия, вплоть до того, что папу и маму арестуют, посадят в тюрьму.

Никин отец считался неподкупным, нарушителей штрафовал. Если бы я знала, что речь идет лишь о деньгахКогда окликнули: "Надя, где ты? Иди сюда!" – дернулась, но смола, слезы дерева, не пускали. И я тоже заплакала, с облегчением и вместе с тем с ощущением смутной вины.

Тогда же узнала про Никины измены. Оказалось, я у нее не одна, она дружит еще с Варей Фединой и с Варей Тихоновой, а меня обманывает, ссылаясь то на простуду или что ее не пустили

ко мне. Я делала вид, что верю, хотя ее склонность без надобности привирать не раз уже обнаруживалась.

Как-то, под строжайшим секретам сообщила, что она сирота и настоящие ее родители погибли в авиационной катастрофе. Рассказывая, рыдала, и я вместе с ней. Но после возникла другая версия: якобы отец похитил ее мать у своего начальника, пришлось скрываться, скитаться, и здесь, в поселке, они живут под чужой фамилией. Но я видела ее маму, суетливую, с бегающими, вороватыми глазками, и романтическая история с ней, вот такой, совершенно не вязалась. Зачем Ника несуразицу плетет, было и непонятно, и неприятно. Но я не осмеливалась объясниться с ней напрямик.

У меня уже в детстве проявилась запальчивость, свое мнение, настроение скрывать не умела, отвергала любые попытки меня обуздать, а вот Нике не только позволяла верховодить, но и опасалась ее огорчить.

Хотя держалась она уверенно, властно, что-то мелькало уязвимое, но что именно я не понимала. Может быть, социальные перегородки в нашем «бесклассовом» обществе ей открылись раньше, чем мне? Доказывала свое надо мной превосходство иной раз с жестокостью. Однажды поймала ее усмешку, когда удалось в очередной раз довести меня до слез.

Столько забылось, а это посейчас помню. В общей комнате с младшей сестрой я металась в бреду. Мама, войдя к нам, пощупала лоб и врача вызвала. Откуда инфекция, никто не знал. А я молчала. Организм мой много способен выдержать, а вот с психикой иначе, но беречь себя тут труднее, чем от простуды.

Случай, впрочем, был из банальных, никем не минуемых. Непременно находится тот или та, кто впервые сообщает ужасную тайну: как, в результате чего, появляются дети. У меня этапы взросления проходили всегда с запозданием, кризисно, воспаленно, как корь, опасная осложнениями, если ей вовремя не переболеть.

Учась в школе, анекдотом соленым смеялась последней, уже над собой вызвав дружный хохот. Впрочем, с одноклассниками мне повезло: я не стала объектом травли, хотя подставлялась упорно, упрямо. Апогей был достигнут в каникулы, на традиционном праздновании новогодней елки. По возрасту нам уже полагалась вечеринка, но я отстала и тут, ожидая привычного: хороводов, раздачи подарков? Но вдруг обнаружила, что гости куда-то исчезли: в квартире родителей на Лаврушинском найти укромные уголки не составляло труда. Вот тут наконец прозрела: коварство, предательство! Билась в дверь запертой ванной, выискивала парочек, затаившихся на кухне, в

коридорах: в доме так называемого сталинского стиля, помещения обладали коленчатыми извивами, как свернутый в кольца удав. Хорошо играть в прятки или загонять в угол преследуемых. В этом я преуспела. Всех выгнала и к приходу родителей продолжала неистовствовать.

Уснула под елкой. Но когда возобновились занятия, одноклассники меня встретили как ни в чем не бывало: в тот период столько нового открывалось, захватывающего, что им оказалось не до меня.

Ника куда большую выказала заинтересованность: ей что ли наслаждение доставляло наблюдать, как я снова чему-то ужасаюсь, что мне абсолютно не хотелось знать? Но, пожалуй, переусердствовала: я перестала искать с ней встреч. А окончательно нас разлучила школа.

Она пошла в поселковую, куда ученики зимой отправлялись на лыжах, а меня в музыкальную определили, при консерватории, знаменитую ЦМШ. Ввела в заблуждение экзаменаторов, забыв фортепьянную пьеску, но сказав, не смутившись: я лучше спою! И приняли, с диагнозом "артистичность".

Знатоки допустили ошибку. Не способности к музыке меня отличали, а безмятежное, вольное, сельское детство. И оно закончилось.

Контраст между тем, какой я была и какой стала в окружении юных гениев, был столь разителен, что родители пугливо затихли. Фанатизм от меня нисколько не ожидался, и вроде бы не от кого было его унаследовать. В семье жизнелюбов выродок объявился, исступленно себя истязающий за пыточным агрегатом, то бишь роялем фирмы "Бехштейн, приобретенным мамой по случаю за цену, значительно уступающую его стоимости.

Не только с Никой, но и ни с кем из сверстников-немузыкантов я не общалась. Рояль вытеснил все. Но хотя исполнительская карьера мне не далась, какое блаженство – твердо знать, ясно видеть поставленную цель. Без этого жизнь превращается в хаос.

Ника возникла вновь, когда я уже заканчивала школу, остервенело готовилась к выпускным экзаменом. Мы ехали с дачи в город, и мама, сидя за рулем «москвича», воскликнула: поглядите, как Ника расцвела, ну просто красавица! И папа кивнул с видом знатока.

Стояла на обочине, и мама, притормозив, предложила ее подвезти. Но Ника отказалась. На ней было что-то синие, под цвет глаз, и белое, загар оттеняющее. А главное, она была счастлива, ликующе, упоенно. В маме, стопроцентной женщине, это мгновенно нашло отклик. Сказала, лишь мы отъехали: девочка

влюблена.

В кого – узнать оказалось нетрудно. В поселке в тайне ничего не удерживалось. Его звали Андрюша, он был сыном литературного босса, учился в МГИМО, водил отцовский «ЗИМ», зимой ходил без шапки, носил джинсы, словом, парень хоть куда.

У нас он бывал со своими родителями, но всегда торопился: к ней, Нике. Мы ведь рядом жили, на одной улице. Как-то обряжали с ним елку, и я зорко следила, чтобы не халтурил, аккуратно вдевал петли игрушек на колючие веточки.

Как развивается их любовь, интереса не вызывало. И удивило не то, что они расстались, а что это обсуждается так горячо. Дачных романов в поселке случалось до черта, и, что называется, без последствий. А тут вдруг: опозорил, бросилИли: да не пара она ему! Или: каков негодяй! Прямо как в пьесах Островского.

То, что ей сочувствовали как потерпевшей, Ника, думаю, воспринимала особо болезненно. Пощечина – прослыть неудачницей. Плюнуть бы на сплетни, но она не смогла. По обе же стороны барьера учуяли подоплеку: ее намерение вырваться из своей среды.

Мечтанья Золушки трогательны, пока скрыты. Если до времени они обнародуются, Золушка выставляется на потеху. Выясняется, что она не бескорыстна, а в притязаниях своих смешна. Если нет счастливой развязки, окружающие упиваются собственной трезвостью, обывательской, зато оберегающей от соблазнов. То, что их-то никто не искушал, в расчет не берется. На амбиции всегда ополчаются, если их не венчает успех.

И вот мы еще раз с ней совпали: я не состоялась в профессии, она в роли Золушки провалилась. Но мне-то рояль уже только снился, а она продолжала пытаться утвердиться в том же амплуа.

Старый греховодник Катаев подметил точно: «молочница» охмуряла и его сына, в числе прочих. От игр не отказывались, но жениться?

А Нику будто заклинило: именно здесь, в Переделкине, желала одержать победу, на глазах тех, кто, считала, ее отверг. Но, увы, ресурс дачников мужского пола был не безграничен.

В институт поступить не удалось. Потом рассказывала: хотела найти работу на телевидении, пришла с просьбой похлопотать к обозревателю, тогда известному, "Литературной газеты", но жена к нему не пустила, мол, занят. И посоветовала: "А почему бы тебе не устроиться на почту, здесь же, по месту жительства, и в электричках не будешь толкаться, чтобы добираться до Москвы".

Обида не забылась. "Ты представляешь, – повторяла потом возмущенно, – на почту решила меня определить! Сама-то кто? Из

массажисток. Окрутила мужа, пока он в санатории отдыхал. А ни кожи ни рожи".

В гневе язык ее опрощался, и она не стеснялась в выражениях. А вот когда говорила в моем присутствии по телефону, от ее томно-вкрадчивых интонаций меня смех разбирал. Дурачится, думала. Но как-то на мой смешок сверкнула негодующим взглядом. Закончив, сказала сердито: "Это был важный разговор, а ты мне мешала".

На телевидение, правда, сумела проникнуть, но чем конкретно там занималась, не уточнялось. По ее словам, ведущие популярных программ, телевизионные звезды в гости ее к себе зазывали и к ней в Переделкино наведывались. Вот буквально вчера устроили шашлыки, шампанского – залейся! И, вздохнув: "Жаль, ты была, в городе, а все получилось спонтанно. Но в следующий раз заранее договоримся". Так выходило, что эти пиры всегда случались в мое отсутствие.

Я удивилась бы, впрочем, если бы ею обещанное сбылось. Да и, признаться, пугало: в сравнении с ее вдохновенным враньем, реальность раскрылась бы во всем убожестве. Одно присутствие ее матери, заискивающей, угодливой, уронило бы Нику в глазах присутствующих. И, что важнее, в моих.

Короче, поддакивая, я не столько ее оберегала, сколько себя. Вглядеться в изнанку наших отношений по-прежнему не хватало решительности.

Одевалась Ника модно, дорого, пахла французскими духами, и, гуляя с ней по Переделкино, я гордость испытывала, что она затмевает встречаемых писательских жен и дочек. Ни жалоб, ни бабьих пошлостей я от нее никогда не слышала. У нее было замечательное, от природы, чутье – главный, пожалуй, ее дар. И шлифовался в борьбе за выживание.

Я приходила в бревенчатый дом лесника, где в холодном тамбуре пахло соленьями, огурчиками с огорода, капустой квашеной. На пороге снимала обувь, на дощатый, выскобленный пол ступала босиком: опрятность в комнатах вызывала робость. На кухне за круглым, покрытым клеенкой столом, у меня пробуждался зверский аппетит: сметала борщ, блинчики, пироги с луком, пока Ника, растопырив пальцы, ждала, когда лак на ногтях обсохнет. Свою мать она называла теперь по имени, Серафимой, обращалось с ней как с прислугой, но я чувствовала, что эта женщина с ее притворной покорностью дочь свою держит в когтях.

Жили они, конечно, не на зарплату Ники вместе с вдовьей материной пенсией. Продукты с рынка, туалеты роскошные – явно сказывался иной приработок. Но во мне что-то

сопротивлялось, чтобы назвать вещи своими именами. В раскрытые окна кухни ветви яблонь заглядывали, посаженные Никиным отцом. В саду между двух сосен гамак натянут. А в спальню можно не заходить: там все пространство занимала кровать под атласным, цветастым покрывалом.

Не выдержала моя мама: "Не понимаю, что может быть у вас общего!" Спокойный тон ей с трудом давался. Я собралась обороняться, но она замолчала. Впрочем, то, что имелось в виду, разъяснений не требовало. Тем более, что косые взгляды жен-дочек дали возможность подготовиться: наш с Никой альянс воспринимался вызовом, демонстрацией и стал тоже предметом для сплетен. Вот они и до мамы дошли. Но я проявила находчивость, выставив беременный живот: "А как же прогулки? Нужно, полезно, а с кем? В такую слякоть все ведь в город удрали". И шмыгнула носом для убедительности.

Муж утром уезжал на работу, и пришло в голову: почему бы ему Нику до Москвы не подхватывать? Реакцию, что мое предложение вызовет, никак не ожидала.

Считая, что обсуждать тут особо нечего, предупредила: только, пожалуйста, не опаздывай, будь у калитки точно к восьми. И тут она взвыла, монотонно, утробно, не меняясь в лице, с сухими глазами. Ее мать вбежала, выказав неожиданную сноровку: едко запахло лекарствами. Знала, что делала, не в первый, видимо, раз. С мокрым полотенцем в руке, подталкивала меня к двери: иди-иди, это так… обойдется… Пропихнула уже в тамбур, когда раздался Никин звонкий смех. И я ринулась обратно.

На диване, с холодным компрессом, сползшим со лба к щеке, она, в корчах хохота, еле выговорила: "Ты что, правда такая дура? Да от меня бабы мужей своих по чуланам прячут, а то укушу, проглочу!"

Я буркнула: сама дура, и, как договорились, завтра к восьми. Но она не явилась, муж напрасно прождал. А вот прогулки наши продолжались, и когда у меня родилась дочка.

Шли однажды, толкая коляску, я, как обычно, смеялась над очередной ее байкой – она умела по-снайперски углядеть в людях, в ситуациях несуразности – и вдруг услышала, сказанное совершенно некстати и мрачно, с агрессивностью: "Все, пора замуж!" И, после паузы: "Знаю, за кого. Этот не увернется, не получится, попался, парень".

Так появился Леня. Невзрачный, неловкий, но сразило меня то, как Ника сияла, нас с ним знакомив – со своим, собственным, ей безраздельно принадлежащим, что он, видимо, еще не вполне усвоил.

Ниоткуда возник, вне всякой связи с прошлым, что и являлось в нем самым ценным, составляло сокровище, которое Ника из всех сил берегла, стерегла. Призналась, что дико боится телефонных звонков, и что Леня возьмет трубку, а сволочь какая-нибудь, из подлости…

Но сволочи не нашлось, ни по соседству, ни еще где-либо. Людское злословие смолкло, отступило. Решили, что грешница за все расплатилась сполна? Насытились, напились кровушки? Но, может, именно внезапность такого замирения Нику и подкосила.

Сразу как-то поблекла, состарилась. Волосы стянула резинкой, на лице ни тени косметики, и взгляд, боязливый, искательный, – на хозяина. Вот, значит, дождалась.

В тот период они стали к нам часто захаживать: мы сами еще не забыли, что на определенном этапе влюбленным тесно становится только друг с другом, возникает потребность на людях бывать, нуждаясь в поддержке постороннего взгляда, мнения. Да, хочется, чтобы признали, пригрели. Но вот годился ли наш личный опыт в данной ситуации?

Это давно вызревало, чувство как бы вины. Почему мне, не красавице, не праведнице, без усилий дается, что от Ники требует таких непомерных затрат? Терпит, когда Леня хамит, позволяет ему напиваться, он чушь несет, она же, с ее острым, как бритва, языком, рабски молчит. А я, еле сдерживалась, чтобы не вдарить по его плешивой башке чем-нибудь тяжелым.

Свой-то изъян я знала – жить прошлым и в совершенно новых реалиях. Поэтому она, Ника, для меня оставалось той, кого я в детстве так страстно у калитки ждала. И теперь ревновала к мужлану ее, гордячку, на наших глазах унижающему.

Оставалось надеяться, что когда она-таки его на себе женит, ему все припомнится. Но он в загс бросаться не спешил. А если соскочит? Тогда – катастрофа. Такого еще удара Ника может не перенести. Вернуться к прежней себе, вызывающе дерзкой, независимой, после того, как сама добровольно надела ярмо, не получится. Но в любом случае, как чутье подсказывало, даже став вынужденно ее сообщницей, я Нику потеряю.

Как свойственно натурам недалеким, Леня был и хитер, и приметлив. Такие пуще всего боятся, как бы их не надули. Если замуж впервые выходят за тридцать – да хоть королева! – тут что-то подозрительное. А что он Нике нужен именно как муж, Леня понимал.

Понадобилось, видимо, все Никино мастерство, чтобы небылицы, которые она плела, звучали для Лени убедительно. Но он желал подтверждений, доказательств, и мы, наша семья, выступили в качестве гарантов.

Объяснять, что от нас требуется, не пришлось. Панибратский тон с моим мужем, которого Ника прежде сторонилось, задачу сразу определил: здесь она абсолютно свой человек, более мудрый, более опытный, в чьем покровительстве нуждаются, советы ценят. Она подсказывает, наставляет и как нам воспитывать свою дочь, и с кем сближаться, кого остерегаться, и где какой достать дефицит, и прочее, прочее… Бывает, своей бестолковостью мы ее раздражаем, вынуждаем к строгости, она досадует, но все же не оставляет нас из чувства долга.

Так, примерно, разыгрывался этот спектакль, пока наконец они не поженились.

Завели двух овчарок, свирепых, специально для охраны натасканных. В сравнении с нашими псами, на диванах валявшихся, любого пришельца встречающих с ликованием, скатерть слюнявивших, выложив рядом с тарелкой умильные морды, эти, гладкие, мускулистые, свидетельствовали о другом совсем образе жизни, для Переделкино еще необычном, но внедряемом уже по стране.

После начнут вырубать переделкинский лес, особняки "новых русских" полезут с полян, сминая столетние ели, сохранность которых блюл когда-то Никин отец. Недавно еще шокирующий общественность каменный терем поэта-черносотенца Софронова по сравнению с недавно возведенными дворцами будет смотреться лачугой, сколоченной на медные гроши. Писательские амбиции, склоки за место под солнцем расползутся как мокрый картон. Не издание книг, не литературные премии, а приискивание арендаторов для московских квартир станет главной заботой. Найти иностранца, расплачивающегося валютой – вот верх творческих мечтаний. Убежденные урбанисты, презирающие дачную скуку, эвакуируются за город со всем скарбом и присмиреют. Оттуда бы хоть не выгнали, вон ведь как крушат все вокруг.

И по другую сторону барьера наступит паника. "Джентльмены удачи" сочтут выгодней, сподручней к месту стройки сбрасывать десант, хлынет рабочая сила из "ближнего зарубежья", местные умельцы не выдержат конкуренции, от невостребованности спиваясь и умирая один за другим.

В один год уйдут осанистый дядя Петя-водопроводчик, Володя-электрик с лицом падшего ангела, уцелевшие создадут "клуб по интересам" у прилавка винного отдела поселкового магазина: появление там чужаков в рабочих спецовках, покупающих хлеб, молоко, встречено будет в штыки. Они станут врагами, новых хозяев жизни ненависть не коснется, по причине их недосягаемости. В бронированных «Мерседесах» с

затемненными стеклами и лиц-то не разберешь.

Но это еще впереди, а первый архитектурный образчик «новорусского» стиля возник, лепясь к бревенчатому дому лесника. Наращенная после стремительность в возведении подробных замков еще только набирала обороты. Ника жаловалась на трудности со стройматериалами, брак, халтуру, рвачество, и выглядела изможденной: то, что она возжелала, давалось тяжело.

Хотя бизнес у Лени пошел успешно. Чем он конкретно занимался, по новым правилам не следовало выяснять. Прежде образование, профессия, должность определяли статус, но, как оказалось, это вовсе не самое главное. Леня в шикарной дубленке выглядел крупным начальником. В нем лоск появился, даже импозантность. Мы с мужем встречали их, чинно прогуливавшихся. Как-то мелькнуло: а все-таки Ника утерла всем нос. Но тут же заметила ее угасший взгляд. В теплом платке, повязанном по-старушечьи, она опиралась на Ленину руку не как победительница, а как предельно уставший путник.

К себе они не звали, что объяснялось просто: в тогдашних условиях обычный ремонт мог с ума свести, а тут стройка затеяна такая, что и приблизиться страшно, грузовики, бульдозеры, и спустя столько месяцев все еще нет крыши – быть может, небоскреб задуман?

А потом они вовсе куда-то пропали. Дом наконец отстроили, но он казался нежилым. Ходили смутные слухи, что Ника заболела чем-то редко встречающимся, и-де Леня даже возил ее за границу, но не известно, помогли ли там.

Их дом возвышался над всеми, давил своей массой, и болезнь владелицы, к тому же неподтвержденная, сочувствия особого не вызывала. Поселок, как и в целом страна, учился выживать в обстоятельствах, абсолютно новых, для большинства неожиданных. Обсуждать то, что тебя лично впрямую не касается, уже не казалось интересным. Кладбище переделкинское расползлось настолько, что поговаривали о его закрытии. Родственникам блуждать приходилось, чтобы найти даже свежую могилу.

При Иване Грозном эта земля принадлежала боярам Колычевым, казненных Малютой Скуратовым. У душегуба имелись предпринимательские задатки: на присвоенной территории стал выращивать клубнику, сплавлять ее на баржах в столицу по тогда судоходной Сетуни. После она обмельчала до мутного, полузадохшегося ручейка, подпитываемого, тоже уже на последнем издыхании, источником. В повести Катаева он назван "Святым Колодцем", где – повторяю – явлен образ белокурой

молочницы. Но в моей жизни она появилась еще раз.

С ней все всегда получалось неожиданно, и тогда застала меня врасплох телефонным звонком: могу ли выйти к ней навстречу минут через двадцать?

Ну, уж чего там: что было, то осталось. Только ее завидев, рванула во все лопатки. Обнялись, и услышала: "Погоди, Надя, я палочку обронила, ой, где же она, ведь иначе до дома не дойду. Ах, вот, ну спасибо. Хочу тебе показать все. Калитку толкай вовнутрь, собачек не бойся, они заперты в загоне, ну иди же, иди, что же ты…"

Уже не две, а четыре овчарки, размером с телка, кидались на металлическое сетчатое заграждение с воем. Опасливо на них озираясь, я поднялась на крыльцо, прошла тамбур – и оказался в кухне, той самой, давно знакомой, с резным облезлым буфетом, круглым, покрытым клеенкой столом. Это было как сон, как бред. Но Ника, довольная, улыбалась: "Здорово, правда? Это я так придумала, убедила Леню – оставить и этот дом, и тот. Там есть другой вход, но мы обычно пользуемся этим. И холодильник прежний, и плита, и даже занавески, ты ведь помнишь? Давай здесь немножко посидим, как тогда… Я припасла бутылочку, Леня не разрешает, но, если надо, могу его обхитрить. Шампанское запрятала в валенок! Или, может быть, вначале гостиную тебе показать, биллиардную, каминный зал?"

Дверь из кухни вела в огромную комнату с вычурной мебелью, хрустальной огромной люстрой под высоченным стрельчатым потолком – все так, словом, как грезилось, одеялом с головой накрывшись, в детстве, в одиночестве, виня родителей нерасторопных, не пригласивших фей к колыбели новорожденной. Но ничего, она всего добьется сама. И добилась.

Шампанское, согретое в валенке, хлопнув пробкой, разлилось по сверкающей поверхности стола на львиных лапах, а ля какой-нибудь Луи. У недавно быстро разбогатевших есть общий комплекс или, скажем, вкусовой огрех: они хотят, чтобы старина сияла как новенький пятак, без трещин, пятен, и получают подделку, но – это-то им и важно – дорогостоящую.

Мы с Никой кинулись спасать ценную собственность, оттирая ее рукавами, подолами. И не заметили, как в дверях возник Леня.

"Вы опять тут! – произнес очень тихо, почти шепотом, и я не сразу сообразила, что это «вы» относится ко мне. – Вам мало, вы столько лет жену мою унижали, посмешищем сделать хотели, но нет, не удалось! Чтобы больше ноги вашей здесь не было, вон из моего дома!"

Опомнилась я, сидя на крыльце, том самом, перед тамбуром. Меня обступили собаки, с зубами, не вмещающимися в пасть.

Одного, с изморосью седины на морде, признала: подкармливала, когда щенком был: ты что ли, Рекс? Он кивнул. Стая проводила меня до калитки. И я пошла. По одну сторону – лес, где я знала все тропки, а по другую – обжитое людьми. И вот там было страшновато.

ВАНЯ АМЕРИКАНЕЦ

Это уж точно про него, Ваню, – ангел, пока спит. В свои два месяца он абсолютная копия, разве что размером чуть больше, керамической фигурки скотч-терьера, купленной нашей дочери давным-давно, в Женеве, где мы жили, и долго путешествующей с нами в багаже по странам, пока наконец не осели здесь, в Колорадо. Выходит, уже четверть века назад собачья порода, с бородкой, ушками торчком, короткими, кривоватыми лапками, полюбилась у нас в семье.

Но оказалось, что лапками такими перебирать можно очень-очень быстро, не угнаться, особенно если задумано что-то шкодливое, к чему Ваня сразу же обнаружил склонность и неистощимую изобретательность. Как и упрямство в достижении намеченного, несмотря ни на какие преграды. Игрушки, ему купленные, специально для щенячьих зубов – нет, нисколько не соблазняют, отринуты. А вот впиться в туфель, а лучше в мою лодыжку, стащить с кожаной, благо низкой, тумбы-оттомана книгу, с трудом, но уволочь толстенный телефонный справочник и растерзать в клочья – вот цель, достойная усилий. Выражение его мордочки делается в такие моменты сосредоточенно-серьезным. Характер ясен, сформирован. И нас он понял, определил раньше, чем мы его.

В нашей семье уважаемо, оберегаемо личностное начало, чем бы оно ни обернулось для окружающих. Личность, понятно, более требовательна, больше хлопот, беспокойств доставляет, чем заурядность. С личностью сложно, зато интересно.

Ваня томить нас не стал, в первый же день дал понять, с кем мы имеем дело. И что с него ни на секунду нельзя спускать глаз. Дрема, настигнувшая вдруг, в мгновение шумной возни, когда он, сомлев, на ковер валится, смежив веки, скорее уловка, нашу бдительность притупляющая. Умилению поддавшись, мы обмениваемся улыбками, а он уже – хвать, треплет угол ковра, как шкуру поверженного врага. По прогнозам мужа, чтобы с ковром окончательно разделаться, Ване понадобится года полтора, если что-то другое не отвлечет, скажем, обшивка дивана или скатерть, свисающая со стола, да мало ли… Ваня, примериваясь, изучает обстановку в доме, как поле битвы, где он наверняка победит. А мы уже сдались, в чем он не сомневается.

Вы слышали про ящики с зарешеченной дверцей, где собачки в щенячьем возрасте, как в американских магазинах уверяют, с удовольствием располагаются, будто в домике, избавив владельцев от тревог за порчу ими имущества? И мы слышали, и

даже ящик приобрели. Напрасная трата, напрасные упования, что Ваня стерпится-слюбится с темницей. Способность к отпору при посягательстве на свободу, права его личности, сопровождаемая негодующим лаем – отнюдь не скулением жалобным – обнаружится при попытке в «домик», так называемый, его запихнуть. Ну ладно. А если хотя бы заграждение поставить, типа манежа для учащегося ползать ребенка? Нет, снова протест. Зато, когда мы в очередной раз от своих намерений отступаем, он награждает нас очаровательной игривостью ищущего ласки, будто бы послушного и в самом деле до сердечного сжатия хрупкого, нуждающегося в нас существа.

Он спит, мы ходим на цыпочках, говорим шепотом, ссориться не допустимо, чтобы его не напугать, не травмировать, он ведь так впечатлителен, озорно любознателен, хотя в ошарашивающей новизне настороженность его не покидает. Телефон зазвонил – вздрогнул. А при звуках музыки из проигрывателя замер, застыл, ушки-локаторы напряглись. Младенцы взрослеют месяцами, щенки днями, если не часами. Опыт обретается, впитывается с невероятной для человеческого восприятия быстротой.

Сон Ванин мы, правда, потому еще оберегаем, чтобы самим чуток передохнуть. Но уже с пяти утра в нем бурлит жажда деятельности, черный комочек мечется по комнате то с носком, то со шлепанцем, в лучшем случае, а то принимается грызть провод, либо телефонный, либо от настольной лампы, а это уже опасно.

Утром, только я расстелю резиновый, для занятий йогой, коврик, он рядом примащивается, приникает к ноге, лицо лижет, когда я ложусь навзничь. Какие-то позы приходится переиначивать, чтобы не придавить его ненароком. Муж взволнован: хватит стоять на одной ноге, свалишься на него! Не свалюсь, но урок сокращаю. Много чего предстоит сократить, а может быть, и отказаться вовсе. Он, например, ни на минуту не отпускает меня от себя. Случилось: меня выбрал, как было с Микки.

Но с Микки постепенно вглубь прорастала обоюдная наша с ним страсть, признаться в которой он медлил из гордости – отличительной черте его непростого, нелегкого нрава. И не только в породе дело, хотя шнауцеры ох, круты, ох, несговорчивы, ох, самостоятельны чрезмерно, а в индивидуальности Миккиной именно. Внешне – образец шнауцеровской чистокровности, родословная, можно сказать, царская, но для нас он был и остался единственным, неповторимым, не спутать ни с кем.

Тут не сомневаюсь: полностью совпадений в живом не возможны. И растения, что стоят в кадках повсюду у нас в доме,

различны, разно себя проявляют, хотя называются одинаково, кактус и кактус, фикус, скажем, и фикус, но я изучила, вызнала, что к каждому надобен свой, особый поход. Угадай! Вот и стараюсь, перемещаю кадки то ближе к свету, то в сумрак, и растения отзываются с благодарностью за понимание. Бессловесные в чуткости нуждаются больше, чем люди. Люди могут и с одиночеством справиться, а вот природа, те, кто исконно с ней сопричастны, нет.

Нельзя не ответить взаимностью на потребность, открытую, доверчиво-беззащитную, находиться с тобой рядом, как угодно, где угодно, но постоянно, до последнего часа, вздоха. Отказать тут, хоть с какими, людям по тупости внятными, мотивировками, значит, предать бессловесных, чья душа до краев переполнена единственной, лишь к тебе, навсегда, любовью. То, что людям в тягость нередко чья-то, излишняя привязанность, для бессловесных высшее, природой опять же заложенное, предназначение. Для них жить – значит любить. Стоило бы попытаться у них, а вовсе не у себе подобных, любви поучиться.

Так что ли поговорим о любви? У человеков она, на мой взгляд, уже тем обесценивается, что возникает в обрывах многократно, или, допустим, ее признаки, часто мнимые, призрачные. Впрочем, «романы» такие, быстро, с облегчением забываются, прорастают травой забвения, бурьяном, как заброшенные, никем не обихоженные могилы. У каждого из нас, в том числе и у нашедших в итоге, как говорят, свою половину, есть в душе кладбище несбывшегося, разочаровавшего, обманувшего, и если боли уже и не причиняющего, все же оставившего горечь.

А вот собаки на протяжении всей нашей жизни сосуществуют рядом, и живые, и ушедшие, не заслоняя, не умаляя, не подменяя друг друга в едином потоке их к нам, а нас к ним незамутненной изменами любви. Когда наш друг стареет, болеет, мы тоже стареем, болеем вместе с ним, и на наших руках умирая, он, из последних сил приподнявшись, наше лицо в последний раз вылижет, в точности как тот крошка-щенок, которого мы много лет назад приняли, выпествовали.

В щенке, что мы после возьмем – не сможем не взять! – не важно, той же или другой породы, наш прежний друг вновь объявится, то есть возродится испытанное к нему чувство: любовь.

Иной раз ощущение возникает, что с тобой находится все та же твоя собака, являясь то в обличьи боксеров, рыжей, тигровой, палевой масти, то овчарки, то тибетского терьера, и если с человеком, которого встретишь, прочный союз вовсе не гарантирован, с твоей собакой он изначально определен.

Ты узнаешь этот взгляд, насквозь проникающий, бывает, лукавый, бывает, обиженный, осуждающий, что, кстати, придает отношениям остроту, новизну, упругость, в готовности, ради дружбы, ошибки свои признать, повиниться, от чего уклоняешься, самолюбие не позволяет, даже с близкими.

Люди всегда что-то утаивают, с им самим непонятной иной раз целью, ну так, на всякий случай, хотя разоблачить, раздеть до исподнего, при желании можно любого. А у собак есть тайна, нам неподвластная, с нею они нас покидают в мерцающей, влекущей загадочности, сопутствующей любви.

Вместе с тем с ними, собаками, все ясно, прозрачно из-за врожденного в них благородства, честности. Они не способны лгать. И ложь во спасение, у нас, людей, допустимая, для них не приемлема, отторгаема. Они все нам простят, но не обман.

А мне все же надо выйти из дома, ненадолго Ваню оставить, не в зарешеченном, конечно, ящике, не в загоне-манеже, а в комнате, довольно большой, просторной: резвись, вот пожертвованные твоим острым зубкам носки, тапки, журналы, что так понравилось от корки до корки «прочитывать», то есть изничтожать – развлекайся, мол. Разве что дверь в комнату закрываю. Извини, приходится, чтобы, не навредил сам себе.

Но никаких извинений. Возвращаюсь. Нет его в комнате. "Ваня!" – взываю. Тишина. Нахожу под кроватью, и не желает оттуда вылезать. Смотрит, будто впервые видит, а кто такой Ваня понятия не имеет. Ищи. А я ни при чем.

Хотя научился откликаться на свое имя – захотелось в Америке произносить его часто, призывно, Ваня, Ванечка, Ванюша! – к вечеру в ту же субботу, когда мы, пропилив в одну сторону три с половиной часа, и, соответственно, столько же обратно, взяли его от заводчицы Нэнси, специализирующейся на скотч-терьерах.

До того на востоке Колорадо мне не приходилось бывать и не представляла, что, вместо Скалистых гор, все еще нас изумляющих, открывающихся в панораме из окон нашего дома, увижу бесконечную, унылую, безлюдную, с редкими поселениями, плоскость, поля кукурузы, стада коров. Куда ж это мы заехали, в Техас? Удивились, что Нэнси в еще большую глушь забралась, где поблизости от ее домика-трейлера вообще нет ничего, никого.

Лет за семьдесят, крепкая, жилистая, в брюках, с дымящейся сигаретой, как не боится жить совершенно одна на отшибе? Не боится. Впрочем, не исключаю, что имеет оружие и, при надобности, выстрелит, можно не сомневаться, прицельно. А то! У нас в центре Денвера, даунтауне, в заповеднике для пешеходов, с роскошными бутиками, изысканными ресторанами, и стильно, и

по-разному одетой публики, так называемые ковбои-реднеки тоже прогуливаются, при полной, классической, оснастке: шляпа с полями, расшитые сапоги на каблуках, не иначе как передающиеся по наследству, широченный, с бляхами, бирюзой инкрустированными, пояс. Штат Колорадо да и столица его, Денвер, где небоскребы отгрохали, конференц-залы, оперно-театральные студии, со скульптурами уличными Ботеро, аэропортом, с фонтанами, мраморными полами – нью-йорский JFK может от зависти стонать – все еще держится устоев первопроходцев, первых здесь бледнолицых поселенцев. Святыня, самая почитаемая, – парк-музей, где сберегаются повозки мормонов. В витринах, под стеклом, как диадемы императриц, выставлены чепчики, юбки, жилетки спутниц авантюристов из Старого Света, что и в горящую избу войдут, и коня на скаку остановят.

Нэнси из них. На стенах ее аскетически скромного жилища сплошь фотографии молодых парней в военной форме. Сыновей, внуков, правнуков? Да уж, американка. Четко, скупо, без эмоций, толково, дельно объяснила, чем щенка кормить, когда на прогулку выводить, выдала справку о прививках, родословную, а что еще надо? Щенки – бизнес, давно им занимается. Сфотографирована и она молодая, с псами – такая же, как мы видим ее сейчас. Драма утраченной привлекательности, обольстительности женственной явно и по касательной ее не задела. И что? Девиц, выхоленных, длинноногих пруд пруди, а надежной спутницы, такой, что, если придется, и твою ношу на себя взвалит, ну-ка попробуй, современный мужчина, поищи.

В загонах, на территории, Нэнси принадлежащей, метались самцы-производители, кормящие сучки, потомство подросшее, а стричь-холить их ей некогда. Вы, мол, своего единственного лелейте, вылизывайте, а у меня вона их сколько! Папаша Ванин, зовут Робертом, кидается на нас из-за проволочного заграждения, скаля весьма впечатляюще зубы. Да, совсем не та собачка, что выходила на арену цирка со знаменитым клоуном нашего детства Карандашом. И мамаша Ванина, Джезабель, к сантиментам не расположена, справедливо, пожалуй. Мы – враги для нее, уносим, отнимаем дитя.

Сколько ей, Джезабель? – Андрей спрашивает. Нэнси: три года. Муж сокрушается: молодая какая, а от хама – Роберт имеется ввиду – ни заботы, ни ласки не дождешься.

Реплика предназначена мне, по-русски, шепотом. Хотя Нэнси и на английском не поняла бы, что Андрей имеет ввиду. Ласка, забота к чему? Самое важное – самостоятельность. Вот как у нее, Нэнси.

Ну и ладно, пора в путь. Зарешеченный ящик, для перевозки собачек пригодный, остался в багажнике машины. Ваня всю дорогу на коленях моих пролежал. Муж сказал: вот что все и решило, если бы ты рулила, а я бы его к себе прижимал, он меня бы и выбрал, а ты бы заискивала, доискиваясь его признания. Молчу, не возражаю. Но знаю: не так, не так все просто. Собаки, обладающие поразительной интуицией, приникают к тому, чья душа их зовет. Не тело – душа. Уязвленная, раненая, одичавшая, опустошенная потерей давнего друга. Микки. И муж, и дочь мне сопереживали. Но скорбь по Микки легла на меня.

Слез стыдясь, давя в горле всхлипы, поначалу решила, что такие муки мне еще раз не посильны. Недомогания Микки, унижающие его гордость, а до того расставания с ним, отравляющие все поездки, отдых, путешествия, когда в собачьи гостиницы следовало его определять, пусть самые комфортабельные, дорогостоящие, с неусыпным надзором, ветеринарным обслуживанием. Но ему-то какая разница, сколько за его пребывание там у нас со счета снимали? Его уводили, он, упираясь, оборачиваясь, глядел на меня, в меня. И что потом моря-океаны, пляжи, закуски, коктейли? Его взгляд в упор, недоумевающий – на что ты отношения наши променяла? – преследовал всюду. Шла в купальнике, по песку, загоревшая, лыбившаяся в объектив фотокамеры, а душа стонала, раздиралась в невозможности выбора между той и другой стаей, меня востребовавшей, человечьей, семейной, ради которой я бы и на костре, как ведьма, дотла бы сгорела, и той, откуда сверлил до кишок Миккин, расширившийся, снедая радужную оболочку, темный, мрачный, непроглядный зрачок.

Не новость: людей можно купить, соблазнить, собак – нельзя.

Прежде, чем Ваня у нас объявился, я дозрела, пришла к выводу, что без собаки полноценной жизни быть не может. По крайней мере, у меня. Пыталась прогуливаться одна – в ходьбе мозги прочищаются – но не получалось, рука, поводком не занятая, болталась плетью, минут через десять домой возвращалась, обессилив, хотя с Микки мы оба были готовы безустанно бродить.

Он знал слово «вместе», вызывающее у него ликование. Оказалось, что и я не «вместе» не могу. И погода тогда хороша, тогда радует, когда рядом твоя собака. Без собаки – мрак, и извне, и изнутри.

Потом мы, опять же вместе, на семейном совете, породу выбрали, скотч-терьера, близкую к Миккиной, но все же другую, покладистее, мягче, нас уверяли, чем шнауцеры. Ага!

Ботинки мужа больше тельца Вани, но рычит он не на

ботинки, а на Андрея, – великана, громадину, в Ванином, снизу, ракурсе, осмелившегося высвободить мохеровый плед из его зубов. Тяф-тяф! – возмущается Ваня нахалом, отнявшим у него вкусно-шерстистый трофей, наскакивает на ботинки противника с лихостью гусара-дуэлянта. "У него очевидные задатки лидера", – произносит муж восхищенно. Ну и как при таком подходе послушания от щенка ожидать?

Вернувшись с прогулки, Ваня кладет ювелирной выделки какашки, в аккурат там, где вознамерился, понравилось ему: у камина. И ничего грозного в произнесенном мною «нельзя» не ощущает. «Нельзя» для него озвучивается как «можно», «нужно», и он, Ваня, добьется своего. Сказав, что нельзя фикус грызть, подписываешь фикусу приговор. Ваню неодолимо влечет запретное, и он ловко увертывается, убегает, откровенно забавляясь, когда я пытаюсь его настичь, поймать, и не могу.

Способна ли собака заливисто хохотать? Способна, к тому же с издевкой: ты-де большая, я маленький, но тебе меня не нагнать, неловкой, неуклюжей. Впору теперь уже мне обидеться. Но тут он уморительно зевает, с птичьим, щеглиным выщелком, в колоратурном регистре, выкатывая длинный, с ложбинкой, язычок – и все, и прощен. Беру на руки, вдыхая единственный на свете запах щенячьего тепла, а он успевает лицо мое вылизать, быстро-быстро, спеша самовыразиться, пока я его на пол не опустила. Он у моих ног? Да нисколько. Поверженная, лежу брюхом вверх.

И буду лежать, лежала уже не раз, с его предшественниками, томимая невнятным, недоказуемым, но до дна достающим чувством вины, неистребимым в любви. К своему ребенку, как высшей ее стадии, к мужчине, мужу, отцу ребенка, к родителям, осиротевши, осознав, что их щедрость тебя придавила неискупимым ничем, никак бременем. А больше, признаюсь, никто в глубины такие меня не повергал, в высоты такие не утягивал. Бог миловал.

Возможно, с собаками я в какой-то степени замаливаю грехи свои перед людьми, за свою недогадливость об обидах, мною им причиненных, в основном по небрежности, а еще потому, должно быть, что я не общественный, не коллективный человек, а вот именно из стаи, малочисленной и кровно мне близкой.

Замах шлепка за озорство по утлому задику, с хвостиком поджатым, застыв в воздухе, тягуче, с затяжкой на фермато, как оперная фраза Верди, раскаянием сильного перед слабым, обезврежен, сведен к нулю. Наша дочка злопамятно утверждает, что в Коктебеле я как-то ее, четырехлетнюю, отшлепала. Не помню, но ей верю. За что? – интересуюсь. А ни за что! – считает

она. Пусть так. Права, если повод тогда оказался не внятен, не осмыслен, а причиненный ущерб достоинству в сознании застрял. Нет, не могу, не хочу и не буду Ваню наказывать. Уверена, со временем он приспособится, мы с ним приспособимся друг к другу.

Собака – синтез, катализатор нашего жизненного опыта, учащего, что никого, ни к чему насильно принудить нельзя. Я очеловечиваюсь в общении с собаками. Люди обратное внушали.

Ваня игрив, шаловлив, проказлив, а вот Микки уже с малолетства, то бишь маломесячности, озабоченную ответственность выказал, будто не нам его вверили, а нас ему. Бдил, защищал, охранял не только от возможных опасностей, но и от самих себя тоже. Строгий, непреклонный, неподкупный свидетель нашей жизни. Не забыть его пытливо-взыскивающий взгляд из-под мохнатых бровей. Малорослый, Микки физически был отлит в стальной, пружинистой мускулистости, но, что важнее, наделен был компромиссов не допускающей цельностью, силой духа.

Родившемуся в постперестроечной России, на изломе рухнувших прежних моральных ценностей и ни тогда, ни до сих пор не обретенных иных, в развале социалистической экономики и шатко-валко, неопрятно внедряющейся капиталистической, ему предстояло выживать без забав, баловства, без набора расчесок-щеток, вплоть до зубной, как у Вани, без нарядных лежанок с бортиками, без бортиков, без печений в форме косточек, и не курятиной в банках с протеиновыми добавками лакомиться, а есть что попало, что еще не смел подчистую с магазинных прилавков, впрочем, как и всей нашей семье.

С Микки не разучивались команды, тем более, как теперь с Ваней, на английском, что требуется для занятий по так называемой социальной адаптации в собачьей школе, куда его уже определили. А Микки полиглотом стать не стремился, ему хватало родного, русского, чтобы нас, свою стаю-семью понимать не хуже, чем мы его. И хотя, нас сопровождая, он много попутешествовал, много стран повидал, и в тесной студии, и в вилле колониального стиля со слугами, и в гостиничном номере, главным везде для него являлось – прыгнуть в изножье нашей постели, и там прикорнуть.

Нам его отдали, сбагрили, можно сказать, оторвав от материнских сосцов одномесячным, что американскими правилами запрещается: Ваню от Нэнси мы получили, день в день, когда ему минуло положенных два. Поэтому еще, верно, при ослабленном иммунитете, хвори обрушились на крошку. Вакцины ему для прививок нам переправили друзья из Швейцарии, но

поносы, рвота сопровождали все его взросление, и за него тревога занозой вошла в сердце. Хотя разве возможна любовь без тревог?

Все же он выдюжил прожить с нами четырнадцать лет, до аксакальной для собак старости. За год до ухода, мужественно, героически за себя, ради нас, боролся, не сдавался, слепнув, глохнув, еле ноги волоча. Я боялась его оставлять, чтобы в последний момент прижаться, приникнуть друг к другу, и он бы услышал: Микки, я тебя люблю.

Но нынче вижу другое: как он мчится ко мне стремительно в туннеле зелени переделкинского, еще не вырубленного под нуворишеские коттеджи, леса, с бородкой вразлет, щерясь улыбкой, со слепящим азартом в распахнутых на новизну мира глазах. Таким и останется. А теперь ты, Ваня, Ванечка, Ванюша, беги бесстрашно вперед, как некогда, недавно, Микки.

НЕВЕСТА

Это было ослепление. Так бывает, когда поезд на полном ходу въезжает в туннель, и от резкого перепада от света к мраку бьет по зрачкам. Хотя нет, сравнение с поездом не точное. Скорее это походило на сильней удар по голове, при котором не только в глазах темнеет, но и сознание помрачается. Я, видимо, перегрелась на коктебельской, прибрежной гальке, и вот мне оно померещилось.

Я зажмурилась, снова открыла глаза, но оно не исчезло. На пляже писательского дома творчества в метре от меня, лежащей ничком на махровом полотенце, стояли чудовищные, растресканные до щелей, на обрывки веревки зашнурованные, черные лыжные ботинки. На них опускался тоже черный матросский клеш, дальше следовал опять же черный, не иначе как лагерный, ватник. Глянуть выше у меня не достало сил.

Тут я услышала радостный вопль, и моя подружка Машка, распластавшаяся со мной рядом, вдруг вскочила и в своим пестром бикини кинулась на оно с поцелуями, вскрикивая-всхлипывая: "Сережа! Сережа! Ты здесь! Откуда ты?"

Ну, значит, они знакомы, только абсолютно излишен Машкин вопрос. Откуда – понятно: из зоны, вылитый уголовник, то ли освободился, то ли сбежал. Похоже – сбежал.

Лагерный ватник к обеду возник на балюстраде у столовой дома творчества. К нему подходили, беседовали, его, видимо, многие здесь знали, а Машка особенно суетилась. От нее, запыхавшейся, узнала, что Сережа не уголовник, просто любит чудить, удивлять, а сам из известной, в либеральных кругах уважаемой литературной семьи, его маме, Зое Крахмальниковой, Булат Окуджава посвятил песню.

Так же ликуя Машка сообщила, что прибыл сюда Сережа без гроша в кармане, чудом добрался, на поезде безбилетником, от Феодосии то на попутных, то пешком. Впечатляло. В завершении Машка сказала, что следует попросить у официантки добавку, хоть первого, хоть второго, так как Сережа ужасно голодный, надо его накормить.

Но получилось, что кормить Сережу, и завтра, и послезавтра, стала я. Мне исполнилось восемнадцать, он на год старше. Неважно. Ничего не важно, главное у меня появилось занятие, обязанность, без чего я всегда, и на отдыхе тоже, маялась. Придумывала задачи, себе самой поставленные, вменяемые неукоснительно, заплывы, скажем, до буя, столько-то раз, прогулки в бухты, в горы до изнеможения. Что еще? А тут Сережу,

голодного, так удачно принесло.

Трапезы в столовой иначе окрасились, зарядились конкретной надобностью. Папе: "Ты же не любишь курицу, так и не ешь. Дай мне тарелку, и мамину, с салатом". Оборачиваюсь к Наровчатовым, чей стол близко от нашего: вам не понадобится ваш десерт? Жена Наровчатова, оробев: "Не понадобится…"

Унести все, что в завтраки, обеды, ужины у обитателей дома творчества вымогала, сразу, в один прием, не получалось. Сережа, в том же ватнике, развалясь на скамейке перед столовой, ожидал меня с подношениями. С наглой ухмылкой. Где он жил, ночевал, меня не касалось. Я организовывала его кормежку. И все.

Кормежка происходила в корпусе под номером девять, называемом секретарским, то есть для начальства, где Кожевниковы, в соответствии с рангом отца, жили. Вот там, на балконе, я насыщала своего подопечного тем рационом, далеко не изысканным, что отпускался привилегированным, считалось, членам общества, то бишь писателям. И даже салфетки приносила, бумажные, – дефицит по тогдашним временам.

Родителям запретила появляться в нашем номере, пока процесс кормежки не закончится. И они послушно следовали продиктованным мною условиям. Я блаженствовала, до того удавалось подкармливать только бродячих, в Коктебеле многочисленных, дворняжек. Но человека кормить оказалось значительно интересней.

Сережа, правда, поглощал пищу молча, мрачно, на меня не глядя, без спасибо– пожалуйста. Но вот однажды, к еде не притронувшись, вдруг схватил со стола тарелку и об стену жахнул. Целился в меня, но я успела посторониться.

Мы жили на втором этаже. Он бросился вниз по лестнице, я за ним. Нагнала. Плюхнулись оба на скамейку в парке, тяжело дыша. Никаких объяснений. То, что началось, объяснений не требовало.

Его черная роба, ботинки лыжные ужасали настолько, что я не заметила как он красив, ангельски, ну херувим прямо. Глаза синие, волосы золотые, точеные черты лица, высок строен. Учась в Щукинском, участвовал в спектаклях «Современника». Талантлив бешено, искрометно. И передо мной, единственной его зрительницей, слушательницей, выкладывался, шпаря монологи из "Трамвая «Желание», "Стеклянного зверинца", "Двое на качелях", "Кто боится Вирджинию Вульф?".

Я замирала, завороженная. А потом узнала, что он еще поет, аккомпанируя себе на гитаре. На балюстраде, перед столовой дома творчества как-то собрался народ, толпа. Протиснулась: в центре, с гитарой, Сережа. Мой Сережа. Я считала его своим, а у

него оказалось другое на этот счет мнение.

Откуда гитара взялась? Кто-то дал, значит. Тот, или та, возможно, кто и ночлег ему предоставляла. Я-то только кормила. Другие поили. Под хмельком он ежедневно пребывал. Но меня это не настораживало. Пока что.

Поссорились, разругались мы перед моим из Коктебеля отъездом. Он начал петь не один, а дуэтом с женщиной, обладательницей гитары, лет на десять, как я прикинула, его старше, посягнувшей на мои на Сережу права. Я считала, что права у меня есть, выяснилось – нет.

Он позвонил мне, когда в Москве уже настала зябкая, слякотная осень. Я ринулась к нему на свидание, напялив сапоги, теплую куртку. Бежала к памятнику Юрию Долгорукому и, как вкопанная, остановилась. Снова удар по башке, как тогда на пляже в Коктебеле. Лужи, моросит, а он в белых брюках, ярко-синей рубашке, как райская птаха, залетевшая неизвестно откуда и неизвестно куда. Разит от него кошмарно, но на ногах держится и изъясняется связно.

Мы виделись ежедневно, болтались по улицам, по скверам, по музеям, ездили в Переделкино на могилу Пастернака, ну все как положено молодым, относящимся, так сказать, к интеллигентным, культурным слоям. Хотя на самом-то деле ничего более несоответствующего, чем он и я, мои родители и его, их окружение и моей семьи, представить было трудно.

На этот разрыв, эти полюса Сережа мне открыл глаза, я как-то сама не вникала, не задумывалась. Он сообщил обо мне своей маме, Зое Крахмальниковой, диссидентке открытой, демонстративной, и та, по его словам, чуть в обморок не упала: как, с кем связался ее сын?! С кем же? Сережа разъяснил, доходчиво.

Мы побеседовали на тему, кто есть кто, не договорились, друг друга ни в чем не убедили. И тут Сережа, помолчав, изрек: все равно я на тебе женюсь! Я обомлела: чего, он на мне женится?

На грани замужества я буду потом не раз, но никогда, никто, как забулдыга-Сережа, не отнесется столь трепетно, столь серьезно, с таким волнением к посещению моей мамы, с намерением попросить руки ее дочери.

Мы поднимались в лифте на наш седьмой этаж, Сережа достал носовой платок, – диво дивное, чистый, отглаженный, – промокнув пот со лба. И я испугалась, впервые осознав, что будет, что нас ждет, во что мы оба влипаем, в безысходность, и рухнем, конечно, рухнем под обломками своих жалких, глупых, юных иллюзий.

Мама улыбалась. Сережа навытяжку стоял, как новобранец

перед маршалом. Мама протянула ему руку, он пожал, мама, все так же улыбаясь, произнесла: "У вас ладонь влажная, липкая, хвораете?"

Да, надо отдать должное, мама, с колоссальным самообладанием, умела словами убивать. А уж спасая дочь, постаралась, все заранее взвесив, обдумав, выстроив мастерски мизансцену. Сережа еще постигал актерское ремесло, мама достигла в нем виртуозности, с отличной закалкой – жизнь научила.

Ну, собственно, и все. Любовь может угасать, сменяться равнодушием, но может и моментально в противоположность свою обращаться – ненависть, лютую, с зарядом столь же мощным, как был в любви.

Сережа запил, что называется, по-черному, не просыхая. До того сдерживался ради меня, А потом из-за меня сокрушал себя, мне опять же мстя за пережитое, с его гордостью нестерпимое, унижение. Мстил изобретательно, а я точно оглохла, ослепла, утратила полностью чувствительность, что еще больше распаляло его ярость. Мы все же довольно хорошо успели друг друга узнать, понять, и то, что при своей взрывчатости, самолюбии, и тоже, как у него, дикой гордыни, переношу его выходки с мне уж никак не свойственным смирением, вызывало в нем бешенство зверя, в клетку запертого, в неистовство впавшего перед истуканом, коим являлась, в которого превратилась я.

Замызганные подъезды, коммуналки, набитые пьяным сбродом, где я непонятно в качестве кого его сопровождала, куда он меня вверг, упиваясь собственным распадом. Где он пел, рычал, хрипел под гитару, что однажды в какой-то подворотне должна была опуститься мне на голову.

Но в постоянной поддаче он ослабел, а я, сильная, к тому же до края им доведенная, перехватила, сжала его запястье, отчеканив: "Хватит, Сережа, хватит, и с меня, и с тебя довольно, понятно?"

Тут-то он за мной побежал, что-то мычал, кричал. Не имело значения. Сережи не стало, сгинул, растворился с рванью, отребьем. Я виновата? Виновата. Перед ним – да. Но хуже было бы, если перед самой собой.

Завершилось? Ан нет. То, что вовсе перестает быть интересным нам, людям, жизнь-жизнявка, по выражению нашей дочери, неведомо где, у кого его подхватившей, находит повод, чтобы изжитое снова, еще раз под нос сунуть, хохоча издевательски, с подтекстом, расшифровывать который нет ни охоты, ни нужды.

Иду по улице Горького, Тверской нынче, и в обрыве у

площади, где памятник Юрию Долгорукому, меня окликают. Оборачиваюсь. Незнакомец какой-то подходит. Голос, лишь голос. "Трамвай «Желание», "Стеклянный зверинец", "Двое на качелях", "Кто боится Вирджинию Вульф?".

Коктебель, черная лагерная роба, сверкающие белизной портки, роскошная шевелюра блондина, распадающаяся на пробор с есенинской забубенностью, лазурь глаз, воспарение в заоблачные высоты, флейта-позвоночник, мы встретились где-то, случайно, фонарь, аптека, остались пересуды, отвори мне калитку, зимний сад, гимназистки румяные, зеленоглазый Моцарт, Новодевичий монастырь. Что еще? Да ничего. И кто он, меня окликнувший? Милостыню просит? Дать?

Он, Сережа. Жених. Но я-то отнюдь не невеста. Последний раз, в последний класс. "Традиционный сбор" слюнявого автора, слюнявой пьесы, поставленный в слюнявом театре. Либералы, черт возьми, где же вы? Пляшете под дудку теперешней власти, еще круче, чем советская, с вами разобравшейся. Голенькими на столах перед олигархами, еще раз, еще много-много раз, с купюрой долларовой, зажатой в зубах.

Сережа-Сережа. Ваш мир, наш мир, и тот и другой, развалены до основания, а затем… Вот именно, а что за тем? О чем Гамлет, зануда, вопрошал, растиражированное в анекдотах. Сомневался, бедолага, а нынче-то ясно: не быть. Рухнуло, в прах превращено. И правила, и принципы, и перегородки, не давшие юной паре укрыться, забыться в чувстве, не так уж часто встречающемся.

Да ладно, пусть пара, пусть юных, пусть любящих – страны жаль. И жаль молодости.

ЭТАЖ В ИМПЕРИИ

ВИД ИЗ ОКОН

Лифт не работал. Не потому, что сломался – его просто пока не запустили, не подключили электричество. Но нас это не смутило, и мы с мужем и годовалой дочкой на руках взлетели, можно сказать, на свой шестнадцатый этаж.

Мы были первыми. Никто из соседей еще не появлялся, не врезал в двери замки. Все это предстояло: циклевка полов, визг дрели до одури, когда новоселы, будто по сигналу, начали что-то вешать на стены, ввозить мебель, после чего жилплощадь, казавшаяся гулко-огромной, обидно уменьшилась.

Наша семья дольше других наслаждалась простором: нам нечего оказалось перевозить, мы начинали с нуля, необремененные хламом, с которым трудно расстаться, хотя после не знаешь, куда его деть.

Только вошли, притянуло к окнам. Как выразился один из гостей, вид нам достался валютный, на Сокольнический парк, бескрайний, до горизонта. Застройка из одинаковых, бело-синих, блочно-бетонных башен подступала почти вплотную к его границам. Теперь столь лакомое расположение застолбили бы "новые русские", а тогда, на закате социализма, в разгар эпохи, названной «застойной», любоваться на парк выпало обычному, служивому люду, поднатужившемуся накопить первый взнос в кооператив.

Нам повезло: у дочки своя комната, большая кухня, в передней встроенные шкафы. Хотя, конечно, имелись дома куда краше нашего, нарядные, из кирпича, с выпуклыми лоджиями, к которым подъезжали черные «Волги», а в подъездах, под пальмами в кадках, сидели консьержки. Но и пятиэтажки-"хрущебы" без лифтов наличествовали, так что мы в своих блочных башнях, с улучшенной, как называлось, планировкой, встряли именно посередке. Средний класс, якобы смело задуманный идеологами «перестройки», на самом-то деле и до их экспериментов существовал. Наши соседи по дому являлись его представителями: врачи, инженеры, учителя – интеллигенция одним словом. Не нищенствующая, как нынче, а с запросами, и культурными, и свидетельствующими об определенном достатке.

Стоянка у дома пестрела «Жигулями», а вот на газон никто не посягал, стеклянные двери в подъездах не разбивали, на них еще не было решеток. Внизу, на цокольном этаже размещался цветочный магазин, а рядом продавались газеты, журналы. Вывески соответствовали предлагаемому товару. Консервные банки с импортными наклейками не теснили на полках ряды

книг, горшки с растениями не жались в испуге от вторжения ширпотреба китайского производства и вино-водочных изделий всех сортов. В булочных не торговали обувью, а в овощных отделах не предлагались сигареты. Хотя, разумеется, выбор был скудный, все в дефиците, от мороженых кур до билетов в театр. Но в помойках не рылись, бомжи не селились на чердаках, милиционеры, стражи порядка, брали взятки с оглядкой, но не грабили, не избивали граждан средь бела дня.

После выяснилось, что в ту, презираемую всеми эпоху, наше существование, при всех уродствах, скорее все же походило на нормальное, чем после, когда нашу жизнь в очередной раз пообещали «улучшить». И мы поверили: казалось, что хуже быть не может, предел достигнут пошлости, глупости, и маразматика, такого, как Брежнев, уже не найдется. А между тем режим, плодящий идиотов, их именно и выдвигающий на руководящие посты, обнаружил неистощимую изобретательность, поставив у власти уже просто труп – Черненко. Слезы высохли – страна гомерически хохотала, до колик. Особенно тут усердствовали мы, первое за годы советской власти не битое поколение.

Изображали скептиков, циников, сильно себе польстив. В итоге нас использовали как подопытных кроликов, ободрав шкурки и повесив на крюках мясников. Как деликатес на барский стол мы не годились. Деликатес ведь за редкость ценится. А когда на крюках болтается вся страна, гурманы столь доступной пищей брезгуют. Остается пожирать самих себя. Приятного аппетита, господа-товарищи.

КОРИДОР

На шестнадцатом этаже в общий, крытый линолеумом, коридор выходили квартиры, где поселились четыре кандидата медицинских, один филологических наук, два члена творческих союзов, художников и писателей, а также трое детей дошкольного возраста. Потом, время спустя, из прежних жильцов останутся двое, другие сгинут, кто куда. Первыми снимутся молодые супруги-анестезиологи, уедут работать по контракту в Штаты, и больше мы их не увидим. Там, в Штатах, окажется и наша семья. А еще двое погибнут, страшно, дико. Но пока что четыре семьи спешили обжиться на новом месте. И сдружиться.

Сейчас удивляюсь, как это нам удалось срастись так плотно? И нужна ли была подобная спайка? Все знали друг про друга все, не тяготясь, не испытывая неловкости от подобной, в деталях, осведомленности. Бесцеремонность вторжений, назойливость расспросов, обременительность исповедей протестов не вызывали. Напротив, гордились сплоченностью, демонстративной, экзальтированной, на грани чего-то, похожего на свальный грех.

Наследие что ли коммуналок, в генах застрявшее, даже у тех, кто прелестей общей кухни, с выкипающим из кастрюль варевом, чадом скворчащих жиром сковородок, очередей в уборную, лично не испытал. Страх доносительства, в ожидании мелких пакостей, крупных подлостей, при подозрительности всеобщей, спровоцированной всех ко всем зависти, воспитали у населения тактику сближения с врагом.

Иначе не объяснить, почему и моя мама, с польской гордыней от отца унаследованной, а от матери проницательность народа-изгоя, почему она заискивала, иначе не скажешь, перед соседкой Клавдией Ильиничной, как крыса увертливой, вездесущей. Что могло быть у них общего, что вынуждало властную маму при встречах с соседкой льстиво-угодливо улыбаться?

Кто была Клавдия Ильинична? Стукачкой? По зову души или же с обязательствами? В доме по Лаврушинскому переулку, называемому писательским, она оказалась как бы случайно, в опустевшей по неведомым мне обстоятельствам квартире, где вместе с сыном получила две комнаты, а в третьей жила семья шофера, служившего в автопарке МИДа.

А стенка в стенку от нас существовал писатель, из тех, кого вернувшийся из Италии Горький, покровитель рабкоров, благословил, на самом же деле вверг в кошмар сочинительства, адову муку и при врожденном даре, а для тех, у кого его нет, –

лучше на нары, в тюрьму, в психушку. Писатель пил, бил близких и выл. Изоляция, несравнимая с поздней, халтурной, хлипкой, в имперски-мрачном, при Сталине возведенном доме, его вопли не заглушала. К ним привыкли, жили под их аккомпанемент. Писатель никуда не выходил, только однажды я с ним столкнулась в лифте. Он оказался толстым, низеньким, в шляпе, которую, поздоровавшись, сдернул с лысой головы опереточно-нарочитым жестом.

Теперь в этот склеп, впитавший миазмы зловещей эпохи, въезжают, я слышала, "новые русские". Бог в помощь! Впрочем, такие ничего не страшатся, и на прошлое им наплевать.

Но к разгару «застоя» типы, подобные Клавдии Ильиничне, писателю-пролетарию, вывелись. В Сокольниках на шестнадцатом этаже атмосфера разительно от лаврушинской отличалась. Эйфорией, я бы сказала. Праздники отмечались совместно, стулья-табуретки, посуда, рюмки, приборы перемещались из квартиры в квартиру, двери в общий коридор оставались распахнутыми, и там устраивались танцы.

Хотя не знаю, забыла, перестала понимать, что, собственно, нас вдохновляло (или же принуждало?) к столь тесному общению. Уж никак не родство душ и не возраст. Художник, руку набивший на портретах военачальников, с тщательно выписанными на их обширной груди орденами, был старше других жильцов лет на тридцать с гаком, жена его, доцент МГУ, на двадцать его моложе, а их дочка, Ксюша, поздний ребенок, чуть опередила в рождении наших детей. Между тем обращались мы все друг к другу на «ты», преодолев и этот барьер, а уж с остальными не сомневались, что справимся.

Художника называли по отчеству, Борисыч. Гренадерского роста, богатырской стати, не умеющий понижать свой гудящий на низовых регистрах бас, несокрушимо уравновешенный, он был сыном священника, убитого на пороге церкви прихожанами, воспламененными революцией, но его самого религиозный дурман не коснулся, он вырос образцовым советским гражданином, уважающим все, что полагалось уважать.

Овдовев, женился на присватанной друзьями переводчице с хинди, доверившись полностью их рекомендациям. Перевалив шестой десяток, храбро, имея внуков, обзавелся Ксюшей, и в воспитание ее не вмешивался, тут полностью доверившись Марише, второй жене.

Мариша с замужеством затянула до сорока, зато успела защитить диссертацию, на кафедре ее ценили, благодарные ученики дарили цветы, шоколад, коньяк, и мы, соседи, с удовольствием пользовались плодами ее успешной карьеры.

Скомканное, с нездоровой, серой кожей ее лицо трудно было вообразить молодым, миловидным. Но уж если Маришина внешность не имела значения для ее мужа, то для нас тем более. Собирались чаще всего именно в их квартире, и Мариша, разносторонне одаренная, присев к роялю, исполняла романсы, и ей дружно аплодировали.

Ничто не предвещало бед, катастроф, сломов судеб, и, хотя тревожные сигналы возникали, они не рассеивали общего радужного настроения. Но не основывалось ли оно на равнодушии, глухоте, слепоте?

ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ

Нашей дочке исполнилось пять, когда муж после конкурсного отбора в Международном Красном Кресте, базирующемся в Швейцарии, получил предложение поехать с семьей в Женеву, в длительную, так это называлось, командировку. Сколько мы будем отсутствовать, как тот, неожиданный опыт, на нашем будущем отразиться, мы и представить себе не могли.

Квартира в Сокольниках воспринималась главным, единственным пристанищем, гнездом, ожидающим возвращения нашего из странствий, и когда я, туда наведываясь, открывала ключом дверь, вздыхала облегченно: наконец-то дома!

Консервативная по природе, привязчивая к привычному, не допускала, не впускала в себя сравнений, сомнений в том, что жили мы здесь хорошо. Кое-что можно было усовершенствовать, прикупить, скажем, махровые коврики под цвет кафеля в ванной, скатерку в красно-белую клетку на кухонный стол, как во французских бистро, бокалы на темно-зеленой ноге, традиционные в Германии… Ну и, понятно, подарки близким, друзьям. Забив ими чемодан, я чувствовала себя Дедом Морозом, щедро одаривающим детвору.

Советская власть воспитала нас в неизбалованности, неискушенности ни в чем, дикарской, но одновременно и райской. Фотография сохранилась: стою, держа дочку за руку, на женевской набережной, на фоне знаменитого фонтана, в кримпленовом бежевом пиджаке, сапогах на каблуках из пластика, юбке из югославского магазина «Ядран», куда можно было проникнуть лишь отстояв многочасовую очередь, и в выражении физиономии абсолютное довольство собой, празднично принаряженной. Мы только приехали. Я считала, что мой гардероб ни в обновлении, ни в улучшении не нуждается. И завидую себе, прежней.

С приятелями, сотрудниками Организации Объединенных Наций, мы, как сезонные рабочие, испанцы, португальцы, распивали литровые бутыли самого дешевого вина, не удостоенного даже пластмассовых пробок, запечатанного металлическими нашлепками, и разница между бургундским и бордо для нас оставалась тайной за семью печатями. При распродажах слетались на уцененный товар, и однажды жена посла, мчась к кассе с охапкой свитеров, обронила в ажиотаже брильянтовое кольцо. Не удивительно, ведь запасались-то на всю жизнь, всем, от обуви до шампуней.

Жизнь в Женеве, точнее в советской колонии, научила

многому, без чего можно было бы вполне обойтись. Конкуренты из соотечественников дышали друг другу в затылок, с готовностью тут же подставить подножку зазевавшемуся. Ответственных за нашу нравственность, моральный облик, твердость взглядов мы знали в лицо, да они своих профессиональных задач и не скрывали. В субботу все дружно являлись в представительно СССР при ООН на лекцию, после чего показывалось кино. Новый год там же отмечали, что считалось хорошим тоном, на самом же деле служило подтверждением лояльности. То, что нас держат под неусыпным наблюдением, как насекомых под лупой, кожей ощущалось, но протестов не вызывало. Как может быть иначе, мы не знали. За привилегии полагалось платить, в данном случае тем, что нас держали под постоянным надзором.

Но были все же соблазны, устоять перед которыми я, например, не могла. На улице Руссо находилась книжная лавка, и, прежде чем туда войти, я озиралась. Степень риска не только мною осознавалась, но и хозяевами-потомками эмигрантов той, послереволюционной волны. С заговорщицким видом, пока не застукали, они спешили засунуть мне в сумку Мандельштама, Набокова, Гумилева, и я выходила как подпольщица с явочной квартиры.

Власти в отечестве правильно, мудро решили ограничить пребывание за границей советских граждан двумя-тремя, от силы пятью годами. Если чуть на Западе пересидеть, у приученных к жесткому ошейнику, короткому поводку возникали опасные тенденции. Совершенно некстати они вдруг начинали озираться, с любопытством вертеть туда-сюда головой. Алчность к магазинным витринам гасла, а привлекали музеи, концерты, вообще жизнь, совершенно другая жизнь. Тут уж полшага и к несанкционированным знакомствам, связям. Глядишь, птичка готова выпорхнуть из клетки. Можно ведь и не доглядеть, когда она, глупая, встрепенется, ринувшись на встречу чуждому, опасному ей, домашней птахе, капиталистическому миру.

Такие этапы я испытала на себе. Но по инерции ждала отпуска, готовилась к нему, покупала подарки – дань, барщину за глоток свободы? И когда под крылом самолета при снижении на посадку вместо ярко-зеленых газонов на взлете, прорезалась всесезонно сумрачная, подстать неулыбчивости ее обитателей, земля, горло перехватывало, то ли от радости, то ли от тоски. Пожалуй, одно с другим сочеталось. Но тоска разрасталась.

Так с человеком бывает, которого любишь, а он тебя – нет. И прозреваешь внезапно, устав от безответной любви.

При посещениях родины вдруг стало раздражать то, что

прежде не замечалось. Например, открылось, что дом в Сокольниках за наше отсутствие обветшал, состарился преждевременно, на торцах блочно-бетонных панелей набухли серые швы, в подъезде кафель обсыпался, и там воняло помойкой. Или так было всегда, и не окружающее изменилось, а мы сами?

Запах, учуянный в нашем подъезде, превратился в навязчивую идею, манию. Как-то, даже не разобрав чемодан, позвонила приятелю, живущему в доме, по тем понятиям респектабельном, и напросилась в гости. Он, верно, так и не догадался, почему мне так с ним увидеться приспичило. А я не призналась. Войдя в его подъезд, принюхалась, как собака-ищейка, с обостренными рецепторами обоняния. Надо же, там тоже воняло! Не так резко, смрадно, как в нашем, в Сокольниках, но я утешилась. Не надо, значит, нет смысла варианты обмена искать, суетиться, стремиться куда-то. У всех так, везде. Ну, в этой стране, где я родилась, и где надлежало существовать по принятым там меркам.

АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК

В очередной отпуск я прибыла с приспособлением, которым пользовались женевские консьержи. Вроде бы примитивно, всего-то пластмассовое ведро, с насадкой для отжима мочалки на длинной палке, но с его помощью удавалось, не ползая на карачках, не сгибая спины, не марая рук, до блеска отдраить пол, лестницу, да хоть тротуар. Заморское это чудо меня заворожило, и я его возжелала, как Аленький цветочек младшенькая слабоумная дочка купца-путешественника.

За обретенную драгоценность я так опасалась, что не стала сдавать ведро с палкой в багаж. Однажды, впрочем, мы на родину отправились на поезде, с пересадками в Вене, Зальцбурге, Будапеште, с гладильной доской, исключительно удобной, высококачественной и, как сейчас помню, стоящей 150 швейцарских франков. Когда мы с ней выгружались из вагона, народ шалел, но нас это не смущало. Заграница долго воспринималась нами как нереальность, Зазеркалье, и не имело значение, какое мы там производим впечатление.

Когда теперь наблюдаю ажиотаж, галдеж соотечественников, беспрепятственно уже хлынувших за пределы отчизны, их варварские повадки не могу, не смею осуждать. Узнаю в них себя. Разве что я, наша семья, раньше многих, раньше большинства сограждан за кордон прорвалась. Но это не доблесть, тут нечем хвастаться. Так выпало, так сложилось. Случай. Сравнение с дураками, которым в карточной игре выпадает куш, не лестно, но справедливо. А вот на сознательный риск отважиться, поставить на кон собственную судьбу – это будет потом, годы спустя. А пока что, на тот момент, когда я в обнимку с ярко-красным пластиковым ведром поднималась в лифте на наш шестнадцатый этаж, задача ставилась скромная, как у классика земли русской, Солженицына – «обустроить» свою страну, по выражению другого классика – "немытую Россию".

Одновременно с ведром я привезла четыре одинаковых коврика (на сером фоне красные зонтики) и положила в общем коридоре у каждой двери. Соседи поблагодарили, но на утро я обнаружила, что коврики исчезли, вместо них лежат прежние, бурые, из мешковины, тряпки. Меня это удивило. Ожидая разъяснений, направилась в квартиру Мариши с Борисычем, хотела уже было нажать кнопку звонка, но тут обнаружила, что коврик-то на месте, но из бережливости, видимо, его прикрыли тряпкой. То же самое проделали и другие соседи, ну хоть смейся, хоть плачь. Иные порядки на нашем этаже не приживались. Но

зато я со своим замечательным приспособлением отмыла заслеженный, затертый до черноты линолеум в общем коридоре, и на нем проступил первозданный рисунок ромбами.

Результат воодушевил, и, пока наш отпуск не закончился, я регулярно проводила такую уборку. На овации не рассчитывала, но все же растерялась, услышав через неплотно затворенную дверь оценку своих стараний ради всеобщего блага. Оскользнувшись на еще не просохшей поверхности, Ксюша, дочка соседей, художника и переводчицы с хинди, выматерилась так витиевато, что я не все в ее тираде поняла, но общий смысл уловила.

Девочка подросла. Ей исполнилось пятнадцать. А совсем, казалось, недавно, на наших глазах пошла в первый класс. Так запомнилась, в капроновых белых бантах, с ранцем, гордо сияющая.

Мариша подыскала пенсионерку, отводящую и приводящую Ксюшу из английской спецшколы. Сама Мариша с утра убегала в университет на Моховой, возвращалась поздно, постоянно опаздывала, постоянно что-то не успевала. В таком замоте находились все, и мы с мужем отдали дочку в детский сад на пятидневку. Теперь думаю о себе: идиотка, чем жертвовала и во имя чего! А упущенного не вернешь. Дочка сейчас далеко, в Нью-Йорке, уехала туда учиться, теперь работает. Связь с ней у нас телефонная, да еще по электронной почте, и хотя мы вроде бы в курсе ее дел, а она наших, но редко видимся, значительно реже, чем хотелось бы.

Наверное, живя под одной крышей, мы бы ссорились по пустякам, после мирились, снова ссорились, но я бы многое отдала за такие ссоры-примирения, за каждодневные "доброе утро", "спокойной ночи". Не умеют люди ценить то, что им дано, и мудреют, когда настоящее уходит в прошлое.

До того, как мы в Женеву уехали, соседская Ксюша и наша дочка дружили, играли в куклы, иной раз Ксюша оставалась у нас ночевать. Дети любят смену обстановки, иначе я не могла объяснить, почему Ксюша предпочитает проводить время не у себя дома.

Теперь она сильно изменилась, огрубела, как бывает с подростками. Глаза с врожденной косинкой обведены были тушью как у кровожадного идола на буддистских танках, рвущего грешникам потроха. От выбритых до синевы висков вертикально вздымался гребень крашеных в бордовый цвет волос, но подбородок, шея оставалась щемяще, цыплячье детскими.

Стала курить, стреляла у меня сигареты, в подружки дочки уже не годилась, а вот со мной держалась как с ровней, и даже с

оттенком покровительства. Как-то призналась, что в детстве, так она выразилась, влюбилась в моего мужа, потому что, по ее словам, от него хорошо пахло, и когда они вместе оказывались в лифте, она старалась поглубже вдохнуть его запах и подольше удержать.

Смешная девчонка, я считала. А то, что на нее жалуется мать, вовсе не настораживало: обычное дело, недоразумения между близкими.

Потом, когда ее истлевший труп найдут, опознают по татуировке на запястье – homo homini lupus est (человек человеку волк) – вспомню, что эту надпись, еще воспаленную, в припухлостях, она, Ксюша, сама мне показала. Блажит девочка, подумала. Нет, не блажила – предугадала страшную свою судьбу. А я, ничего не замечая, усердно надраивала линолеум в ромбах, полагая, что такими стараниями идиллия будет достигнута на нашем шестнадцатом этаже.

СОЗДАНИЕ БОЖЬЕ, ДРОЖАЩАЯ ТВАРЬ, МЕРЗКАЯ ПЛОТЬ

Помимо отпуска, когда вся наша семья на родину приезжала, я появлялась там одна, якобы по хозяйственным надобностям, а в действительности из душевной потребности, глубокой и, казалось, неискоренимой.

Теперь, по прошествии лет, все труднее восстановить, что меня там притягивало, как магнитом. Еще труднее пробудить в себе эмоциональный заряд, свойственный человеческим взаимоотношениям в ту исчезнувшую эпоху. Иной раз догадка мелькает: а не было ли все это иллюзией? Наша друг в друге потребность, открытость, отзывчивость, неутомимая общительность, бесконечные разговоры, как называлось, по душам, на которые ни сил, ни времени не жалели.

Понять хочется, перегорело ли это только во мне или вообще? Остается ли нынешняя Россия островом в океане всеобщего отчуждения, как было когда-то, в наше время? Или же жестокая к людям советская власть вынуждала их к единению, взаимовыручке? Советское государство, империя – вот кто был общий враг. Империи больше нет, ну а где мы сами? Да кто где… И не знаю, что лучше – быть чужим за пределами родины или чувствовать себя посторонним в стране, где родился.

Порой сама себя не узнаю, и тем более меня не узнали бы бывшие наши соседи. Хотя ведь и там только Коля-холостяк в прежней квартире остался. А Борисычу повезло, он не узнал о смерти Ксюши, потому что сам погиб раньше. Успел отпраздновать восьмидесятилетие (я присутствовала на юбилее в Доме архитекторов) и в тот же год сгорел в коттедже, отстроенном его дочерью от первого брака, занявшейся бизнесом и преуспевшей.

Пожар случился из-за неисправности в электропроводке. Владельцы, спасая имущество, забыли про старика. Классика, Чехов, "Вишневый сад", все тот же вопль: человека забыли! И ведь забыли действительно.

Борисыч, с ожогами первой степени, скончался не сразу. Врачи дивились: в такие-то годы поразительно крепкий организм. Мариша, примчавшись в больницу, куда он был в беспамятстве доставлен, караулила его бред, отцедив одну внятную фразу: "Поле, рожь, васильки, батюшка в церковь спешит на воскресную службу, радость какая, дай руку мне…"

– Сигарету дай, – потребовала Ксюша, усевшись на тот же

стул в нашей кухне, с которого только что поднялась ее мать, рассказывавшая, рыдая, про васильки. Мать ушла, дочь явилась.

Волосы она отрастила, выжженные перекисью до бесцветности они контрастировали с темнотой ее глаз с косинкой.

– Так, выпивали? – спросила. – А мне что-нибудь оставили?

Не дожидаясь ответа, налила в рюмку остатки вина, выпила залпом. Я молчала. Роль буфера в их откровенной, матери с дочерью, вражде мне выпадала не раз, но в теперешних обстоятельствах я предпочла бы уклониться. Было, все уже было, скандалы, когда обе визжали так, что голоса их делались неотличимы. Были ночи, когда Ксюша дубасила в дверь, а родители ее не впускали. Были исповеди, когда обе изливали такое, что нельзя, не может выговорить о дочери мать, а дочь – о матери. Но отстраниться не удавалось.

Бодрость Борисыча, его немеркнувшая улыбчивость, гулкая басовитость уже не обвораживали, а раздражали. Неприятное и в Марише обнаружилось. В ее энергичности, общительности, многолюдстве сборищ, на которых отсутствовала ее дочь, что как бы не замечалось, не мешало веселью, тостам, исполнению старинных романсов под аккомпанемент рояля, обсуждению литературных новинок, концертов, выставок, и в один из моих приездов внезапно открылась карикатурная, подноготная сторона этих потуг на возвышенность, духовность.

Звучал рояль, гости, Маришины друзья, пели, разевая рты, практически у всех не доставало зубов, и я обнаружила вдруг их сходство со зловещими персонажами Босха. Отмечалась то ли чья-то защита диссертации, то ли публикация научной статьи, что-то, короче, важное, значительное, ценимое в их, называемой культурной, среде, а на меня накатило бешенство, я поняла, что мне надо уйти, я с собой не слажу.

Ксюши не было и в тот раз. Мы с ней не видались почти год, с поминок Борисыча, который все же как-то сдерживал семейные страсти, а когда мать и дочь остались вдвоем, стало, верно, совсем невмоготу. Мариша трехкомнатную квартиру продала, Ксюшу отселила в коммуналку в районе Преображенки, а сама въехала в двухкомнатную, освободившуюся после отъезда супругов-анестезиологов в Штаты.

Так на нашем шестнадцатом этаже возник Шура. "Теперь у нас есть свой "новый русский", – сообщил новость Коля, но сильно завысил Шурины финансовые возможности. На нового русского тот не тянул, иначе не позарился бы на жилье в блочном доме, а взял бы планку покруче. Но то, что у него имелся подержанный «Мерседес», и за Маришину трехкомнатную он выложил сто

десять тысяч долларов наличными, застлало глаза. Шуру восприняли как взаправдашнего миллионера, не видя, не зная настоящих, хапнувших прииски, заводы, рудники, и уж они квартирами с так называемой улучшенной планировкой не прельщались, а виллы скупали на Лазурном берегу, особняки в Париже, поместья в Лондоне.

Обмишурились с Шурой и грабители, не пожалевшие усилий, чтобы с чердака просверлить лаз, проникнуть в квартиру через потолок и с сожалением убедиться, что кроме мраморной ванны ничего ценного у псевдобогатея нету. Но это случится потом, а пока что эту самую ванну, Шурину гордость, монтировала бригада, возглавляемая инженером, до того работавшим на космодроме Байконур. В новых условиях каждый выживал как мог. Или не выживал.

Марише Шура оказал услугу, на которую она, как сама признала, не рассчитывала, одолжив ей деньги на покупку двухкомнатной, но тут же добавила, что ведь иначе и его с ней сделка не состоялась бы, то есть в основе его якобы благородства лежала корысть, личная выгода. Истинное благородство, по ее понятиям, исключало какие-либо практические мотивы, и если они имелись, благодетель сразу лишался ореола, падал в ее глазах. Кроме того (она со мной поделилась), речь у Шуры безграмотная, вульгарные манеры – ее задевало, что она уступает свою квартиру человеку, чуждому ее кругу. Но, к сожалению, в ее кругу обладателя ста десяти тысяч долларов не нашлось.

Шура, правда, помогал ей переезжать, таскал мебель, вешал картины, но Маришу и тут трудно было провести. "Он ждет, когда я умру, – сказала, – тогда снесет стены, квартиры соединит, и будут у него пятикомнатные хоромы". В выражении ее лица прочитывалось твердое намерение подольше, а, возможно, вообще никогда не умирать.

Между тем с коварным Шурой, ждущим Маришиной смерти, я познакомилась у нее же в гостях. Эстафета сплоченности всех со всеми укреплялась на нашем этаже за счет вновь прибывших. Парень действительно оказался простоват, среди Маришиных высокоинтеллектуальных друзей робел, а вот Мариша вела себя отменно, великодушно к его промахам. Сказывалось воспитание, приверженность к демократическим идеалам, традиционно свойственные ее среде. Шура, выбившийся из грязи в князи, был почти что прощен: все же его сто десять тысяч долларов способствовали удержанию Мариши на плаву, сохранению ею лица, главным в котором являлось осознание своего собственного достоинства.

Некоторое время спустя на подержанном Шурином

«Мерседесе» Мариша отправится в скорбный путь, в Подольск, опознавать Ксюшин труп. А из поля зрения своей матери она исчезнет за полгода до того. "Я устала, не понимаешь разве, как я устала…" – услышу от Мариши укоризненное на свой вопрос, как у Ксюши дела и где она. Неделикатность мою осудят и гости, собравшиеся за столом, отмечая опять что-то важное, что именно – забыла.

Но помню Маришин крик: убили, убили! Все мы, Коля, Шура, я, выбежим в общий коридор. Для обряжения покойницы у меня нашелся черный шелковый шарф, но не пригодился. Труп пролежал в овраге с осени до марта, когда снег начал таять. Отпевали Ксюшу в закрытом гробу. Службу вел Маришин духовник. У нее были знакомства во всех жизненно важных сферах.

Я видела Ксюшу в последний раз, когда она, как обычно, явившись за сигаретами, расположилась у нас на кухне и вдруг, задрав кофточку, показала мне свой живот. Я зажмурилась: "Ксюша, Господи, что это?!" – "Да сигареты тушили, пьянь, отморозки. Ты ведь как, прилетела-улетела, и ничего-то не понимаешь про нашу жизнь".

И правда, я мало что уже понимала, с каждым приездом все меньше. Входя в лифт, здоровалась по инерции, в Женеве обретенной, и спотыкалась о хмурые, недоумевающие лица. Сноровку былую утратила за хамство тут же отбрить. Меня выпихивали из очередей к прилавкам, на автобусных остановках, от вагонов в метро, и унижала не грубость, вполне объяснимая, а собственная беспомощность.

Ксюша угадала? Чутьем обладала феноменальным, звериной пронзительностью. Вскочила, обняла, прижала мою голову к своему истерзанному, юно-впалому животу. Надо же, она меня пожалела! Утешала, гладила, шепча что-то под мои всхлипы.

Плоть, жалкая наша плоть. Грешная, безвинная, беззащитная, агрессивная. Как же корчит в муках тебя! Кто замыслил так? Неужели Ты, Создатель?

Уверена, и чем дальше, тем больше, что не попадись тогда Ксюше случайный провожатый, вызвавшийся показать ей дорогу к станции загородной электрички и затылок ей проломивший, все бы сложилось иначе. И не только у нее, у всех нас. Шанс возник в тот момент, мне кажется, когда шла она через лес напрямик, сосредоточившись внове на том, что чутье ее, всегда обостренное, в минуту опасности притупилось. Вижу, сейчас вижу, преследует это меня, как, оглянувшись, не вскрикнув, не испугавшись, а удивившись, с ухмылкой, нагло-бесстрашной, наработанной, чтобы всех обмануть, она валится под ударом, раскроившим ей

череп.

Преступника разыскать потому еще будет трудно, что он сам о своем преступлении забудет. Наказание примет с тупым равнодушием, без раскаяния, вины не осознав.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

И Борисыч, и Ксюша еще были живы, когда по нашим подсчетам срок длительной загранкомандировки мужа приближался к завершению, и я решилась на героический поступок: поехала в Москву, чтобы сделать в квартире капитальный ремонт.

Хотя мы успели прожить там всего четыре года, за наше отсутствие потолок пошел пятнами, в углах отсырел, отошли обои, да и вообще все стало казаться неряшливо-запущенным, может быть, еще потому, что в Женеве в нашем восприятии кое-что сместилось.

Кроме того, по советам женевских приятельниц ремонт следовало затевать либо сейчас, либо уже никогда. При окончательном возвращении в родные пенаты силы потребуются немалые, внедряясь заново в то, от чего успели отвыкнуть, и ни на какие задумки, фантазии их не останется. Как, впрочем, и материальных средств. Советские граждане, командированные за рубеж, в капиталистической действительности не расслаблялись, помня, что их на родине ждет.

Ходила байка про соотечественницу, пересидевшую все положенные сроки в Канаде, и в результате настолько от родной почвы оторвавшуюся, что, в итоге вернувшись, придя в продуктовый магазин, получив от кассирши километровый чек в мясной, овощной и еще какие-то отделы, она заметалась с этой шифровкой, не соображая, куда ей податься – вернулась домой, так чека и не отоварив, заперлась в своей комнате, и больше не выходила никуда, никогда.

Но я себя до такой степени слабонервной не считала. Правда, однажды, на родину наведавшись, простояв часа два в очереди за свежими помидорами, недозрелыми, зелеными, – но лучше такие, чем никакие, – допустила все же осечку, другими по счастью незамеченную, но обнаружившую зазоры в моей, как я полагала, крепкой психике.

Чтобы отвлечься, скрасить нудное ожидание, представила Венецию, где бывала, на самом деле бывала, во что в очереди за помидорами уже слабо верилось, а ведь, ей богу, и в гондоле случалось плыть, и ступать по выгнутым мосткам, кормить голубей на площади Сан-Марко, купаться на Лидо, сидеть, попивая винцо, в тратториях, заказав скампии, – и, верно, так глубоко в свои грезы погрузилась, что не сразу расслышала окрик продавщицы: "Ну, девушка, заснула, что ли? Вам чего?" – "Скампии, – чуть не брякнула. Но встряхнулась. – Помидоры,

пожалуйста, килограмм, нет, четыре!" – "Только два в одни руки", – услышала.

И окончательно пробудилась. Все встало на свои места. Слякотная весна, страна, в чьих богатейших недрах чего только не имелось, нефти, угля, алмазов, а вот на поверхности всем всегда всего не хватало.

Но подвиг с ремонтом, конечно, ни в какое сравнение не шел ни с добыванием помидоров, ни даже мороженых кур венгерского производства. Планировалось не только побелить потолок, сменить обои, но и плинтусы, подоконники, навесить новые двери, то есть месяца на три-четыре, задыхаясь от краски, при сдвинутой мебели, грудах сброшенных со стеллажей книг, полностью одичать.

Спасибо соседям. Я пользовалась их туалетами, мылась, не злоупотребляя, не часто, в их ванных – у нас менялась еще и сантехника – они же меня и кормили. Мариша борщом, супруги-анестезиологи, еще в США не выехавшие, домашними котлетами, а с Колей-холостяком пила по утрам кофе, растворимый, из приносимой мною банки, но сахар был его.

Если бы знать, что плодами моих титанический усилий наша семья не воспользуется. Знать бы, что напрасно я, всклокоченная, с изломанными ногтями, ожесточившись в догляде за работягами, исподтишка напивающимися вусмерть к середине дня, надсаживалась, не видя предела своим испытаниям – знать бы, что в нашу, с иголочки, квартиру въедет другая семья…

Но хуже другое. Когда наконец с работягами расплатившись, с чувством исполненного долга, после месяцев заточения, вознамерилась впервые выйти, что называется, в люди, в подъезде меня настиг сокрушающий удар. Там все так же воняло, кафель на стенах совсем облупился, ряды почтовых ящиков косо свисали с изуродованными, будто каким-то чудищем изжеванными, дверцами. Кодовый замок на входной двери не работал. А на торцах шестнадцатиэтажной башни еще явственней проступили неопрятно-серые швы.

Мечта создать остров счастья посреди общего бедлама лопнула.

КОЛЯ-СОЛОВЕЙ

Коля, поивший меня кофе в период ремонта, был единственным, кто на нашем этаже отказался от услуг бригады, взявшейся за обивку входных дверей темно-коричневым, на ватной прокладке, дерматином, что прочности им не прибавляло, но выглядело солидней.

Отказался он и от установки электрического звонка, и от охранной сигнализации. Вообще не только не проявлял никакого энтузиазма к затеям нас, новоселов, по усовершенствованию быта, но как бы даже и осуждал, презирал всю эту житейскую суету.

Через полуоткрытую дверь довелось узреть спартанскую непритязательность его жилища: раскладушку под вытертым пледом, одежду развешенную на гвоздях; на полу, рядом с раскладушкой, стоял проигрыватель. Вот от проигрывателя нам, соседям, досталось. Особенно нашей семье, чья квартира находилась с Колиной стык-в-стык.

Ночью этот проигрыватель, включенный на полную громкость, надрывался записями классической музыкой, вокала, что еще можно было стерпеть, но теноровым ариям, в исполнении Лемешева, Собинова, Козловского, Коля вторил надсадным фальцетом, вонзающимся в барабанные перепонки тем нестерпимее, чем сильнее он входил в экстаз.

Утром очень хотелось высказать свое мнение по поводу его певческого дара, но ни в коридоре, ни у лифта он не попадался. И не дозваться: звонок в двери отсутствовал, а к телефону он не подходил. И правильно делал. Иначе, если бы однажды я напрямик с ним объяснилась, не состоялась бы потом наша дружба.

Внешне он походил на потрепанного Леля из оперы «Снегурочка»: светло-русые волосы с курчавинкой, облинявшая голубизна глаз. При желании даже угадывалась смазливость. В стремительной походке скрадывалась врожденная хромота. Хотя в сырою погоду нога ныла, и тогда он еле ковылял.

Как и мой муж, и Мариша, и супруги-анестезиологи, Коля защитил кандидатскую диссертацию, но стартовал иначе. В отличии, скажем, от Мариши, не получил в наследство ни старинного «Беккера», ни серебряных ложек, пусть истертых, зато с монограммой. Родился на Урале, и прибытие его в столицу означало прорыв, о котором мы, коренные москвичи, не подозревали. Не подозревали и о комплексе провинциалов, застревающем надолго и глубоко.

Коля нас сторонился, подчеркнуто, с непонятным высокомерием, но вникать в подоплеку охоты не возникало. Мы обходились без него, он без нас. Сдвиги в наших отношениях произошли к началу девяностых.

Тогда, в разгар демократии, Коля на митингах пропадал, у него заблестели глаза, и даже, казалось, хромота уменьшилась. Стал к нам, соседям, захаживать, впечатлениями делиться, соображениями. Ему, видимо, понадобились единомышленники рядом, под боком.

Телевизором так и не обзавелся, но уже не арии Лемешева-Собинова-Козловского, а политические диспуты, транслирующиеся по радио, приходилось слушать ночью в кровати, через хлипкую стенку.

Кроме того, у меня лично с ним спайка возникла в сфере быта. Точно по злой напасти, в периоды моего постоя в сокольнической квартире, там постоянно что-то выходило из строя. Либо дверной замок заклинивало, либо краны текли, либо, наоборот, воду отключали в моем именно отсеке, ну и всякое-разное, где требовалась мужская рука, а чтобы дозваться слесаря, электрика, водопроводчика, надо было часами висеть на телефоне.

Коля ни умением, ни смекалкой тут не отличался, и на стремянку с хромой ногой влезть не мог, но хотя бы подстраховывал, пока я, с чертыханиями, вывинчивала перегоревшую лампочку в люстре. Выбора не был – какой-никакой, а все же помощник.

Мой муж продолжал работать в Женеве, но его все чаще отзывали в "горячие точки", Руанду, Бурунди, на Карабах, где он находился месяцами. Дочка в Нью-Йорке училась, жила в английском семье, а я моталась туда-сюда, утратив понятие, где же мой дом, где мне притулиться.

В отсутствии близких, моя никчемность, близкая к безумию маята, дошли до стадии, меня самую испугавшую. Напрасно женевские приятели звали в гости: меня тошнило при виде еды. С собакой-шнауцером на поводке слонялась в парке Mon Repos, завидуя всем, а особенно матерям девочек любого возраста. Картинки глянцевые швейцарского благополучия, здравомыслия, взвешенности во всем, на фоне которых пришлось осознать себя одинокой до воя, вошли в память занозой, и теперь, по прошествии стольких лет, несмотря на зазывы женевских друзей, не хочу туда – не хочу.

Неприкаянную, утратившую ориентиры, с шелудивой, в болячках, душой, звала меня родина – прибежище ущербных. Там, в братстве изгоев, пире во время чумы, мне, отчаявшейся,

дошедшей до края, проще казалось затаиться, затеряться, чем в нарядной толпе на женевской набережной.

В подземных переходах старики с орденскими колодками, растягивая меха гармошки, ждали милостыню; смуглые дети побирались в вагонах метро; девушки в боевой раскраске мели подолами норковых шуб замызганные тротуары; в разменных пунктах доллары спешно расхватывались, оставляя кучи мятых, девальвированных рублей; стаи бродячих, голодных собак собирались у помоек; аллею к Сокольнического парку заполонили ларьки, где торговали водкой на вынос и в розлив – постсоветская Россия, не просыхая, мчалась куда-то, как лишившийся тормозов локомотив.

Однажды, по дороге к метро мне повстречалась собачка той же, что и Микки, породы. Хозяин нес ее на руках. "А что это, – я спросила, – ваш шнауцер так оброс, стричь пора". – "Пора, – он откликнулся. – И меня, кстати, тоже".

Действительно, я поначалу не обратила внимания, что выглядел он странновато: седая, до середины груди, всколоченная борода, шапка-ушанка в летнюю пору, огромный рюкзак за спиной, на ногах опорки. Бомж, что ли?

– Но ваше внимание нам очень приятно, – с готовностью вступил в беседу. – Кузя, дамочку поблагодари. Ах, вы не дамочка? Извиняюсь. Кузя тоже извиняется. И обещаем, только разбогатеем, сразу же в парикмахерскую заявимся. Оба. А, Кузя, какую хочешь прическу, с челкой, под полубокс? Еще поясню, тем более, коли вы говорите, не дамочка, и Кузя пусть выслушает еще раз. Надоело? Ну, прости, милый, потерпи. Дело в том… Понимаете, роемся мы с женой, как обычно, в помойке… Нюра, подтверди. Познакомьтесь, пожалуйста, моя жена. Нюра, да не смущайся ты перед дамочкой. Ах, извините, снова оговорился! Ну так вот, роемся мы, значит, и вдруг слышим: кто-то внизу там скулит. Мы-шасть, ныряем в мусорный бак и вытаскиваем. Щенок, еще живой. Живот вздут. Печень, сволочи, отбили. И сухожилия, чтобы не выполз, перерезали. Нет, чтобы просто выгнать, коли не нужен, так еще и бить, и уродовать. Зачем? Озверел народ, точно вам говорю, озверел. Кто с голодухи, а кто с жиру взбесился. Наели мордени, и давай тех, кто слабее, топтать. Поддых, в печень, в селезенку, а напоследок финку в спину. Да ты, Кузя, не бойся, мы в обиду тебя не дадим. А вы, гражданочка, не расстраивайтесь. Нюра, глянь, она плачет! Не надо, поберегите слезки для самой себя, на других не тратьте, всех не оплачете, много нас, вся страна. Куда же вы, я не все еще досказал…

До метро я в тот раз не дошла. Вернулась домой, умылась, и расхотелось еще раз выходить. Совсем некстати звонок в дверь:

Коля, бывший соловей, на пороге.

Вторить прославленным тенорам он перестал, писал теперь стихи и услаждал ими меня. Критиковать его творчество я не осмеливалась, да он и не нуждался в критике. То ли российская почва, то ли советская власть порождали такие вот, затейливо-несуразные экземпляры – украшения той действительности, от которой не осталось и следа. Нынешние мальчики с того же Урала на дурь, типа вокала и рифмоплетства, уже не отвлекаются. Есть дела поважней. А хроменькие от рождения не выживают. Называется это естественный отбор. Коля, думаю, потому уцелел, что родился, вырос в другую эпоху.

Плыл и плыл, как оловянный солдатик в бумажном кораблике, среди волн нечистот. Я потом поняла, в чем его стержень – в отсутствии зависти. Чужое благополучие не только его не дразнило, а вовсе не замечалось. Отзывался только на боль, учуивая ее, как дичь борзая. И я в поле его зрения попала, когда мне стало плохо.

Принял, взвалил на свои узкие плечи – одно выше другого – ответственность за мою непутевость, заблудшесть. Никто прежде с такой зоркостью за мной не присматривал, ни родители, ни муж. Я умела внушать впечатление о своей якобы защищенности, но Коля уловку мою рассек. С какими бы предосторожностями не отпирала замок в двери нашей квартиры, знала, мой приход засечен. Соловей, переставший петь, никогда никаких вопросов не задавал, но знал про меня все. Не осуждал – жалел. И я покорилась, попала в силки этой типично российской, безграничной, топкой, засасывающей жалостливости.

Черт знает, как догадался, что перчатка, оброненная в лифте, моя именно. В отсутствие парности на нее, ярко-красную, не посягнули. Он владелицу вычислил, хотя этих перчаток на мне не видел. Принес: твоя! Не с вопросительной, а утверждающей интонацией. Лукаво-довольная его физиономия напоминала сеттера, держащего разноперого, переливающегося радугой фазана в зубах.

А как-то, поздно, при выходе на нашей станции Сокольники, метнулась ко мне фигура. Коля? Да, он.

Так у меня объявился верный страж. И уже сама, возвращаясь из гостей, после концертов, спектаклей, ему звонила, и он, нахохлившись в куцем пальто, встречал меня у метро. Правда, если на пути нам попадалась какая-нибудь подозрительная группа, Коля мне в руку вцеплялся так, что иллюзии в надежности своего спутника враз рассеивались. Если что, понимала, драться придется мне. Но ведь я нуждалась не столько в его физической силе, сколько в душевной чуткости.

ЦАРИЦА ВЕРОЧКА

В цокольном этаже нашей многоэтажной башни, помимо цветочного и книжно-журнального, находился еще и продовольственный магазин, где царила Верочка, тогда еще заведующая, после, в процессе гайдаровско-чубайсовской приватизации, ставшая владелицей, но и тогда вся полнота власти сосредоточилась в ее пухленьких, с облупленным маникюром руках.

Ей безропотно подчинялись и обе строгие продавщицы, и молоденькая кассирша с пушистой косой, и вечно пьяные грузчики, и еще более пьяная уборщица, ну и, конечно, все мы, зависящие от ее настроения, благоволения или же раздражения, когда она, насупив выщипанные в ниточку брови, вдруг не желала нас, просителей, признавать.

В магазин, в надежде разжиться продуктами, только простачки заходили. Там на всеобщее обозрение выставлялись лишь баррикады консервных банок. Зато в подсобке, куда вела соседствующая с магазинной дверь, с ручки которой свисала тряпка, а за колченогим, покрытым выцветшей клеенкой столом восседала Верочка, можно было получить все. Или так казалось, что все. Скажем, палку сырокопченой, называемой твердой, колбасы, сыр «Виола» в круглых пластиковых упаковках, сгущенное молоко, майонез, консервированный горошек – дефицит, в общем.

На магазинном прилавке подобные лакомства появлялись исключительно в канун главных революционных праздников, и тоже, конечно, не для всех, а лишь для уцелевших фронтовиков-ветеранов, воодушевленных собственной значимостью, увы, кратковременной, возбужденно галдящих, и среди них ростом, статью, гулкой басовитостью выделялся наш Борисыч.

Полученный им заказ поглощался у нас на шестнадцатом в мгновение ока. Что правда, то правда: все тогда делились всем. Только у Коли никогда ничего не было, но к этому привыкли.

Про Верочкину Аладдинову пещеру наслышан был весь околоток, но вхожи только избранные. Хотя какими критериями она руководствовалось, кого-то допуская, а кого-то нет, понять, просчитать оказывалось довольно трудно.

Если дружба ее с директором спортивного комплекса в парке Сокольники – Верочку там интересовал не стадион, не каток, а финская баня – находила объяснение, как и близость с заведующей парикмахерской, где ее обслуживали вне очереди, то вот с таких, к примеру, как я, взять было нечего. Между тем она

нас на произвол судьбы не бросала.

Лично я ничем не могла быть ей полезна. Стыдливо подсунутые под выцветшую клеенку купюры она сбрасывала небрежно, не глядя, в ящик стола. Метнув в мое сторону смутный взгляд, то ли презрения, то ли симпатии, роняла: "Скажи Клаве, десять отбивных, оливковое масло, банку маринованных огурцов. Ну что стоишь, не видишь что ли, я занята!" Грубовато? Да нет, этот тон, этот взгляд означали как раз ее ко мне расположение. Такой же вот немотивированной симпатией я удостаивалась еще только от двух дарительниц милостей: Люси, официантки в ресторане «Пекин», с серьезной фамилией Гражданин, и Любы из салона «Чародейка», чья клиентура сплошь состояла из блатных, но меня она выделяла окриком: "Да что там стричь, три волосья, садись в кресло, по-быстрому, да не сюда, а на мойку, бестолковая!"

Неважно, что Люба могла иной раз, на скорую руку, обкорнать, Люся в суматохе обсчитать – я чувствовала себя польщенной, что они меня к себе допустили, приблизили, снизошли, простили то, чем я от них отличалась. Их великодушие у меня вызывало чувство глубокой признательности. И от Верочки я получала не просто колбасу, а ощущение собственной полноценности.

…Приватизация шла полным ходом, когда однажды, к нашему дому в Сокольниках подъехал жемчужно-серый «Лендкрузер», за рулем которого восседала Верочка. Милостиво кивнула, обронив: зайдешь? Впервые сама позвала, даже можно сказала, пригласила.

Хотя продуктов тогда уже было навалом, в основном импорт по взвинченным ценам, и в принадлежащем Верочке магазине то же самое: йогурты из Германии, конфитюры из Голландии, швейцарский, в гранулах, растворимый кофе. У метро Сокольники предлагались розы, ввозимые аж из Эквадора! Поближе, видимо, страны не нашлось. Те, кто розами торговал, от мороза московского синели, но насмерть стояли, не уступая ни рубля. А еще столицу завалили гвоздиками, стойкими, считалось, в длительных перевозках, хотя, поставленные в вазу, они сразу же увядали, точно не выдержав издевательств. Но в отечестве не только цветы, вообще ничего уже не производилось – не выгодно. Киви, манго – пожалуйста, а вот яблок, колхозно-совхозных, не сыскать и днем с огнем.

Враз исчезли и перевязанные ниткой тюльпаны на коротких стеблях, и склеенные в бутонах нарциссы, и сине-лиловые астры, пионы лохматые, выращиваемые на шести сотках пенсионерами, – какая благодать окунать в них лицо… Но

пенсионерам стало не до того. Выстроившись по бортам тротуаров, будто отряд пленных, сдавшихся неприятелю, они пытались сбыть вынесенный из дома скарб, разрозненную посуду, одежду ношенную, консервы – последний стратегический запас, и их лица ничего не выражали, на отчаяние даже не осталось сил.

У другого метро, «Краснопресненская», еще в эпоху перестройки, меня угораздило попасть в переделку, степени риска не сознавая. Наряд милиции на моих глазах набросился на теток в телогрейках, разбросав и топча их товар, картофель, репу, свеклу. Таков был указ очередного кремлевского мечтателя, Горбачева, опасающегося, верно, что тетки с мешками из Подмосковья помешают созданию кооперативов, в коих он видел возрождение экономики подвластной ему державы. Поэтому теток, замотанных до бровей в серые, покрытые изморосью платки, милиционеры-лимитчики, того же деревенского корня, гнали нещадно и из подземных переходов, и от вокзалов, и от станций метро. Как стая спугнутых птиц, успев или не успев взвалить на спины мешки, они, кто куда, разлетались.

Я расплачивалась с той, чья свекла, морковь лежали уже в моей сумке, когда особо рьяный служитель порядка меня отпихнул, и купюры, ей мною протянутые, еще не обращенные гайдаровской шоковой терапией в труху, упали в лужу. Сказала, как казалось, спокойно: подними-ка, парень, ты их не заработал. И то ли подумала, то ли произнесла вслух: сволочь… Его удар не был сильным, но от моего, ответного, прицельного, с замахом тяжелой сумкой, он осел, схватившись за самые чувствительные в мужском организме места.

В то же мгновение меня затолкали в микроавтобус с зарешеченным отделением и столь же стремительно доставили в кирпичное здание по соседству от метро.

Батюшки, сколько раз я проходила там мимо, не вникая, что это за учреждение. Оно находилось напротив высотного здания на площади Восстания, где я, школьницей, ученицей Центральной музыкальной школы при консерватории, брала частные уроки у бывшего ассистента Оборина, недавно выпущенного из лагеря, куда он попал за нетрадиционную, строго в те годы караемую, сексуальную ориентацию. Наказывали, правда, не всех, выборочно, другим для острастки. У моего учителя нашлись отягчающие его вину обстоятельства – происхождение из рода князей Васильчиковых, в перекресте с опять же князьями Трубецкими. И некстати тем более, что из окон его двухкомнатной квартиры, забитой уцелевшим в революционных бурях антиквариатом, нуждающимся в реставрации, как на ладони вставал особняк его дяди, графа Олсуфьева, где до

революции масоны собирались, в том самом Дубовом зале, при советской власти известном как ресторан для членов союза советских писателей.

Пегие волосы учителя прорезал безупречный пробор с зачесом от левого уха к правому. Когда он показывал мне трудный пассаж, выползали крахмальные манжеты с запонками из агата. После лагеря консерватория для него закрылась, он жил частными уроками, но мальчиков ему не доверяли, только девочек. Среди них способностями я вряд ли выделялась, а вот любознательность выказывала безудержную. Щепетильный учитель и с частными бездарями выкладывающийся как прежде с талантами в консерватории, только к концу урока замечал, что намеченную программу мы с ним не осилили, зато наговорились власть то о том, то о другом, к музыке отношения не имеющем. Над роялем висели две картины: почти черный, уплывший вглубь столетий Андрей Рублев и серовский, в овальной раме потрет, по каталогам известный как "Дама у калорифера". Учитель рассказал, что изображена там его тетка, жена того самого Олсуфьева, чей портрет тоже присутствовал, но находился ближе к окну. Бородатый старик, в рубашке с распахнутым воротом, яростно-истовым, раскольничьим взором, походил на Льва Николаевича Толстого. Не приготовив как следовало бы урок, я побаивалась не учителя, а бородатого старика: вот-вот выскочит со стены и крепко вдарит.

В ожидании пока мною займется милицейский начальник, сидя на деревянной скамье, воскресло в памяти вот это, такое далекое. Рублев, Серов, дочь моего учителя, Наташа, дивной, нездешней красоты, с признаками увядания, вырождения аристократической породы, сказавшимися в чрезмерно крупных, водянисто-серых глазах на очень бледно, резко суженном к подбородку лице, слишком высоком, выпуклом лбе, почти прозрачных, с голубыми жилками, висках, а еще больше, отчетливее, в ее заторможенности, чуждости всему, что подступало извне к стенам их тесной, заполненной осколками прошлого квартиры. Наташа являла полный контраст не только со мной, но и со своим младшим братом Сашкой, плотным, смуглым, щекастым, обучающим меня танцевать рок-н-ролл, не беспокоясь нисколько, что от его бросков по углам комнаты я могу остаться калекой.

– Гражданка, пройдите! – оповестил меня тот, с кем мы подрались. Я встала, обменявшись с ним ненавистным, обжигающим до нутра взглядом.

Никакой опасности не ощущала. Десятилетием позже забили бы сапогами, уже за то, что никаких документов при мне не

оказалось – сразу же по зубам. Но пока на дворе стояла благонравная хотя бы в намерениях горбачевская эпоха, и начальник даже позволил мне позвонить туда, где за меня могли поручиться. Попробовала наугад Поволяеву, чей карьерный взлет из корреспондентов «Литгазеты» в секретари Союза писателей происходил на моих глазах. "Валера, – прохныкала, – я вот в милицию попала…" В ответ строго: "Что же ты натворила? Ладно, неважно, уладим, передай, кому надо, трубку".

И меня отпустили. Неблагодарная, я не почувствовала ни облегчения, ни избавления от опасности. Уверенность в собственной правоте затмила рассудок. Нынче самой трудно поверить, но и теток с мешками, и стражей порядка, и карьерного Поволяева я считала своими. Как и Наташу, хотя к тому времени она умерла от рака во Франции, в Нанси, оставив мужу Диме, из рода князей Шаховских, двух детишек. И все это вместе, все они создавали стержень, после утраченный навсегда: моя страна, я здесь своя. Но розы из Эквадора, подростки, сосущие водку из жестяных банок, Верочка, подъезжающая на «Лендкрузере», бомжи у мусорных баков, стаи бездомных, одичавших собак, гибель Ксюши, Борисыча ничего общего со страной, где я выросла, не имели.

…Хотя в подсобке Верочкиного магазина не изменилось ничего. К дверной ручке так же прикручена тряпка. Замызганная лестница, в углах завалы картонных коробок. Те же грузчики с той же уборщицей успели с утра поддать. И за тем же колченогим столом, покрытым клеенкой, выцветшей до белесости, Верочка трапезничала, ковыряя вилкой в консервной банке. В ондатровой шапке, надвинутой до бровей. По наблюдениям, только мои соотечественники с головы мерзли, и в помещении не снимая вязано-шерстяные, меховые уборы.

– У меня к тебе предложение, – услышала, – у тебя шуба есть? Да не вообще шуба, а норковая, бритая, ну знаешь, вошло сейчас в моду. – С выражением не свойственной ей мечтательности, продолжила. – На ощупь, как бархат… – Помолчала. – Но главное, в чем эффект, – их необычно красят. Я примеряла синюю, но и зеленая, розовая тоже неплохо. Хотя синяя больше бы мне подошла под цвет глаз…

То, что у Верочки на оплывшем лице имеются еще и глаза, к тому же такого цвета, о котором она заявила, меня озадачило, но я улыбнулась искательно, чтобы в выражении моего лица откровенное недоумение не отразилось.

– И хорошо заплачу. Могу вдвое, – поразмыслив, – могу и втрое.

Куда она клонит, пока не было ясно, но решила ее

поддержать:

– Правильно, бывает, что цена не важна.

– Понимаешь, значит, – она воодушевилась. – Ну как женщина женщину. Не ради него, мужиков-то полно, Тоньку уесть хочу. Зазналась, у нее, видите ли, универмаг…

Я, восхищенно:

– Который? Неужели Сокольнический?

Верочка важно кивнула. Успех товарки, пусть и соперницы, сказывался и на ее значимости, придавал больший вес. Так же в нашем кругу кичились знакомствами со знаменитостями. Истинно, все люди-братья. Но Верочка увести себя в сторону не дала.

– Выходит, договорились? Ты мне привозишь шубу, а я тебя отблагодарю.

– Меня?!

– А кого же? Тебя!

– Но у меня такой нет.

– Нет? Столько лет за границей – и нет? Так купи.

– Зачем? У меня есть каракулевая.

– Каракулевые только старухи донашивают. Мне норковая, бритая нужна, о чем талдычу, а ты не врубаешься.

Молчу. Но у меня плохое лицо, на нем ясно прочитывается все, вот и Верочку оно разъярило.

– Дура! – прогремело в подсобке так, что даже грузчики, с утра пьяные, слегка протрезвели. – Дура! – и вздрогнула в испуге еще более пьяная уборщица.

Или не дура, нет… – она подыскивала непривычные ей слова, чтобы выразить мысль, еще более непривычную. Нашла. – Тебе нравится прибедняться, но я вижу тебя насквозь. Приходишь, ноешь, получила – и бегом. А в гости ни разу не позвала. А что мне надо? Мне ничего не надо, сама бы и икру, и севрюгу горячего копчения принесла, да хоть ящиками. Что главное, что мне важно: от-но-ше-ни-е! Человеческое отношение, понимаешь? А ты с чего задираешь нос? Мы вас, таких, кормили и кормим, потому что жалеем. За никчемность. Вот побегайте сейчас, повертитесь, как мы. Да я весь ваш дом наизусть изучила, поэтажно. «Жигулям» вашим место на свалке, а шубы каракулевые и в ломбард не возьмут. Голь перекатная – вот вы кто есть нынче. Кому ваши дипломы-грамотки нужны? А в деле вы – нуль. И с шубой я просто еще раз тебя проверила, но знала, что откажешь. Да этих шуб… Хошь бритых, хошь небритых, сине-красно-лиловых, навалом теперь: бери – не хочу. Я-то тебе ни в чем не отказывала… Погоди, ты куда? Карбонат есть, по

нормальным ценам, свежий, наш, отечественный комбинат производит. – В голосе ее прозвучал патриотизм. – Сколько надо, килограмм, два? Сама отвешу, – улыбнулась. – Ладно, не обижайся, скажешь иной раз, в сердцах… По-разному бывает, то одни, то другие сверху, а страна-то одна, все та же.

КЛУБНЫЙ ПИДЖАК

То, что Коля-соловей за последнее время обносился, я замечала. Гардероб его, правда, разнообразием не отличался и в стабильно-застойные годы. И тогда кое-что из одежды моего мужа перекочевывало к нему. Он не отказывался, хотя свитера Андрея на нем болтались, доходя до колен. Не привередничал, не рассыпался в благодарностях, не изображал, что делает нам одолжение, принимая ему вовсе ненужное. Разве что каждый раз справлялся, действительно ли Андрей эту вещь не будет носить и, после уверений, что нет, не будет, точно не будет, облачался в обновку.

При всех чудачествах, в нем отсутствовала какая-либо нарочитость. Он, если можно так выразиться, органично не вписывался в общепринятые правила, представления. Удивительно, что такая порода людей не только уцелела при, как считалось, обезличивающем социализме, а, наоборот, пышно, затейливо тогда цвела. Хотя, возможно, социализм тут ни при чем, а просто не расшатали еще основу в нации, способной на многое, разное, в том числе и на создание собственного, уникального мира, дорожа именно им, на чужое не зарясь, минимальным довольствуясь, и при этом не обнаруживая ни тени ущербности. Коля являлся, пожалуй, одним из последних представителей натур подобной закваски, нигде больше уже не воспроизводимой. С исчезновением этой людской породы, страна, где я родилась, перестала быть для меня родиной.

Наезжая в постсоветскую Россию, на пути из дома к метро я подкармливала бездомных собак. Из недр людской беды их вытолкнуло на улицы столицы тучами. Среди традиционно жмущихся к помойкам дворняг нахлынуло много породистых. Все они неслись ко мне стаей. Ждали, присев, пока из пакета достану еду. Их дисциплина меня поражала, как в оркестре, исполняющем классику. Контрабасы не глушили флейт, огромные псы не оттесняли малявок. Людям бы поучиться: никакой сутолоки. Когда самые жалкенькие насыщались, приближались овчарки, ротвейлеры. Верили: рука дающего не оскудеет. Чтили Божий закон, в отличии от людей, норовящих урвать каждый себе и побольше. В рай, если по справедливости, только звери должны были бы допускаться. На лирах, в обличье ангелов, слоны бы бряцали, зайцы арии сладкозвучные распевали, а собаки в райских кущах отдыхали бы от преданности тем, кто ее совершенно не заслужил.

Однажды мы с Колей вместе вышли из дома, и в проходном

дворе, меня, как обычно, точно кинозвезду, окружили четвероногие почитатели. Слава моя прогремела, верно, на весь околоток. Хвосты едва не отваливались от изъявлений восторга. Польщенная таким признанием, о своем спутнике я забыла. Когда собачье пиршество завершилось, обернулась. Взгляд у Коли был отрешенно блуждающим, над вытертым кашне метроном ходил кадык. Вожак стаи, ротвейлер, в тот момент долизывал из пластиковой упаковки остатки сметаны, вздохнув с сожалением: лакомиться больше нечем. И тут, как эхо, раздался Колин вздох. До меня вдруг дошло: он голодает.

Но как, в какой форме предложить ему помощь? Вдруг обидится, и конец нашей дружбе. А не хотелось его потерять.

Он сам пришел мне на выручку. Спектаклей разыгрывать не понадобилось. С прямотой, простотой, ему свойственными, брал у меня деньги, шел в магазин, приносил продукты в равных долях, мне и себе. Сдачу возвращал до копейки, ждал, пока пересчитаю, и в этом я не смела ему отказать. Взгляда блеклой голубизны не отводил. У него были свои, не всегда, правда, понятные, принципы, но приходилось их уважать.

Можно было и газет не читать, и не включать телевизор – спад эйфории, в «перестройку» достигшей апогея, зафиксировался через общую нашу с Колей стенку. Радио, гремевшее митингами, призывами, клятвами, обещаниями, в его квартире умолкло. Он снова запел, но, как ни странно, козлиный его тенорок до бешенства меня уже не доводил. Обвыклась, видимо, как в детстве, в Лаврушинском переулке, с воем спившегося писателя-пролетария. И банальные, заезженные мелодии Верди воспринялись как бы заново, да и сюжеты опер не казались такими уж нелепыми. Верди, Пуччини, Леонкавалло, как комментировали их творчество советские музыковеды, обличали социальную несправедливость – да, и что? Что мы, дуралеи, тут находили смешного? Страшнее казармы социализма вообразить ничего не могли? Впрочем, предшественники наши тоже фантазиями не отличались, для них царь, самодержавие воплощали главное зло. После пришлось убедиться, что зря они привередничали, да поздно, безумные их мечтания воплотились в реальность, их же самих ужаснувшую. Мы от них приняли эстафету бессмысленных сожалений об утраченном, в свою очередь убедившись, что, по сравнению с сегодняшним, вчерашнее кажется уже чуть ли не идиллическим, оплакиваемым как покойника, не ценимого при жизни.

Но напрасно, вывернув шею, искать в прошлом отрадное, утешительное. Там нет ничего – нас там нет. Пусто, кладбищенская тишина. А в новой яви мчатся «Мерседесы», за

затемненными стеклами которых прячутся фантомы. Мчатся и на зеленый, и на красный свет, не имеет значения, никто их остановить не посмеет. "Сердце красавицы склонно к измене", – обдает из динамиков бронированной машины-тарана замершую у пешеходной зебры толпу. "Склонно к измене, как ветер ма-а-а-я!" – машина умчалась, а толпа стоит.

Стоит и молчит. Неопровержим пушкинский диагноз: молчали, молчим и будем молчать. Под наше молчание герцог из оперы Верди о красавицах будет напевать, горбун-Риголетто ему услужать, а вот трупы задушенных девушек находить станут все чаще. В одной из них Ксюшу опознают по татуировке на запястье "homo homini lupus est".

"Сердце красавицы"… Второй час ночи. Стучу Коле в стену. Бесполезно. Он надрывается в экстазе. Но на телефонный звонок отзывается: "Коля, – говорю, – у меня есть билеты на завтра в Большой зал, пойдем?"

Сказала, и сразу пожалела. В консерватории с ним показаться? С ума, что ли, сошла?

А с другой стороны, почему бы и нет? Рядом он, готовый провожатый, ручка в ручку до дома доведет, а ведь одной ночью страшно. После гибели Ксюши я с трудом засыпала, не гася настольную лампу. Страшно всюду, страшно всего, страшно всем. Соседка с пятого этажа, когда я вошла за ней следом в лифт, вскрикнула: ой, вы меня напугали!

И избавляться пора от мании, что все меня, видите ли, знают, в консерватории, в Большом театре, в ЦДЛ. Да забыли, с глаз долой из сердца вон. Я зависла нигде. Самые близкие далеко. Один Коля здесь, через стенку.

В назначенный час позвонил в дверь. Сиял. А я обомлела. Поредевшие кудри начесал с затылка на лоб, от чего выражение его обычно пасмурного лица сделалось глуповато-игривым. Наваксенные ботинки сверкали, особенно тот, с высоким, копытным каблуком. Но самым ударным был темно-синий, с золотыми пуговицами пиджак, называемый клубным, явно с чужого плеча. Уж мне ли не признать с чьего. Андрей пиджак выносил до дыр на подкладке, но Коля счел его вполне пригодным. "Материя, – одобрил – качественная. Великоват, но можно ушить". Ушил?!

Свитер, ковбойка, да хоть пижамная куртка – все лучше, чем этот, черт возьми, клубный пиджак. Но он явно ждал моего одобрения. Неужели внешний вид для него значил так много? Смешок застрял в моем горле, и я не выдержала его доверчиво вопрошающий взгляд, пробормотав: по-моему, нормально. Он, довольный, приосанился.

На концерт в Большой зал меня пригласил приятель-дирижер, ставший знаменитостью на фоне отхлынувших в эмиграцию конкурентов. В антракте за кулисами очередь выстроилась из желающих облобызаться с маэстро. После первого отделения взмокший, как боксер после раута на ринге, вытирая полотенцем багрово взбухшее лицо и глянцево отсвечивающую лысину, он, мой сверстник, с улыбкой кандидата в психушку, жал руку дамам, взасос целовал мужчин. Я же, по причине, видимо, длительного отсутствия, удостоилась его объятий. И тут из-за моей спины Коля возник: "Присоединяюсь к Надиным поздравлениям". Приятель, слегка меня отстранив, воззрился на нас обоих с нескрываемым интересом. "Николай, мой сосед", – я промямлила. И обдало жаром. Надо же, всегда со мной так: вру, не сморгнув, и верят, а скажу правду, оглядывают подозрительно, к тому же с обидной усмешкой. "Николай, мой сосед", – заладив, как попугай, оповещала всех встречных-поперечных, пока антракт длился. Да, сосед, ну хорошо, он твой сосед или не сосед – какая разница, кому какое дело, остынь, дура, не оправдывайся. Пришла музыку слушать, так и слушай.

Но слушал на самом деле Коля. В нем все трепетало. Наш шнауцер, Микки, так же, бывает, дрожит во сне, будто током его пронзает, и не узнать, что ему грезится, кошмары или блаженство. Глажу его, успокаивая. Рефлекторно моя ладонь опустилась на Колин локоть.

Концерт закончился. Дневная слякоть схватилась морозом. Тротуар – сплошной каток. Мы с Колей от улицы Герцена к метро еле ползли, вцепившись друг в друга. Он полагал, верно, что поддерживает меня, но когда мне, оскользнувшись, удавалось сохранить равновесие, подводила его больная нога. Инстинкт утопающего – он меня вниз, в лужу, утягивал, и тонкий ледок рассыпался с хрустом.

Обрушенная им в очередной раз, я разлеглась как тюлениха в мокрой, тяжелой шубе. И безудержно расхохоталась. Смеются ведь над другими, а вот хохочут над собой. До колик, изнемогая. Империя, откуда я родом, содрогалась в судорогах от анекдотов, аж слезы навертывались. Истратив их вот так, сухими глазами встретили горе.

УТРАЧЕННЫЕ ГРЕЗЫ

Не знаю, когда и как это произошло. Ничто вроде бы не предвещало разрыва-отрыва с привычным моим родителям. Разве что с малолетства тяга к перемене места у меня сочеталась с подступающей к горлу тоской. Даже если уезжали мы ненадолго, всего лишь на месяц, в отпуск. Но вокзальная сутолока с элементом безумия, отчаяния, побега, приводила в такое волнение, что если бы родительское внимание не поглощалось целиком беспокойством за чемоданы, которые юркий носильщик, пропадая в толпе, куда-то уносил, мое будущее тогда бы уже приоткрывалось. Накануне отъезда не получалось уснуть. Я прощалась мысленно с тем, что оставляла, точно предчувствуя, что так и будет – расставание предстоит навсегда.

Путешествовать налегке в советские времена не удавалось, забытое дома нельзя было возместить нигде. В империи, за исключением столицы, все, даже самое элементарное, обиходное являлось дефицитом, и туалетное мыло, и резиновые купальные шапочки, не говоря уже о махровых полотенцах. Поэтому все на себе тягали, купе забивалось багажом. Не припомню, чтобы родители сокрушались налетом сажи, осевшим повсюду, включая постельное белье. Вонь из сортира не мешала с аппетитом поедать традиционного жареного цыпленка, разложенного на газете вместе со столь же традиционными крутыми яйцами. Мама ловко их облупливала красивыми в кольцах руками, папа смачно откусывал малосольный огурец. Их бодрая стойкость давалась им вроде бы без усилий и уж точно без ропота. Собственно, это был единственный способ существования в такой стране.

Родителей не смущали ни пятна на обоях, ни отбитый кафель в ванной. В кухонной раковине, и при наличии домработниц, отмокали кастрюли, сковородки, сиденье на толчке в уборной ерзало из-за давно отсутствующих шурупов, что никого не смущало. Вместо туалетной бумаги использовалась верстка журнала «Знамя». В дверь уборной стучали другие охочие, а я спешно дочитывала абзац. В «Знамени», когда отец там редакторствовал, хотя и с трудом, но просачивались отменные тексты Трифонова, Нагибина, Вознесенского и даже Пастернака. "Надя, – неслось мне вслед из уборной – где бумага?!" Бумага, то бишь верстка, вся стопка, исчезала вместе со мной.

Я выросла в стране, где текст заменял жизнь. И ценилась душевная красота, хотя она чаще встречалась, чем внешняя. Благополучие и дар являли противоположность, запрет означал успех, в литературе особенно. Литература была путеводной

звездой, ею дышали, с ней жили в полном согласии, на все прочее внимания не обращая. Она же, литература, загнала нас в западню. Оказалось, что помимо книг, есть еще и реальность, грубая, жесткая.

Узнаю, угадываю людей из нашего прошлого, как бы они теперь не одевались и на каком бы не говорили языке, но моя тут проницательность не всегда, не всем нравится. Хотя с какой стати от себя самих отрекаться? И грандиозен наш опыт, которому ни в коем случае нельзя следовать.

РАЗЛУКА БУДЕТ БЕЗ ПЕЧАЛИ?

Первые годы в Швейцарии меня поглощала одна задача: не привыкать. К весне, начинавшейся у них, в Европе, с февраля, и тут же, по команде будто, на клумбах высыпали тюльпаны, нарциссы, гиацинты; желто вспыхивала безлистная форсиция; оживали на набережной платаны с пятнистыми, как солдатская униформа, стволами, из чьих мускулистых, в кулаки сжатых ветвей выбрасывались веером новые побеги, а на глади озера, вкраплениями белого по лазури, распушались паруса яхт.

Снег в горах еще не стаял, а по вымощенным в Средневековье улочкам уже носились от столика к столику официанты, принимая заказы у балдевших на весеннем пригреве посетителей. В приближении зноя, на площадях, у фонтанов, украшенных цветами, парашютами раскрывались зонтики, город с готовностью распахивал объятия островкам пляжного, бездумного мления, заманивающих в свои оселки и самых деловитых, к праздности нисколько не расположенных.

При признаках осени на жаровнях уличных торговцев лопались каштаны, кулек два франка пятьдесят сантимов, и трудно было удержаться от простодушного лакомства, уминаемого с дивящей себя самих быстротой. Ближе к зиме владельцы ресторанов, вывесив в окнах своих заведений рукописные плакаты, оповещали о прибытии молодого beaujolais – le beaujolais nouveau est arriv? – вместе со свежими мидиями, только-только из моря, подаваемых в фаянсовых супницах, клубящихся парным ароматом.

Когда все же это меня срубило, обрушив прежние представления, устои? А ведь я долго сопротивлялась, из инстинкта самозащиты преодолевая соблазны, чтобы после всю жизнь не мучиться несбыточным. Последней каплей, подточившей твердыню моей «принципиальности», оказался лес из мимоз на въезде в Канны. Начало марта, мимозы пахли так сильно, что я одурела. А где-то рядом, заслоняемое холмами цвета киновари, поросшими искривленными ветром пихтами, плескалось Средиземное море. Я помчалась к нему, на бегу сдирая пальто. Муж звал: подожди, Надя! Но я неслась, сама не зная куда, подхлестываемая прорвавшейся из глубин нутра, лютозвериной безграничной свободой. И затолкнуть этот вихрь в себя обратно не удалось.

Хотя всаженное в нас, советских, гвоздями, держалось крепко. То, что мы не хозяева своей судьбы, от рождения внушили и, казалось, навсегда. Последние годы, прожитые нашей семьей в

Женеве, походили на состояние осужденного, ждущего в тюремной камере вынесения приговора. Иной раз хотелось, чтобы томление неизвестным поскорей завершилось. Оттягивание – мучительная пытка.

В отпуск на родину отбывали без гарантий вернуться. Случалось, что багаж собирали, отправляли вслед проштрафившемуся, хотя в чем конкретно он провинился, не только других не оповещали, но подчас и его самого. Любой мог споткнуться и любой донести. Выражение "Вы меня родиной не пугайте!" точно определяло атмосферу советских колоний за рубежом, где бы они не размещались. Даже наши сограждане, существующие внутри империи, не испытывали того липкого страха в тисках постоянного надзора, что выпал вместе со счастливым, считалось, жребием, посланцам так называемым, могучей державы.

Но и мы, пленники собственной удачи, содрогнулись, когда одного из нас, переводчика, работающего в ООН, отца двух детишек, накануне отъезда в отпуск вынули, уже бездыханного, из петли. Причина? Оказалось, пришли счета за покупки его жены по кредитной карте, от суммы которых он обезумел. От зарплаты к зарплате все мы залезали в долги, но к отпуску требовалось предстать полностью от них очищенными, как перед причастием, ведь если на родине вдруг оставят, никогда не расплатиться.

Володе, как переводчика звали, то ли намекнули, что билет на рейс Аэрофлота ему даден в одну только сторону, то ли в подкорке что-то сработало, и нервы сдали. Тридцатилетний парень домой отправился в запаянном гробу.

Между тем лишь сотрудникам международных организаций из стран соцлагеря полагалось сдавать в кассу своих представительств львиную долю окладов, весьма весомых – для других, не для нас. Нам оставляли в обрез, чтобы жизнь медом не казалась. Хотя она такой именно и казалась, из-за возраста прежде всего. Мы были молодыми, неважно где, в Женеве тоже. Беспечность, инфантильность были свойственны нашему поколению, за очень редкими исключениями. О будущем не задумывались ни временно отбывшие из отчизны, ни оставшиеся там.

В окружении, нам с мужем близком, дипломаты, закончившие МГИМО, у которых заграничные командировки перемежались короткими отсидками дома, не числились. А специалисты в других областях, инженеры, врачи, ученые сознавали, что за рубеж, вот так, с женами, семьями, вырвались скорее всего в первый и в последний раз. Но за их именно счет государственная казна пополнялась валютой. В дни выплаты им,

сотрудникам международных организаций зарплаты по периметру ограды здания на avenue de la Paix в Женеве, где находилась миссия СССР при ООН, плотно, одна к одной, выстраивались машины – стадо добровольно идущих на поголовную, наголо, стрижку баранов. И Володя-самоубийца туда подкатывал на сером, подержанном «Фольксвагене», внося свой оброк, но ему бы это, он знал, не засчиталось, не смягчило бы вины. Крепостные не смеют оправдываться, если хозяева решили, что они заслужили быть высеченными.

А то бы – ну что? – поскандалил бы с мотовкой-женой, но не оставил бы детей сиротами. И ведь он, Володя, перед женевской командировкой в Афганистане служил и уцелел под пулями, на войне. Но перевесили в его судьбе кофточки, прихваченные женой по кредитной карте на распродажах. Вижу его лицо, к общительности не располагающее: из правильных был, правоверных, в его присутствии что-нибудь ляпнуть, ни-ни. А в петлю сунулся, пока жена упаковывала, собираясь в отпуск, чемоданы. Хотя, может быть, она, эта афганская война, его и достала.

Удивительно, но родина-мать, сынов своих застращав, домогалась от них еще и любви. За границей советским гражданам вменялось скучать, рваться домой, хоть в хрущебы, хоть в блочно-бетонные застройки, типа нашей сокольнической. "Я буду ждать и тосковать,"-Утесов пел. И ведь многие вправду тосковали, я, например. Пока рубеж, предел не наступил. Постепенно накапливалось.

Однажды пришлось убедиться наглядно, что в империи с рабовладельческом строем нет и не может быть ни для кого исключений. Подлежат порке все, на чины, звания не взирая. Мы, наша семья, отправлялись в отпуск, когда раздался звонок из миссии, и дежурная твердо-непререкаемым тоном сообщила команду: зайти, взять посылку и передать ее кому надо в Москве. Родственникам, снизошла пояснить. И, мол, они к вам сами подъедут. Спасибо!

Высшее руководство советской миссии в городе не селилось, их статус особо охранялся. Ту пару, у которой мне надлежало посылку принять, я видела только на приемах в дни государственных праздников. Сложилось мнение, что ни он, ни она просто так, из любви к искусству, не пакостят. На фронте встретились, где она была медсестрой, а он майором, контуженным в шею. Ходил скособочившись, с опущенной головой. Но взгляд его, вдруг настигающий, обладал сверлящей насквозь пронзительностью, целенаправленностью рентгеновского луча, что у меня каждый раз вызывало чувство

смутной вины. Вроде бы без оснований, но я его побаивалась.

И вот по узкой лестнице поднимаюсь на второй этаж, звоню в дверь и попадаю, будто мгновенно из Женевы в отечество меня доставили, в наше типичное, знакомое до боли. В прихожей не повернуться, под вешалкой груда разношенной обуви, тапки с замятыми задниками, места общего пользования настежь, клеенка выцветшая на кухонном столе, в раковине отмокает сковородка. Единственное с советским бытом несовпадение – повсюду баррикады из картонных коробок, громоздящиеся до потолка.

К отъезду готовятся? Или не удосужились распаковаться, в готовности тут же сняться, если вдруг еще куда-нибудь или же в никуда отзовут? И так вот всю жизнь, как в войну, в блиндаже, на биваке? Мелькнули Китай, Япония, Австрия – коробки, коробки… Дети выросли вдали, при оказии им направлялись посылки. Вот и я принимаю одну. "Не очень тяжелая?" – с тревогой осведомляются. "Нет, нисколько", – успокаиваю. Жаль их. И свою жизнь я так прожить не хочу. Вот это отчетливо понимаю.

ИЗГНАНИЕ ИЗ РАЯ

При Горбачеве, когда началась перестройка, советским гражданам, командированным за рубеж, разрешили приглашать в гости близких родственников. А также дозволили посещать третьи, как это называлось, страны. До того, хотя Франция, Италия из Женевы гляделись через порог, для нас они заслонялись, как Великой Китайской Стеной, циркулярами, запрещающими то одно то другое.

Иностранцам, с которыми не только на службе общались, но и встречались друг у друга в гостях, в унизительных ограничениях, на нас наложенных, признаваться не хотелось. Впрочем, секреты Полишинеля: они отлично были обо всем осведомлены. Когда советский сотрудник международной организации вдруг, ни с того, ни с сего, подавал прошение об отставке, никто из иностранных коллег не удивлялся, не считал, что парень сошел с ума. Понимали: поступила команда, требующая неукоснительного подчинения. На моей памяти ни один человек, отозванный по сигналу из Центра на родину, возражать не осмелился.

Но вряд ли и самым проницательным иностранцам могло прийти в голову, что женам советских сотрудников не рекомендовано – такая имелась формулировка – садиться за руль, даже если мужья находились в командировке. Запрет диктовался соображениями якобы безопасности. Если он нарушался, высылкой на родину не карали, но провинность ставили на вид: грешок засечен, к нему могли присовокупиться другие, и тогда уж пощады не жди.

Из той же, верно, безопасности, не рекомендовалось сближаться с эмигрантами любой волны, и я бегала на свидания со своей подружкой Ксенией, москвичкой, вышедшей замуж за швейцарца, от всех в тайне, оглядываясь, опасаясь слежки.

Может быть, иностранцы нас жалели, а может быть, презирали, но, скорее всего, им было все равно. Как западным людям свойственно, они избегали напрасных трат во всем, и в эмоциях тоже. С теми, кто обречен был вернуться в клетку, в социалистический зоопарк, длительные отношения выстраивать не имело смысла. Холодок, даже если его пытались улыбками, обходительностью замаскировать, витал в воздухе.

Ну а с нашей стороны возникали другого рода проблемы. Выяснялось, что мы дурно воспитаны, либо зажаты, либо развязны, либо попросту грубы. У советских, как сказал поэт, собственная гордость, поэтому приготовленные хозяйкой яства

поглощали с показным безразличием, за гостеприимство не благодарили не по забывчивости, а чтобы себя не уронить. Из той же «гордости» похвалить не решались чей-либо дом, сад, вид на горы, на озеро: подумаешь, мол, невидальХотя в душе обмирали от восторга. Я, скажем, была без ума от коллекции картин Миро в квартире Бенгта, шведа, работающего вместе с Андреем в Международном Красном Кресте. Но однажды, в очередной визит к нему, прорвало, восхищение коллекцией выплеснулось наружу, и Бенгт с женой Эвой удивленно воззрились на меня. Еще бы, до того я молчала как булыжник, страдая от сознания своей неполноценности – комплекса, мне прежде неведомого и развившегося в Женеве. Подобное, видимо, испытывали сельские жители, впервые попавшие в город – смятение, скрываемое не только от других, но и от себя самих. Чтобы его преодолеть, следовало для начала признать, что мы, выходцы из СССР, выросли на обочине цивилизованного мира, и если даже среди нас случались уникумы, таланты, то талантливы бывают и варвары, дикари.

И еще я открыла в себе свойство, до Женевы тоже неведомое: оказалось, что я завистлива. Нет, не к богатству. Хотя нас с Андреем приглашали на приемы в замки потомственной швейцарской знати, где на стенах, обитых штофом, в золоченых рамах красовались музейные раритеты, дамы в бриллиантах Veuve Clicquot отпивали из баккара, но вся эта роскошь воспринималась разве что с любопытством экскурсанта. В дворцах таких, кстати, я быстро осваивалась, в многолюдстве гостей растворяясь, наслаждаясь своей неприметностью, непричастностью ни к чему, ни к кому.

А вот к продавщице в цветочном магазине на rue de Servette, весело, звонко восклицавшей "Bonjour, Madame!", будто мое появление для нее праздник, к ее естественности, при наигрыше, вошедшем в привычку, к ее некрасивости, из которой она умудрялась извлечь шарм, к условиям, ее, вот такую, создавшим, ощущала – да, именно зависть. Так же завидовала старухе, владелице киоска на углу rue des Asteres, где помимо журналов, газет, сигарет, конфет разная мелочевка продавалась. И – какое удобство! – киоск соединялся с ее квартирой на первом этаже, откуда доносился аромат кофе. Надо было, пригнувшись к оконцу киоска, позвать: "Мадам Клодин!" – и тогда, не спеша, она выплывала из недр своей обители. Зато часы ее работы не ограничивались строгими рамками, что клиенты ценили, а она, верно, то, что в свои явно за восемьдесят оставалась востребованной и, что еще важнее, хозяйкой самой себе.

Я завидовала внедренности в среду обитания, где себе места

не находила, нигде, никакого. Как муха, попавшая в стеклянную банку, ползла, карабкалась по ускользающей вертикали, пытаясь выбраться наружу, и снова падала вниз, на дно.

В Европе все, от собора до скамейки, от реки до пивной, крепко, нерасторжимо, одно с другим спаяно, произрастая как бы из общей корневой системы, и, кажется, ничто и никто там уже не втиснется, не встрянет со стороны. В Женеве я чувствовала себя бродягой, и, как бродягам положено, блуждала по паркам, бесцельно, бездумно набивая сумку, карманы отполированными до блеска каштанами. Сохранилась горсть их, от времени ссохшихся, – лежат в оловянной плошке здесь, в нашем доме в Колорадо. Теперь только догадалась, зачем их берегла, перевозила в багаже из страны в страну, как Мальчик-с-пальчик, отмечая пройденное в смутном поиске себя, своего пути.

Изнутри нарастал гул, еще не ставший зовом трубы, гласом судьбы. Хотя я уже понимала, что в женевском раю не приживусь, не одолеть мне там затянувшееся состояние пришлости, чуждости.

ГРАНИЦА

Толчком, может быть, оказался эпизод, пустяшный в сущности, но застрявший в памяти, как зарубка, веха, хотя ее важность в тот момент еще не осознавалась.

Андрея, моего мужа, пригласил в гости директор института Анри Дюнана – родоначальника краснокрестного движения, который размещался в старинном женевском особняке, а вот сам директор жил в городке Ферней-Вольтер, на приграничном стыке Швейцарии с Францией, но не по эту, а по ту сторону.

Визы во французском консульстве шлепали всем желающим, да и французские пограничники-бонвиваны обычно не утруждались их проверять, а так, не вылезая из своих полосатых будок, давали отмашку, проезжай, мол, не отвлекай. Если их что и занимало, так контрабанда: во Франции вина, мясные продукты дешевле стоили, чем в Швейцарии, их ввоз ограничивался нормой, указанной в декларации, и нарушителей штрафовали. Всего-то.

Но руководство представительства СССР мыслило в иных, глобальных масштабах, и несанкционированное посещение французских окрестностей приравнивалось к грубейшему нарушению дисциплины, неповиновению, бунту на корабле. Вопрос, разрешить или не разрешить Андрею принять приглашение директора Дюнановского института, долго решался. Наконец снизошли: ну, ты-де, смотри, парень, не подкачай!

От дома, где мы жили, до крошечного Ферней-Вольтера, езды на машине минут десять, но мы выехали за час: мало ли чего… И действительно, так и вышло, и чего, и с чего.

Вырвались – уф! – как птахи их приоткрытой по небрежности клетки. Жаль только, что наши французские визы никто не проверял, ну да ладно – вот оно, вожделенное, в томительном ожидании ставшее особенно притягательным, искусительным, как все недозволенное: заграницаСпасибо родине, она научила нас свободу ценить, рваться к ней как голодные к хлебу, как странники, заблудившиеся в пустыне с пересохшей глоткой, к завиденному вдруг роднику. Хотя, по сравнению с холеной Женевой, Ферней-Вольтер гляделся неряшливо, затрапезно. Но не важноОстановились у первой же забегаловки с манящей вывеской «бистро»: гарсон, перно!

Отъехали, на пути снова бистро попалось: перно, гарсон, смрад крепчайших «голуаз», прожженная стойка бара, атмосфера типичной для французов бесцеремонности, высокомерия. При учуянном в речи акценте – ухмылки нескрываемого

превосходства: "Вы откуда? А-а, из Женевы…" Ведь все, что не Франция – дыра, где в шкурах бродят, зубами рвут мясо мамонта. Гарсон, перно!

Мы бодро насасывались – прямо как с цепи сорвались. Перно – напиток довольно мерзкий, с отвратительным запахом, но опять же неважно: гар-р-рсон, перно!

"А хо-а-чешь памятник, ну как его Руссо, то бишь Вольтера посетить? – не совсем внятно спросил Андрей. Я захотела, хотя тоже не совсем твердо представляла, что он имеет в виду.

Удивительно, но до памятника мы добрались, Руссо-Вольтеру, а может быть еще кому, возвышающемуся на постаменте. "Родной, – я всхлипнула, приникнув к бронзовым ботфортам, – ну зачем ты забрался в такую глушь?" Тут мой муж неожиданно протрезвел: "Погляди, дом с зелеными ставнями и номер совпадает! Нам же туда и надо, а который час?"

Мы ужаснулись: а день-то какой, все еще пятница или уже суббота? А век? Абсолютная тишина. Вдруг бой башенных часов, гулко, один раз. Но что показывает циферблат? Свои, наручные, доверия не вызывали. Половина девятого. Неужели? Всего-то!

Приглашенные уже были в сборе, но наше опоздание укладывалось в пределы приличий. Перед застольем предложили аперитив. "Перно?" – хозяин спросил. Мы хором: "Нет, ни за что!" – поколебав в глазах присутствующих имидж нации, склонной к возлияниям. Зато налегли на закуску, что встретило полное понимание. Французы тоже любят поесть.

В дальнейшем ни я, ни муж никогда больше перно не употребляли: тогда, в приграничном городке выпитого, навсегда хватило. Но жаль, упустили, не зафиксировали момент, когда исчез страх, паника при пересечении границ, любых, в любую сторону. Стоим равнодушно у паспортного контроля, и никакого трепета, волнения, обжигающего, воодушевляющего чувства опасности. Другая жизнь – мы другие. И все же в тайниках души задержался, всплывает во снах этаж в империи, тоже исчезнувшей, но мы там родились и пока живы, она нас от себя не отпустит.